

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

~~СЕНТЯБРЬ~~ — ОКТЯБРЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
МОСКВА — 1969

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Л. Мошинский (Торунь). К развитию праславянских сонантов. . . . .	3
И. А. Перельмутер (Ленинград). К становлению категории времени в системе индоевропейского глагола. . . . .	11

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Дж. Клоусон (Лондон). Лексикостатистическая оценка алтайской теории	22
А. К. Матвеев (Свердловск). Происхождение основных пластов субстратной топонимии русского Севера . . . . .	42
Р. В. Пазухин (Ленинград). К определению универсального кода . . . . .	55
А. А. Юлдашев (Москва). К характеристике тюркских сложных слов . . . . .	68

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Б. А. Успенский (Москва). Никоновская справа и русский литературный язык . . . . .	80
К. М. Любимов (Москва). Об одной группе словосочетаний в тюркских языках	104

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Обзоры

Ю. М. Костинский (Москва). Вопросы синтаксической парадигматики	106
---	-----

#### Рецензии

В. А. Ицкович (Москва). <i>Z. Golqb, A. Heinz, K. Polański. Słownik terminolog językoznawczej</i> . . . . .	115
О. С. Ахманова (Москва). <i>S. Abraham, F. Kiefer. A theory of structural semantics</i> . . . . .	117
С. Б. Бернштейн (Москва), Г. П. Клепикова (Москва). «Атласул лингвистик молдовенеск» . . . . .	120
П. Н. Лизанец (Ужгород). «A magyar nyelvjárások atlasza» . . . . .	127
К. Седлачек (Простеев). <i>Б. Д. Бадарев. Об основах транскрипции и транслитерации для тибетского языка</i> . . . . .	131

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	134
--------------------------------	-----

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов (главный редактор),  
 В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), Э. А. Макаев, М. В. Панов,  
 В. В. Панфилов, И. И. Реввин, Ю. В. Рождественский, Б. А. Серебрянников,  
 Н. И. Толстой (отв. секретарь редакции), О. Н. Трубачев

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. 228-75-55

Л. МОШИНСКИЙ

## К РАЗВИТИЮ ПРАСЛАВЯНСКИХ СОНАНТОВ

Вопрос о праславянских рефлексах индоевропейских слоговых сонантов \*ʀ, \*l̥ (=ʀ), хотя и не вызывал столь острой полемики, как некоторые другие проблемы фонетики и фонологии праславянского языка, принадлежит, несомненно, к числу дискуссионных. Взгляды на него разных исследователей далеки от единства и обнаруживают расхождения как в определении собственно фонетической стороны этих рефлексов, так и в понимании фонологического статуса соответствующих звуковых единиц. Сущность этих расхождений можно сформулировать следующим образом. Считать ли, что это были звукосочетания \*ūr, \*īr (\*vr, \*ʷr), и если так, то что они собой представляли в фонологическом отношении — бифонемные группы или дифтонги? Или признавать, что праславянский язык сохранил слоговые сонанты, и в таком случае следует ли видеть в них самостоятельные фонемы или позиционные варианты неслоговых плавных фонем? Размеры журнальной статьи не позволяют, естественно, рассмотреть все высказывания на этот счет и заставляют ограничиться анализом лишь основных, наиболее типичных точек зрения.

Первый из упомянутых выше взглядов, согласно которому праиндоевропейским слоговым \*ʀ, \*l̥ соответствуют праславянские сочетания \*ūr, \*īr, развивает, например, Г. Шевелев в своей монографии о фонологической системе праславянского языка<sup>1</sup>. Дальнейшая судьба этих сочетаний оказалась, по его мнению, различной в трех устанавливаемых им диалектных группах. Одна из них, наиболее архаичная, представленная польским и нижнелужицким языками и восточнославянскими диалектами, дольше других сохраняла первоначальные сочетания \*ūr, \*īr, которые затем в определенных условиях пережили изменение \*ūr > er > ar, тогда как в восточнославянских языках, а также в полабском и верхнелужицком обнаруживается регулярный переход \*ūr, \*īr, > vr, vr. В третьей группе имело место возвращение от сочетаний \*ūr, \*īr к слоговым плавным. Такое понятное развитие характеризует южнославянские языки вместе с чешским и словацким (без его восточных диалектов). При этом принимается, что в более позднее время языки этой группы в некоторых позициях устранили слоговость сонантов за счет развития вторичных гласных, как об этом свидетельствуют примеры типа чеш. *černý, mluva*, словац. *červ*, словен. *vôlk, stôlp*, мак. *долг. полн.*, серб.-хорв. *pîl, vuk* (прошедшие через стадию дифтонгических сочетаний), болг. *вълк, прѣст* и др. под.

Г. Шевелев не устанавливает точной хронологии этих изменений, но допускает, что первичные праславянские сочетания типа *türt, tirt* (у него — *CuSC, CiSC*) сохранялись до конца IX — нач. X в. Впрочем в старославянском языке, по его мнению, здесь выступали уже слоговые плавные.

Рассмотренная концепция вызывает целый ряд сомнений. Особенно затруднительным представляется отождествление путей развития праславянских рефлексов индоевропейских сонантов в полабском и верхне-

<sup>1</sup> G. Y. Shevelov, A prehistory of Slavic. The historical phonology of Common Slavic, Heidelberg, 1964.

дужицком, с одной стороны, и в восточнославянских языках, с другой. Г. Шевелев и сам понимает, что далеко не во всех случаях вторичные гласные в полабских и верхнелужицких фактах могут быть возведены к редуцированным, и ищет дополнительного объяснения указанных различий. Недостаточно ясным в интерпретации Г. Шевелева остается и развитие в польском, так как не все представленные здесь рефлексы могут быть выведены непосредственно из сочетаний типа  $*\ddot{u}r$  и для ряда случаев оказывается необходимым предпологать промежуточную стадию слогового плавного. Наконец, в южнославянских языках, а также в чешско-словацкой группе обнаруживается слишком много случаев плохо согласуемого с теорией Г. Шевелева развития вторичных гласных. Предлагаемое им объяснение может быть принято без оговорок лишь в отношении восточнославянских языков, поскольку восточнославянское изменение  $*\ddot{u}r \geq \ddot{u}r \geq or$  представляется вполне закономерным.

Очевидно, что гипотеза Г. Шевелева не дает удовлетворительного решения проблемы. Нельзя прийти к такому решению и основываясь на широко распространенном представлении, будто праиндоевропейским сонантам в праславянском языке соответствовали сочетания типа  $*\ddot{u}r$ ,  $*\ddot{b}r$ <sup>2</sup>. Последние можно принять в принципе лишь для восточных диалектов праславянского языка. В других славянских областях их существование маловероятно, а для прапольских диалектов решительно исключается.

Именно поэтому многие исследователи склоняются к мысли, что в позднепраславянскую эпоху сочетания типа  $*t\ddot{u}rt$ ,  $*t\ddot{i}rt$ <sup>3</sup> (resp.  $*t\ddot{e}rt$ ,  $*t\ddot{b}rt$ <sup>4</sup>) подверглись преобразованию в сочетания типа  $*t\ddot{y}t$ ,  $*t\ddot{i}t$  с развитием слоговых плавных. Ибо только приняв в качестве исходных сочетания типа  $*t\ddot{y}t$ , можно непротиворечиво объяснить все многообразие конечных результатов развития, как они представлены в новых славянских языках. Тем не менее даже те, кто принимает для позднепраславянского периода слоговые  $r$ ,  $l$ , восстанавливают обычно путь их развития: праи.-е.  $*t\ddot{y}t \rightarrow$  балтослав.  $*t\ddot{u}rt \rightarrow$  раннепраслав.  $*t\ddot{u}r$  ( $\Delta$   $*t\ddot{e}rt$ )  $\rightarrow$  позднепраслав.  $*t\ddot{y}t$ .

Следует все же задуматься, существовала ли в действительности предполагаемая для раннепраславянского периода ступень бифонемных групп в сочетаниях типа  $*t\ddot{u}rt$  ( $*t\ddot{e}rt$ ). Казалось бы, тот факт, что в балтославянскую эпоху произошла дефонологизация слоговых сонантов с изменением их в бифонемные группы типа  $*\ddot{u}r$ ,  $*\ddot{i}r$ <sup>5</sup>, говорит как раз в пользу этого предположения. Однако, как убедительно показал Е. Курилович, для праславянского языка такое изменение сонантов надежно свидетельствуется лишь в позиции перед гласными (ср., например, праслав.  $*m\ddot{u}r\ddot{y}t$  при  $*sm\ddot{y}t\ddot{y}t \leq$  праи.-е.  $*m\ddot{r}$ ). Достоверных свидетельств того, что такое же преобразование слоговых сонантов имело место и перед согласными, мы не знаем и можем заключать об этом только по косвенным данным. Необходимо поэтому решать поставленную проблему не изолированно, а исходя из всей системы праславянского языка в целом.

Указанное выше изменение праи.-е.  $*t\ddot{y}t \rightarrow$  раннепраслав.  $*t\ddot{e}rt$  ( $\leq t\ddot{u}rt$ )  $\rightarrow$  позднепраслав.  $*t\ddot{y}t$  обнаруживает несомненную связь с действием закона открытых слогов<sup>6</sup>. А так как слог с согласными  $r$  и  $l$  в исходе подверглись преобразованию в относительно позднее время, можно было бы

<sup>2</sup> Ср., например: J. Kuryłowicz, O jedności językowej bałtosłowiańskiej, «Biuletyn PTJ», XVI, 1957 (см. русск. изд.: ВСЯ, 3, 1958).

<sup>3</sup> Ср., например: R. Náhřigal, Slovanskí jazyki, Ljubljana, 1952, стр. 14 (см. русск. изд.: Р. Н а х т и г а л, Славянские языки, М., 1963).

<sup>4</sup> Ср.: A. Furdal, Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego, Wrocław, 1961, стр. 41.

<sup>5</sup> См.: J. Kuryłowicz, указ. соч., стр. 79—80.

<sup>6</sup> См.: Н. К о н е ц н а, Charakterystyka fonetyczna języka polskiego na tle innych języków słowiańskich, Warszawa, 1965, стр. 23.

предполагать, что изменение праславянских сочетаний типа  $*tort$  ( $\leftarrow *turt$ )  $\geq *tyt$  осуществлялось тогда же, когда происходило преобразование сочетаний типа  $*tort$ . В таком случае рассматриваемый процесс следовало бы, действительно, считать относительно поздним.

Закон открытых слогов, действие которого столь долго оставляло незатронутыми сочетания типа  $*tort$ , является, как известно, одним из древнейших фонетических законов праславянского языка. И если справедливо предположение, что известное изменение сочетаний согласных с  $i$  и возникновение ряда палатальных фонем (т. е. изменения типа  $*koz-ja \geq ko\dot{z}a$ ) также нужно рассматривать как проявление действовавшей уже тогда тенденции к открытости слога<sup>7</sup>, то очевидно, что начальный этап закона открытых слогов нужно отнести к балто-славянской эпохе. Это предположение может быть подкреплено результатами исследования Е. Куриловича, который доказал, что палатализация согласных под воздействием  $i$  является общим балто-славянским процессом<sup>8</sup>. Однако, как показывают его наблюдения, имеется принципиальное различие между балтийскими и славянскими результатами этого процесса: тогда как в балтийских языках на месте первичных сочетаний типа  $*tje$  выступают закономерные с точки зрения фонетического развития сочетания типа  $te$  с твердыми согласными, славянские языки представляют в соответствие им сочетание типа  $t'e$  с мягкими согласными. По мнению Е. Куриловича, «эта особенность, характерная для исторического периода развития славянских языков, является вторичной»<sup>9</sup>.

Таким образом, есть основания утверждать, что два таких важных фонетических процесса, как изменение праи.-е.  $*r, *l \geq ur, ir, ul, il$  (то же относится к носовым  $*n, *m$ ) и палатализация согласных перед  $i$ , являясь общими для балтийских и славянских языков. Они объединяют их, и этот факт может рассматриваться как обоснование известного тезиса о существовании балто-славянской языковой общности.

Вместе с тем славянские языки обнаруживают в реализации этих общих балто-славянских процессов специфические особенности, которые до сих пор рассматривались как вторичные явления позднего времени. Вторичным, по мнению многих славистов, следует считать изменение на славянской почве балто-славянских сочетаний типа  $*turt, *tirt$  в  $*tyt, *tyt$ . Вторичным же, с точки зрения Е. Куриловича, является развитие мягкости согласных в славянских сочетаниях типа  $t'e \leftarrow *tje$ . Но справедливо ли такое понимание? Действительно ли эти специфически славянские изменения являются вторичными и действительно ли они не связаны друг с другом?

Как уже говорилось, в общем для балтийских и славянских языков переходе  $*tja \geq t'a$  (при балт.  $*tje \geq te$  и слав.  $*tje \geq t'e$ ) Е. Курилович видит лишь проявление процесса палатализации. Иначе — и, как представляется, вполне справедливо — подходит к этому изменению Г. Коначна, связывающая его также и с действием закона открытых слогов. Отсюда напрашивается естественное предположение, что различия между балтийскими и славянскими языками в реализации этого общего балто-славянского процесса палатализации согласных сложились еще в балто-славянскую эпоху и были обусловлены начавшимся уже в протославянских диалектах балто-славянского языка развитием тенденции к открытости слога.

Действие этой тенденции могло привести к тому, что изменение бифонемных групп типа  $*tj$  — с синхронизацией необходимых для их об-

<sup>7</sup> Там же, стр. 24.

<sup>8</sup> J. K u r i l o w i c z, указ. соч., стр. 88—90.

<sup>9</sup> Там же, стр. 89.

разования артикуляций и возникновением палатальных согласных — происходило в протославянских диалектах независимо от качества последующего гласного, т. е. не только в сочетаниях типа *at-ia*, но и в сочетаниях типа *at-ie*. Между тем в протобалтийских диалектах сочетания этого типа изменялись, как это показал Е. Курилович, без палатализации согласного.

И если Е. Курилович считает, что «балто-славянская палатализация согласных под воздействием *i* предшествует вокализации сонантов (*r, l, n, m* > *ir, il, in, im*)»<sup>10</sup>, то мы, исходя из того, что изменение *\*aie* > *at'e* обусловлено не только процессом палатализации, но также и действием закона открытых слогов, можем утверждать, что тенденция к открытости слога проявляла себя уже и в период балто-славянского перехода *\*trt* > *tirt*. Находясь на начальном этапе развития, эта тенденция не могла, разумеется, устранить сразу все имевшиеся закрытые слоги (часть их, причем не только с конечными сонорными, как в сочетаниях типа *tort*, продолжала еще сохраняться), однако ее действие могло препятствовать возникновению новых закрытых слогов, могло задержать в протославянских диалектах изменение прап.-е. *\*trt* > *tirt*<sup>11</sup>.

В этой связи должен быть поставлен вопрос о фонологической сущности протославянских слоговых плавных. Следует ли считать, что они продолжали функционировать как самостоятельные фонемы, или, принимая во внимание, что слоговые плавные, в соответствии с общим балто-славянским процессом дефонологизации сонантов, изменились перед гласными в бифонемные группы типа *ʔr* и сохранились лишь перед согласными в сочетаниях типа *\*trt*, нужно видеть в них, как предлагает, например, К. Дейна<sup>12</sup>, позиционные варианты неслоговых плавных фонем?

Очевидно, что если бы в решении этого вопроса можно было основываться только на критериях дистрибутивного характера, то следовало бы согласиться с мнением К. Дейны. Однако праславянские слоговые сонанты сохранили, помимо функции слогообразования, еще и такие специфические свойства гласных фонем, как способность быть носителями просодических признаков ударения, интонации и количества. И поскольку эти признаки были в праславянском языке фонологически релевантными, необходимо признать, что праславянские слоговые *\*r, \*l* функционировали как самостоятельные фонемы, хотя и позиционно ограниченные<sup>13</sup>. Именно эта их особенность — позиционная ограниченность употребления — могла способствовать в дальнейшем их устранению из фонологических систем некоторых славянских языков<sup>14</sup> с замещением различными бифонемными группами.

То же, очевидно, можно сказать и о носовых сонантах. Принято думать, что изменение *\*n, \*m* в носовые гласные *\*ẽ, \*õ* осуществлялось через

<sup>10</sup> Там же, стр. 94.

<sup>11</sup> Иначе подходит к этому Т. Милевский, который, отрицая вообще существование балто-славянской языковой общности, выводит праславянские сонанты непосредственно из праиндоевропейских. См.: T. Milewski, [рец. на кн.:] A. Vaillant, *Grammaire comparée des langues slaves*, «Rocznik slawistyczny», XVIII, 1, 1956, стр. 42—43, 56—57.

<sup>12</sup> K. D e j n a, *Prasłowiańskie systemy fonologiczne*, «Łódzkie товариство наукове. Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych», XXII, 12, 1968.

<sup>13</sup> Иначе понимал этот вопрос П. С. Кузнецов, для которого важнее всего дистрибуция фонем. Просодические признаки игнорирует, по его мнению, второстепенную роль. Об этом и других интересных для нас вопросах писал он в статье «О поведении сонантов на границе основ глаголов III и IV классов в славянских языках» («Славянская филология», III, М., 1958).

<sup>14</sup> Как показала Г. Конечна, это изменение осуществилось главным образом в тех языках, которые устранили различительную функцию просодических признаков (указ. соч., стр. 73).

стадию бифонемных сочетаний типа  $*un, *in > \epsilon n, \epsilon n^{15}$ , в связи с чем оказывается необходимым объяснить незакономерное, с этой точки зрения, отсутствие назализации в случаях типа  $*s\epsilon to \ll *k'm\epsilon tom$ . Однако уже в 1931 г. Т. Милевский пришел к выводу, что развитие носовых гласных из сонантов не могло иметь промежуточной стадии бифонемных групп типа  $*un, *in$  и осуществлялось в последовательности  $*n > *o n, *e n > \epsilon, \epsilon^{16}$ . Действительно, из сочетаний  $*un, *in$  должны были бы возникнуть носовые  $*u, *i$ , которые, будучи гласными верхнего подъема, подверглись бы де-назализации, как это и произошло в случаях типа праслав.  $*gnida \ll *gninda, *lyko \ll *lunk\epsilon os$  или  $*syn\epsilon$  (acc. sg.)  $\ll *s\ddot{u}n\ddot{u}m, *gost\epsilon \ll *ghostim$  и т. п.<sup>17</sup>.

Едва ли, однако, необходимо постулировать для развития носовых гласных из сонантов промежуточную стадию со звуками типа  $*o n, *e n^{18}$ . И не случайно, что в более поздней своей работе Т. Милевский не упоминает уже о ней. Признавая, что «развитие праин.-е.  $m, n$  в славянские носовые гласные. . . остается во многом неясным», он ограничивается замечанием, что «предполагать переход праин.-е.  $m, n$  в праслав.  $um, im, un, in$  нет оснований»<sup>19</sup>.

Имея в виду эту проблему, следует учесть, что праславянские носовые сонанты  $m, n$ , вероятно, не отличались в артикуляционном отношении от слоговых плавных  $r, l$ , следовательно, могли удерживаться до тех пор, пока не возникли носовые гласные  $*e$  ( $\ll *en$ ) и  $*o$  ( $\ll *on$ ). Утрачивая фонологическую самостоятельность, слоговые  $*n, *m$ , должны были стать вариантами вновь возникших слоговых носовых фонем, и, таким образом, создались условия для замены одних вариантов другими, с обобщением (генерализацией) собственно вокалических вариантов. Что касается случаев незакономерного изменения  $*n, *m > *un, *in > *\epsilon n, *e n > \epsilon, \epsilon$  (т. е. изменения типа  $*k'm\epsilon tom > *s\ddot{u}m\epsilon tom > *s\epsilon m\epsilon to > s\epsilon to$ ), то для их (объяснения нет необходимости постулировать какие-то особые фонетические условия. Можно думать, что немногочисленные слова и формы (например, формы acc. sg. существительных с консонантной основой типа  $*k\ddot{a}men-n > *k\ddot{a}men-\epsilon n > *k\ddot{a}men-\epsilon$ ), отражающие такое нетипичное развитие, возникли при взаимодействии двух диалектных групп балто-славянского языка, в условиях, когда протобалтийское произношение с характерными для него группами  $un, in$  ( $\ll *n, *m$ ) воспринималось, быть может, как более правильное.

Принимая во внимание все высказанные выше соображения, можно сделать вывод, что в позиции перед согласными праславянские слоговые сонанты непосредственно отражают (разумеется, с учетом их расщепления на несмягченный и смягченный ряды, аналогичные балтийским рядам типа  $ur - ir$ ) древнейшее праиндоевропейское состояние.

Произношение слоговых сонантов могло, очевидно, быть двояким. В соответствии с выводами выдающегося польского фонетиста-экспериментатора Г. Конечной, «эти согласные, выполняя в слоге функцию гласных, должны были произноситься с большей, чем это свойственно неслоговым плавным, артикуляторной энергией, и в связи с этим сопровождалась предшествующим или (реже) последующим кратким вокалическим элементом

<sup>15</sup> Ср., например: А. Furdal, указ. соч., стр. 40.

<sup>16</sup> T. Milewski, O powstaniu prasłowiańskich samogłosek nosowych, «Rocznik slawistyczny», X, 1931, стр. 80—115.

<sup>17</sup> Случай, подобные  $*k\ddot{u}n\epsilon z\epsilon$   $\ll$  гот. *kunings*, принадлежат более позднему времени и не могут приниматься здесь во внимание (ср.: T. Leher-Spławski, Próba datowania tzw. II palatalizacji spółgłosek tylnojęzykowych w języku prasłowiańskim, «Studia z filologii polskiej i słowiańskiej», 1, Warszawa, 1955).

<sup>18</sup> T. Milewski, [рец. на кн.:] A. Vaillant..., стр. 56.

<sup>19</sup> Там же.

неопределенного качества»<sup>20</sup>. Очевидно, что из этих двух производительных вариантов слоговых плавных сонантов (обозначим их  $r^2$  и  $r^3$ , где  $^2$  — знак неопределенного по тембру вокалического элемента, сопутствующего плавному) в праславянскую эпоху, т. е. в эпоху широко развернувшегося уже действия закона открытых слогов, мог использоваться лишь второй вариант, типа  $r^3$ .

Те же особенности определяли и реализацию носовых сонантов, произношение которых в виде  $n^2$  сохранялось до времени возникновения носовых гласных. Как уже было показано, переход от  $*\eta$  ( $n^2$ ) к  $\epsilon$  или  $\varphi$  представляет собой изменение не фонетического, а фонологического характера — генерализацию вокалических вариантов слоговых носовых фонем.

Особенно благоприятные условия для этого изменения создавало наличие в праславянском языке ряда корней, варианты которых (типа  $*tnt$  ||  $*tent$ ) отражали индоевропейский аблаут. Представленное в подобных случаях фонемное чередование слогового монофонгического  $*n$  с дифтонгическим сочетанием  $*en$  (ср. параллельное чередование  $*r$  ||  $*er$ ) должно было — в связи с изменением  $*en \geq *e$  — трансформироваться в фонетическое чередование двух вариантов носовой слоговой фонемы. Благодаря этому в ряду, содержащем такие образования, как инф.  $*pentī$ , 1-е лицо ед. числа  $*rьp$  (<  $*pr-ōm$ ), страд. прич.  $*pūtē$  (ср. также параллельный ряд:  $*terti$ ,  $*tьp \leq *tr-ōm$ ,  $*triv$ ) вместо трех вариантов корня оказалось только два: с носовым гласным  $\epsilon$  (как в  $*pēti$  и  $*pētē$ ) и с сочетанием  $ьп$  (как в  $*pēno$ ). Тенденция к упрощению обнаруживается и в судьбе рядов, возглавляемых инфинитивами типа  $*terti$ . Встречающиеся в старославянских текстах написания типа  $т ѣ рѣ ти$  вместо  $трѣ ти \leq *terti$  свидетельствуют (если интерпретировать их морфемную структуру в виде  $tьr-ě-ti$ ) об аналогичном, хотя и несколько иначе осуществляемом переходе от трех ступеней чередования ( $-rě-||-ьr-||-r-$ ) к двум ( $-ьr-||-r-$ ).

Реализация слоговых плавных  $r$ ,  $l$  в виде  $r^2$ ,  $l^2$  должна была сохраняться, очевидно, до тех пор, пока закон открытых слогов не прекратил свое действие в связи с процессом падения редуцированных гласных. Именно тогда, еще до окончательной утраты слабых редуцированных, но с превращением их в факультативные фонемы, произношение слоговых сонантов могло стать двойным: наряду с первоначальными их вариантами типа  $r^3$  оказались допустимыми новые (по мнению Г. Конечной, более типичные для слоговых сонантов) варианты типа  $r^2$ .

Утрата слабых редуцированных, хотя первоначально лишь факультативная, создавала, таким образом, условия для сближения и последующего неразличения двух исконно различных в фонологическом отношении сочетаний типа  $tpt$  и  $trat$ .

Это изменение и осуществилось в южнославянских языках, которые не противодействовали совпадению указанных сочетаний и допустили их неразличение. Напротив, языки севернославянской группы сохранили исконное противопоставление  $tpt$  и  $trat$ , что было достигнуто дифтонгизацией слоговых плавных, т. е. развитием их в разного рода сочетания гласных с неслоговыми плавными<sup>21</sup>. Особенно многообразными оказались результа-

<sup>20</sup> Н. Конечная, указ. соч., стр. 23.

<sup>21</sup> Следует заметить, что дифтонгизация как средство защиты единиц, которым грозит опасность утраты фонологической самостоятельности, — нередкое явление в истории славянских языков. В качестве примера можно привести изменение праслав.  $\epsilon \geq \hat{i}e$ , когда  $e \geq \hat{a}$  (ср.: L. M o s z y ŋ s k i, Od czego zależała różn okierunkowy rozwój tzw. jat' w językach słowiańskich, ВРТJ, XXV, 1967), или изменение чеш.  $\hat{a} \geq ou$ , когда  $\hat{o} \geq \hat{u}$  ( $\hat{u}$ ), и др. под. Этот вопрос рассматривается также в моей статье «Kształtowanie się polskiego systemu samogłoskowego» («Zeszyty naukowe UMK», в печати).

ты такого фонетического изменения в польском языке. Но они принадлежат более поздней эпохе, которая не рассматривается в данной статье.

В заключение следует сказать несколько слов о старославянских написаниях типа *рѣкъъ*, *кѣкъъ*. Их графика заставляет думать о произношении в соответствующих случаях бифонемных сочетаний плавных с редуцированными, хотя общеизвестно, что *ъ* и *ь* в сочетаниях *рѣъ*, *кѣъ*, *рѣь*, *кѣь* ≤ \**гъ*, \**й* не были нормальными редуцированными<sup>22</sup>. Это наводит на мысль о некотором несовершенстве глаголического алфавита, в котором как будто оказались непредусмотренными необходимые средства для передачи какой-то тонкой особенности славянской фонологической системы. Но думать так было бы заблуждением.

Нужно иметь в виду, что в глаголической графике, какой мы ее знаем, обозначается лишь тембр гласных, т. е. такие фонетические признаки, которые обусловлены рядом и подъемом языка. Однако для сверхкратких гласных признак степени раствора оказался как раз нерелевантным, и именно поэтому редуцированные гласные независимо от того, восходят ли они к \**й*, \**й* (*synъ*, *gostъ*) или к \**ѡ*, \**ѣ* (*gnati*, *rvci*)<sup>23</sup>, обозначались одинаково, буквами *ъ* и *ь*. Так же, очевидно, должен был обозначаться и вокалический элемент, сопутствующий плавному при произношении *гъ*, хотя в других отношениях он и отличался от нормальных редуцированных. Специфические особенности этого звука не получали графического выражения, как и особенности ударения, интонации, длительности и напряженности гласных или различия между слабыми, сильными и напряженными редуцированными (*сѣнъ*, *дѣнь*, *дѣь*).

Впрочем не исключено, что в первоначальной системе письма для обозначения такого рода признаков были предусмотрены и использовались специальные диакритические знаки<sup>24</sup>. В диалекте с иной просодической системой они могли оказаться совершенно непонятными, забыться и выйти из употребления. Именно такая ситуация могла сложиться при перенесении славянской письменности из Солуни в Моравию. Эта гипотеза позволяет объяснить характерное для старославянского письма отсутствие средств выражения тонких различий между разнообразными вариантами редуцированных гласных и связанное с этим графическое отождествление таких фонетически разных структур, как *рѣкъъ*, с одной стороны, и *рѣьь*, *кѣьь*, *кѣььь*, с другой.

Все сказанное позволяет сделать следующие выводы:

1. Установленные наукой различия между балтийскими и славянскими языками в осуществлении и результатах таких важных фонетических процессов эпохи балто-славянской языковой общности, как развитие индоевропейских сонантов и палатализация согласных в сочетании с *й*, не могут и не должны рассматриваться как вторичные явления позднего времени. Это утверждение не только не противоречит обоснованной и принимаемой многими лингвистами гипотезе о существовании балто-славянского языкового единства, но, напротив, подкрепляет ее, приводя к выводу, что балто-славянский язык, как и любой живой язык, был разделен на диалекты. Обнаруживается достаточно четкое членение балто-славянской языковой области на две диалектные зоны, которые можно было бы назвать прото-балтийским и протославянским диалектами балто-славянского языка.

2. Возникновение диалектной дифференциации балто-славянского языка следует связывать с развитием на части его территории тенденций к от-

<sup>22</sup> Ср.: Т. Milewski, [рец. на кн.]: A. Vaillant..., стр. 56.

<sup>23</sup> Ср. также: Л. Мошинский, К фонологии просодических элементов в славянских языках, ВЯ, 1965, 2, стр. 9.

<sup>24</sup> Диакритические знаки, засвидетельствованные в дошедших до нас памятниках старославянской письменности, выполняют иные функции. Исключение в этом отношении составляют лишь Киевские листки.

крытости слога. Действие этой тенденции определило специфическое течение некоторых общих балто-славянских фонетических процессов, вызвав в протославянских говорах палатализацию согласных перед *i* не только в сочетаниях типа *atja*, но и в сочетаниях типа *atje* (таким образом, протобалтийскому соотношению *at'a* — *ate* соответствует протославянское *at'a* — *at'e*) и сохранение плавных и носовых сонантов на слоговой ступени в позиции перед согласными (в сочетаниях типа *trt*).

3. В развитии слоговых сонантов праславянский язык, сформировавшийся на основе протославянских говоров балто-славянского языка, никогда не знал промежуточной стадии сочетаний типа *turt* или *tɛrt*. Унаследовав и сохранив праиндоевропейские *r*, *l*, *n*, *m*, праславянский язык ограничился тем, что в соответствии с общей балто-славянской закономерностью расщепил их на несмягченный и смягченный ряды (*r*, *l*, *n*, *m* — *r̃*, *l̃*, *ñ*, *m̃*). Единичные исключения типа *sɛto* < \**sũnto* < \**k'm̃tom*, \**ʃtm̃ɛ* < \**ʃñmen* < \**ñ-men* или *kam̃eñ* < \**kāmen-ñ* свидетельствуют, по-видимому, лишь о том, что в балто-славянском языке, как в любом живом языке, осуществлялось междialeктное взаимодействие и связанное с ним перенесение слов и форм из одного диалекта в другой. Не исключено, что эти процессы происходили на основе осознания языковых норм. В таком случае можно было бы даже предположить, что в эпоху балто-славянской языковой общности некоторые нормы имели протобалтийское происхождение.

4. Праславянский переход \**ñ*, \**ñ* > *ɛ*, *o* не включал промежуточной стадии бифонемных групп типа *in*, *un* или *ɛn*, *ɔn*, поскольку эти последние подверглись денализации и изменились в неносовые гласные (праи.-в. \**lunkuos* > праслав. *lyko*, \**sũnũm* > *synɔ*, \**ghostim* > *gostɔ*). Об этом же свидетельствуют единичные случаи типа *sɛto*. Что касается изменений, представленных примерами типа *k̃ñezɔ* < гот. *kunings*, то они принадлежат значительно более позднему времени. Переход от \**ñ*, \**m̃* к *ɛ* и *o* осуществился непосредственно, как результат тенденции к обобщению (генерализации) вокалических вариантов слоговых носовых фонем. Он имел место, следовательно, уже после изменения \**en* > *ɛ*, \**on* > *o*.

5. Из двух теоретически возможных вариантов фонетической реализации слоговых сонантов (\**r* и *r̃*) для праславянской эпохи необходимо принять произношение типа *r̃*, отвечающее требованиям закона открытых слогов. Использование второго варианта (типа \**r*) стало возможным только после утраты слабых редуцированных. Не случайно, что старославянский язык, пока в нем сохранялись слабые редуцированные, имел в соответствующих случаях лишь сочетания типа *tr̃t* (пѣзкз). Превращение слабых редуцированных в факультативные фонемы сделало возможным распространение более типичной для слоговых сонантов реализации в виде \**r* и тем самым открыло путь для их последующей вокализации (ср. др.-русск. *пѣрѣзъ*, польск. *kark*, *wilk* и т. п.).

6. Так называемая вокализация сонантов в севернославянских языках представляет собой дифтонгизацию слоговых плавных, т. е. их развитие в разного рода сочетания гласных с неслоговыми плавными. Это изменение отвечало потребности предотвратить слияние таких первоначально различных в фонетическом и фонологическом отношении структур, как сочетания типа *tr̃t* и *tr̃t̃*. В южнославянских языках они утратили первоначальные различия и совпали. Чешско-словацкая группа, с этой точки зрения, может рассматриваться как переходная. Южнославянская вокализация *l̃* относится к более позднему времени и непосредственно с описанным процессом не связана. Так же, вероятно, следует оценивать развитие и в болгарском языке.

И. А. ПЕРЕЛЬМУТЕР

К СТАНОВЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ  
В СИСТЕМЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ГЛАГОЛА

В индоевропейском языкознании господствует точка зрения, в соответствии с которой временные оппозиции в системе индоевропейского глагола возникли относительно поздно, во всяком случае позднее оппозиций видовых<sup>1</sup>. Никаких сомнений не вызывает позднее происхождение специальных форм для будущего времени, образующихся по-разному в разных ветвях индоевропейских языков. Хотя установление морфологических различий между формами настоящего и прошедшего времени относится, по-видимому, к значительно более отдаленному периоду, в нашем распоряжении имеются данные, позволяющие воссоздать такое языковое состояние, при котором и этих различий еще не существовало. Во многих индоевропейских языках для разграничения форм настоящего и прошедшего времени используется два ряда окончаний: «первичные» окончания — для настоящего времени, «вторичные» — для прошедшего. Поскольку, однако, «первичные» окончания, несомненно, произведены из окончаний «вторичных»<sup>2</sup>, то это значит, что было время, когда различия между двумя этими рядами окончаний еще не сформировались.

В индоевропейских языках восточного ареала (в индоиранских, армянском, древнегреческом) дополнительным признаком прошедших времен служил аугмент (приставочное \*ē-). Для того чтобы проследить становление этого средства выражения временной оппозиции, не нужно даже прибегать к реконструкции: в языке Вед, Авесты, гомеровских поэм и микенских надписей аугмент еще факультативен, часто наблюдаются формы прошедшего времени без аугмента.

Уже а priori на основании разнообразных наблюдений над развитием грамматического строя можно было предположить, что выражение оппозиции между настоящим и прошедшим временем проникло в систему глагола постепенно и неравномерно, распространяясь на одни части этой системы раньше, чем на другие, охватывая отдельные лексические слои прежде, чем остальные. Серьезную опору это предположение получило с того времени, как науке стали известны материалы анатолийских языков: в одном из двух спряжений хеттского глагола, спряжений на *-hi*, в отличие от спряжения на *-ti*, противопоставление форм настоящего и прошедшего времени обнаруживает черты, явно свидетельствующие о том, что оно

<sup>1</sup> Из необозримой литературы вопроса укажу лишь на некоторые работы, появившиеся в последние годы на русском языке: Т. Я. Елизаренкова, К вопросу о становлении категории времени в древнеиндийском языке (Ригведа), М., 1960; Э. А. Макаев, Морфологический строй общегерманского языка, «Проблемы морфологического строя германских языков», М., 1963, стр. 58; Я. Сафаревич, Развитие формативов времени в индоевропейской глагольной системе, «Проблемы индоевропейского языкознания», М., 1964; И. М. Тронский, Общепалеоиндоевропейское языковое состояние, Л., 1967, стр. 91 и сл.

<sup>2</sup> Я. Сафаревич, указ. соч., стр. 14; И. М. Тронский, указ. соч., стр. 92.

возникло в этом спряжении очень поздно, что оно представляет собой даже не общепантолийское, а специально хеттское новообразование<sup>3</sup>.

Мы попытаемся показать, что не только хеттский язык, но и другие индоевропейские языки сохранили следы того, что временные различия проникали в систему глагола постепенно и неравномерно, при этом ведущую роль в выработке временных различий играли глаголы со значением действия, а предикативные слова со значением состояния восприняли эти различия позднее<sup>4</sup>.

Одной из важнейших категорий индоевропейского глагола, служивших для выражения состояния, являлся индоевропейский перфект. Уже тот самый факт, что индоевропейский перфект дал в одних случаях начало для форм настоящего времени (претерито-презентные глаголы в германских языках, так называемые интенсивные перфекты в древнегреческом, перфекты с презентным значением в древнеиндийском), а в других случаях — для форм прошедшего (претерит глаголов сильного спряжения в германских языках, основная масса перфектов в древнегреческом и древнеиндийском и т. д.) говорит об особом отношении перфекта к категории времени.

Правда, своеобразие отражений перфекта в плане времени часто истолковывалось как следствие того, что перфект, означавший «действие в прошлом, результаты которого наличествуют в настоящем», был искони связан с двумя планами во времени и мог в дальнейшем эволюционировать как в сторону настоящего, так и в сторону прошедшего времени. Однако исследованиями последних лет установлено, что обозначение прошлого действия, результаты которого сохранились в настоящем, не является первоначальным и исходным значением индоевропейского перфекта<sup>5</sup>. Есть основания полагать, что своеобразие отражения перфекта в плане времени связано с тем, что в какой-то, по-видимому, весьма отдаленный период развития языка формы индоевропейского перфекта могли употребляться безразлично ко времени: в презентном и в претеритальном значении. При этом мы исходим в первую очередь из следующих положений, широко признанных в современной науке.

1. Индоевропейский глагол не знал сквозного спряжения. От ряда корней образовывались лишь формы перфекта, от ряда других — лишь формы презентно-аористной системы<sup>6</sup>. Изолированные перфекты индоевропейских языков (в сохранившихся памятниках они выступают, как правило, в презентном значении) образуют древнейший пласт форм данной грамматической категории<sup>7</sup>.

2. Плюсquamперфект (перфектопретерит), засвидетельствованный в ряде древних индоевропейских языков, представляет собой в этих языках

<sup>3</sup> E. H. Sturtevant — E. A. Hahn, *A comparative grammar of the Hittite language*, 1, New Haven, 1951, стр. 143; В. Я. Ч. В. Иванов, *Хеттский язык*, М., 1963, стр. 158; его же, *Общепантолийская, праславянская и анатолийская языковые системы*, М., 1965, стр. 43 и сл.

<sup>4</sup> «Как в именах активный класс играл ведущую роль при выработке склонения..., так и в глаголах ведущую роль играло спряжение глаголов действия» (И. М. Т р о н с к и й, указ. соч., стр. 90).

<sup>5</sup> Литературу по этому вопросу см.: И. А. П е р е л ь м у т е р, О первоначальной функции индоевропейского перфекта, ВЯ, 1967, № 1. Ср. также важные работы: S. W a t k i n s, *Indo-European grammar*, III, pt. 1, 1967; E. R i s c h, *Zum Problem der thematischen Konjugation*, сб. «Symbolae linguisticae in honorem J. Kuryłowicz», Wrocław, 1965; J. S a f a r e w i c z, *Le présent indéterminé et le présent déterminé en indo-européen*, там же.

<sup>6</sup> J. W a s k e r n a g e l, *Studien zum griechischen Perfektum*, Göttingen, 1904, стр. 3; L. R e n o u, *La valeur du parfait dans les hymnes védiques*, Paris, 1925, стр. 1; П. Ш а н т р е н, *Историческая морфология греческого языка*, М., 1953, стр. 127.

<sup>7</sup> И. А. П е р е л ь м у т е р, указ. соч.

относительно новую категорию, не восходящую к индоевропейскому языковому состоянию<sup>8</sup>.

Представим себе теперь какой-нибудь изолированный перфект, например, др.-греч. ἄνωγα «я приказываю, побуждаю». Если принять во внимание, что этот перфект не имел соответствующего презенса или аориста и что плюсквамперфект еще не существовал в тот воссоздаваемый нами отдаленный период развития языка, то мы должны прийти к выводу, что от этого глагола нельзя было образовать специальной формы прошедшего времени. Возникает предположение, что формы перфекта должны были первоначально использоваться как для обозначения настоящего времени, так и для обозначения прошедшего времени.

К выводу о первоначальном «безразличии» перфекта по отношению ко времени мы можем прийти, однако, не только путем чистой реконструкции, не только с помощью дедуктивных рассуждений; воссоздаваемое нами языковое состояние оставило явные следы в древнейших памятниках индоевропейской речи.

Уже давно был отмечен тот факт, что древнеиндийские перфекты *veda* «знать» и *āha* «говорить», которые в более позднем языке представляют собой типичные претерито-презентные глаголы и имеют только презентное значение, в Ригведе могут выступать и с презентным, и с претеритальным значением<sup>9</sup>.

Отдельные случаи безразличного ко времени употребления перфекта по преимуществу в форме 3-го лица ед. числа мы наблюдаем и в древнегреческом языке, в языке гомеровского эпоса. Некоторые формы перфекта, выступающие, как правило, в презентном значении — ἄνωγε «он побуждает», ῥέγωνε «он кричит», δείδε «он боится» и т. д. — имеют иногда претеритальное значение<sup>10</sup>. Обычно говорят, что в случаях претеритального употребления подобных форм мы сталкиваемся с формами одного из типов древнегреческого плюсквамперфекта — так называемого тематического плюсквамперфекта<sup>11</sup>. От этого типа плюсквамперфекта засвидетельствованы только формы трех лиц: 1-е лицо ед. числа (ἄνωγον), 3-е лицо ед. числа (ἄνωγε) и 3-е лицо мн. числа (ἄνωγον)<sup>12</sup>. Но 1-е лицо ед. числа и 3-е лицо мн. числа представлены во всем гомеровском эпосе лишь единичными формами. 3-е лицо ед. числа наблюдается гораздо чаще и если мы примем во внимание, что новое окончание плюсквамперфекта -σι во многих случаях заменило собой первоначальное -ε в формах 3-го лица ед. числа<sup>13</sup>, то численное преобладание форм 3-го лица ед. числа над остальными окажется еще более внушительным. Как объяснить это весьма «странное» спряжение? Вправе ли мы говорить, что в языке Гомера существует некий тематический плюсквамперфект, в спряжении которого 3-е лицо ед. числа, по утверждению Б. Дельбрюка и Э. Швицера<sup>14</sup>, «формально совпадает» с 3-м лицом ед. числа перфекта, когда этот тип плюсквамперфекта почти исключительно лишь формой 3-го лица ед. числа и представлен? Естест-

<sup>8</sup> P. Thieme, Das Plusquamperfectum im Veda, Göttingen, 1929; M. Leumann, Morphologische Neuerungen im altindischen Verbalsystem, Amsterdam, 1952, стр. 22; И. М. Тронский, указ. соч., стр. 92.

<sup>9</sup> См., например: L. Renou, указ. соч., стр. 10 и сл.

<sup>10</sup> См. например: ἄνωγε Ил. XI, 646; ῥέγωνε Ил. XIV, 469; Ил. XXIV, 703; Од. VIII, 305; δείδε Ил. XVIII, 34; Ил. XXIV, 358 и т. д.

<sup>11</sup> Например: P. Chantraine, Grammaire homérique, I, Paris, 1942, стр. 438 и сл.

<sup>12</sup> E. Schwyzer, Griechische Grammatik, I, München, 1953, стр. 776.

<sup>13</sup> E. Chantraine, Histoire du parfait grec, Paris, 1927, стр. 58 и сл.; E. Schwyzer, указ. соч., I, стр. 777.

<sup>14</sup> B. Delbrück, Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, TI. II, Strassburg, 1897, стр. 183; E. Schwyzer, указ. соч., I, стр. 776.

веннее предположить, что в данном случае мы имеем не совпадающие между собой формы перфекта и плюсквамперфекта, а одну форму — форму перфекта, которая может употребляться и в презентном, и в претеритальном значении.

Отдельные следы претеритального употребления перфектов, неизменно выступающих в древнегреческом языке в качестве перфектнопрезенсов, наблюдаются, по-видимому, и у форм 1 и 2-го лица ед. числа: Ил. XIII, 96 πέποιθαι «я полагаю»<sup>15</sup> (при обычном значении этой формы «я полагаю»), Ил. XXI, 583 ἐόλπας «ты надеялся»<sup>16</sup> (при обычном значении этой формы «ты надеешься»). Эти наблюдения могут рассматриваться в качестве дополнительного довода в пользу того взгляда, что например, γέγωνε «он кричит» и γέγωνε «он кричал», ἔνωγε «он побуждает» и ἔνωγε «он побуждал», δέιδε «он боится» и δέιδε «он боялся» — это не формы двух различных категорий глагола, перфекта и плюсквамперфекта, лишь внешне совпадающие между собой, а формы одной категории — категории перфекта, которые могли употребляться безразлично ко времени и в презентном, и в претеритальном значении. 3-е лицо ед. числа так называемого тематического плюсквамперфекта представляет собой реликт того языкового состояния, когда перфекту еще не была свойственна временная дифференциация.

Почему же, однако, сколько-нибудь заметные следы этого языкового состояния сохранила только форма 3-го лица ед. числа, а остальные формы, например, формы 1 и 2-го лица ед. числа, если отвлечься от двух приведенных выше примеров, интерпретацию которых нельзя считать твердо установленной, не сохранили следов претеритального употребления перфектопрезенсов? Это объясняется, по-видимому, тем обстоятельством, что в 1 и 2-м лице ед. числа древнегреческий перфект имел окончания -α, -θα (первоначальное окончание, сохранившееся в форме οἶσθα), свойственные только этой категории глагола, а в 3-ем лице ед. числа перфект имел окончание -ε, совпадающее с окончанием 3-го лица ед. числа прошедших времен -ε, которое характеризовало имперфект и аорист. Поэтому форма 3-го лица ед. числа данных перфектов в тех случаях, когда она выступала в претеритальном значении, могла быть переосмыслена как форма имперфекта и послужила отправным пунктом для образования от основы перфекта парадигмы по типу имперфекта ἔνωγον — 1-е лицо ед. числа; ἔνωγον, ἐμέτηρον — 3-е лицо мн. числа, а в дальнейшем и презентной парадигмы ἄνωγε — 3-е лицо ед. числа презенса. Как это часто происходит в языке, 3-е лицо ед. числа и здесь оказалось той формой, переосмысление которой послужило исходным пунктом для перестройки парадигмы глагола<sup>17</sup>. Все это произошло в тот период языкового развития, когда употребление одних и тех же форм глагола как в презентном, так и в претеритальном значении стало уже невозможным. Необходимость четкого внешнего разграничения между формами настоящего и формами прошедшего времени послужила, по-видимому, причиной того, что так называемый тематический плюсквамперфект представлен в наиболее ранних памятниках древне-

<sup>15</sup> См. переводы: Гомер, Илиада, пер. Н. И. Гнедича, М., 1960, стр. 203; Гомер, Илиада, пер. В. В. Вересаева, М.—Л., 1949, стр. 272; Homers, Ilias, übersetzt von J. Voss, Leipzig, 1950, стр. 191; The Iliad of Homer done into english prose by A. Lang, W. Leaf, E. Myers, London, 1889, стр. 248.

<sup>16</sup> Гомер, Илиада, пер. Н. И. Гнедича, стр. 310; Гомер, Илиада, пер. В. В. Вересаева, стр. 462; Homers, Ilias, übersetzt von J. Voss, Leipzig, 1950, стр. 332; Homers, Iliade, texte établi et traduit par P. Mazon, IV, Paris, 1937—1938, стр. 68.

<sup>17</sup> J. Kurylowicz, The inflectional categories of Indo-European, Heidelberg, 1964, стр. 143 и сл.

греческого языка лишь единичными формами, а в более позднем языке совершенно вышел из употребления.

Изложенная точка зрения о первоначальном безразличии индоевропейского перфекта к категории времени находит, по-видимому, свое подтверждение и на германском материале. Германские претерито-презентные глаголы восходят, по всей вероятности, к индоевропейским изолированным перфектам, не имевшим соответствующих форм презенса или аориста<sup>18</sup>. Если учесть, что эти глаголы имеют дентальное прошедшее, представляющее собой германскую инновацию и образующееся почти исключительно лишь от производных глаголов, то нельзя будет не согласиться с выводом М. М. Гухман о том, что «для этих глаголов претерит является вторичным образованием. Первоначально они отличались отсутствием временной дифференциации»<sup>19</sup>.

Сходные с перфектом черты в своем отношении к категории времени обнаруживает представленная во многих индоевропейских языках глагольная формация, характеризующаяся в плане морфологическом суффиксом *-ē-*, в плане семантическом — обозначением состояния.

В латинском языке эта формация отражена в большом числе глаголов второго спряжения<sup>20</sup>: *egēre* (*egē-re*) «нуждаться», *horrēre* «быть взъерошенным», *latēre* «быть скрытым», *rigēre* «быть околоченным», *nitēre* «блистать», *silēre* «молчать», *studēre* «усердствовать», *stupēre* «быть пораженным», *timēre* «бояться», *vigēre* «быть бодрым», *calēre* «быть горячим», *carēre* «быть лишенным», *dolēre* «испытывать боль», *iacēre* «лежать», *vidēre* «видеть», *tacēre* «молчать», *manēre* «оставаться», *habēre* «иметь», *rubēre* «быть красным» и т. д.

В старославянском языке<sup>21</sup> *-ě-* (< и. е. *\*-ē-*) у многих глаголов, обозначающих состояние, выступает как примета основы прошедших времен (имперфект, аорист), причастий прошедшего времени, инфинитива и супина<sup>22</sup>: *brǫdĕti* (*brǫdĕ-ti*) «бодрствовать», *myŋĕti* «мыслить, думать», *skrbĕti* «печалиться, скорбеть», *trǫpĕti* (*trǫpĕti*) «терпеть», *vidĕti* «видеть», *žĕdĕti* «жаждать», *zrĕti* «смотреть», *mrǫzĕti* (*mrǫzĕti*) «быть отвратительным, ненавистным», *smrǫdĕti* «смердеть», *zvyŋĕti* «звенеть», *velĕti* «велеть», *sĕdĕti* «сидеть», *bolĕti* «болеть», *visĕti* «висеть», *gorĕti* «гореть» и т. д.

В литовском языке показатель *-ė-* (< и. е. *\*-ē-*) выступает в основе претерита и инфинитива ряда глаголов состояния<sup>23</sup>: *turĕti* (*turĕ-ti*) «иметь», *gulĕti* «лежать», *galĕti* «мочь», *spindĕti* «сверкать, сиять», *mylĕti* «любить», *norĕti* «желать», *liūdĕti* «печалиться», *pavydĕti* «завидовать» и т. д.

<sup>18</sup> H. Wagner, Das Verbum in den Sprachen der britischen Inseln, Tübingen, 1959, стр. 128; Э. А. Макаев, указ. соч., стр. 59 и сл.; М. М. Гухман, Глагол в германских языках, «Сравнительная грамматика германских языков», IV, М., 1966, стр. 410.

<sup>19</sup> М. М. Гухман, указ. соч., стр. 409.

<sup>20</sup> F. Sommer, Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre, 2-е и 3-е Aufl., Heidelberg, 1914, стр. 497 и сл.; F. Stolz — J. Schmalz, Lateinische Grammatik, 5. Aufl., bearb. von M. Leumann und J. Hofmann, München, 1928, стр. 318; A. Meillet — J. Vendryes, Traité de grammaire comparée des langues classiques, 2-е éd., Paris, 1948, стр. 285; R. G. Kent, The forms of Latin, Baltimore, 1946, стр. 98; И. М. Тронский, Историческая грамматика латинского языка, М., 1960, стр. 217.

<sup>21</sup> Глагольная формация на и.-е. *\*-ē-* отражена также в других славянских языках.

<sup>22</sup> Н. Ван-Вейк, История старославянского языка, М., 1957, стр. 352 и сл.; A. Vailant, Manuel du vieux slave, I, 2-е éd., Paris, 1964, стр. 261 и сл.; А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 187 и сл.; П. С. Кузнецов, Очерки по морфологии праславянского языка, М., 1961, стр. 118; A. Vailant, Grammaire comparée des langues slaves, III, Paris, 1966, стр. 377 и сл.

<sup>23</sup> E. Fraenkel, Die baltischen Sprachen, Heidelberg, 1950, стр. 84; A. Senņ, Handbuch der litauischen Sprache, Heidelberg, 1966, стр. 280 и сл.; Ch. S. Stang, Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen, Oslo — Bergen — Tromsø, 1966, стр. 386 и сл.

Во многих случаях литовские глаголы этой группы имеют точные этимологические соответствия в старославянском: литов. *minėti* «вспоминать»: ст.-слав. *mъnѣti*, литов. *smirdėti* «вонять»: ст.-слав. *smrǫdѣti*, литов. *bu-dėti* «бодрствовать»: ст.-слав. *bŭdѣti*, литов. *sėdėti* «сидеть»: ст.-слав. *sědѣti*, литов. *garėti* «испаряться»: ст.-слав. *gorѣti* и т. д.

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в этой же связи следует рассматривать германские примарные глаголы со статальным значением, относящиеся к третьему классу слабого спряжения<sup>24</sup>: др.-в.-нем. *sagēn* (*sagē-n*) «говорить», *starēn* «приспально смотреть», *luogēn* «высматривать», *harēn* «кричать», *rāmēn* «стремиться», *strēbēn* «стремиться», *fīēn* «ненавидеть», *ingrūēn* «страшиться», *rērēn* «блеять, мычать», *swīgēn* «молчать», *lohēn* «гореть, пылать», *lebēn* «жить», *dagēn* «молчать», *dolēn* «терпеть», *habēn* «иметь» и т. д. Поскольку, однако, в древних германских диалектах основообразующий суффикс этих глаголов выступает в разных вариантах, значительно различающихся между собой, установление его первоначального общегерманского облика наталкивается на серьезные трудности<sup>25</sup>.

Многие исследователи придерживаются мнения, что древнейшее состояние отражено в древневерхненемецкой парадигме спряжения глаголов данного класса (*habēm, habēs, habēt, habēmēs, habēt, habēnt*) с *-ē-*, восходящим в данном случае к общегерманскому и индоевропейскому \**-ē-*<sup>26</sup>. В последние годы новые доводы в пользу этой точки зрения привели В. М. Жирмунский и Э. Поломэ<sup>27</sup>. Имеются основания полагать, что первоначально показатель класса выступал только в формах настоящего времени, а формы претерита образовывались без него<sup>28</sup> (др.-англ. *hæfde* «имел», *lifde* «жил», *sǣzde* «сказал», др.-в.-нем. *hapta* «имел», *fārta* от *fārēn* «намереваться», *rāmta* от *rāmēn* «стремиться» и т. д.).

Предметом дискуссии явился вопрос об общности происхождения суффикса *-ē-* в указанных глагольных формациях и суффикса *-ē-* древнегреческого интранзитивного (пассивного) аориста на *-ην*. Против господствующего в науке представления о генетическом тождестве глагольного показателя *-ē-* во всех перечисленных языках выступили в 30-х годах Ф. Шпехт и Г. Фласдик<sup>29</sup>, стремившиеся доказать, что *-ē-* древнегреческого аориста имеет иное происхождение. Их позиция, однако, почти не встретила сочувствия, большинство современных исследователей придерживается по этому вопросу традиционной точки зрения<sup>30</sup>. В ее пользу

<sup>24</sup> W. Wilman n s, Deutsche Grammatik, 2-e Abteilung, 2-e Aufl., Strassburg, 1899, стр. 81 и сл.; М. М. Г у х м а н, указ. соч., стр. 385 и сл.; В. М. Ж и р м у н с к и й, История немецкого языка, М., 1965, стр. 258.

<sup>25</sup> См.: W. H. V e n n e t t, The parent suffix in Germanic weak verbs of class III, «Language», 38, 2, 1962.

<sup>26</sup> W. S t r e i t b e r g, U r g e r m a n i s c h e G r a m m a t i k, Heidelberg, 1896, стр. 308; R. L o e w e, Germanische Sprachwissenschaft, Leipzig, 1911, стр. 124; Н. Н и г т, Handbuch des U r g e r m a n i s c h e n, II, Heidelberg, 1932, стр. 171; к этой же точке зрения склонялся и К. Б р у г м а н: К. В г у г м а н н, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 2-e Bearb., II, 3, Strassburg, 1913, стр. 176, 204.

<sup>27</sup> В. М. Ж и р м у н с к и й, Готские *ai, au* с точки зрения сравнительной грамматики и фонологии, ВЯ, 1959, 4; е г о ж е, История немецкого языка, стр. 258; Е. Р о л о м э, On the origin of Germanic class III of weak verbs, «Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft», 13, 1967.

<sup>28</sup> М. М. Г у х м а н, указ. соч., стр. 405; Е. Р о л о м э, указ. соч., стр. 86.

<sup>29</sup> F. S p e c h t, Zur Geschichte der Verbalklasse auf *-ē-*, KZ, 62, 1/2, 1934, стр. 58, 79. Критическое изложение точки зрения Ф. Шпехта см.: Э. А. М а к а е в, Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики, М.—Л., 1964, стр. 43. Н. В. F l a s d i c k, Untersuchungen über die germanischen schwachen Verben der III Klasse, «Anglia», 59, 1—2, 1935, стр. 168.

<sup>30</sup> См.: R. G. К е н т, указ. соч., стр. 98; Е. F r a e n k e l, ZfslPh, 22, 1, 1953, стр. 220; Н. W a g n e r, ZfslPh, 25, 3/4, 1956, стр. 167; И. М. Т р о н с к и й, Историческая грамматика латинского языка, стр. 217; C h r. S. S t a n g, указ. соч.,

несомненно свидетельствует целый ряд формальных и семантических признаков:

1. Как в латинском, германском, балтийском и славянском, так и в греческом языке формы глаголов состояния с суффиксом  $-\bar{e}$ - характеризуются, как правило, нулевой ступенью огласовки корня<sup>31</sup>.

Из наблюдений над германским, а также балтийским и славянским материалом можно вывести заключение, что у глаголов на  $-\bar{e}$ - словесное ударение падало первоначально на суффикс<sup>32</sup>. Суффиксальное ударение сохранили и именные формы аориста соответствующих греческих глаголов:  $\kappa\lambda\alpha\pi\eta\nu\alpha\iota$ ,  $\kappa\lambda\alpha\lambda\epsilon\iota\varsigma$  и т. д.<sup>33</sup>.

2. В старославянском и литовском языках, а также в древних германских диалектах у глаголов состояния наряду с формами, содержащими суффикс  $-\bar{e}$ -, представлены формы с суффиксом, заключающим в себя элемент  $i$  (здесь имеются разные варианты:  $\bar{i}$ ,  $\bar{i}$ ,  $\bar{i}e/o$ )<sup>34</sup>. Такую же картину мы наблюдаем и в древнегреческом языке: аористу на  $-\eta\nu$  во многих случаях соответствуют формы презенса с суффиксом  $\bar{i}e/o$ :  $\bar{\epsilon}\chi\acute{\alpha}\rho\eta\nu$  —  $\chi\alpha\iota\rho\omega$  <  $\langle^* \chi\alpha\rho\iota\omega$  «радоваться»,  $\bar{\epsilon}\mu\acute{\alpha}\nu\eta\nu$  —  $\mu\acute{\alpha}\nu\iota\sigma\mu\alpha\iota$  <  $\langle^* \mu\alpha\nu\iota\sigma\mu\alpha\iota$  «безумствовать» и т. д.<sup>35</sup>.

3. Не подлежит сомнению связь между глаголами состояния с суффиксом  $-\bar{e}$ - в прочих индоевропейских языках и греческим аористом на  $-\eta\nu$  в плане значения. И в греческом языке формы с суффиксом  $-\bar{e}$ - первоначально служили для обозначения состояния, специальное значение пассива аориста на  $-\eta\nu$  получает позднее: см., например,  $\bar{\epsilon}\chi\acute{\alpha}\rho\eta\eta$  «он обрадовался»,  $\bar{\epsilon}\mu\acute{\alpha}\nu\eta\eta$  «он обезумел»,  $\bar{\epsilon}\rho\acute{\rho}\acute{o}\eta\eta$  «он потек» и т. д.

4. В пользу традиционной точки зрения говорят, наконец, и прямые лексические соответствия: ст.-слав.  $m\bar{y}n\bar{e}ti$ : литов.  $mi\bar{n}\acute{e}ti$ : др.-греч.  $\mu\alpha\eta\eta\nu\alpha\iota$ .

Некоторые исследователи пытались найти отражения формации на  $-\bar{e}$ - также в тохарских и кельтских языках, но здесь мы уже явно вступаем на более зыбкую почву<sup>36</sup>.

Что же представляет собой формант  $-\bar{e}$ - по своему происхождению? Какое место занимает он среди прочих глагольных формантов? Высказывалось

стр. 383; A. V a i l l a n t, Grammaire comparée..., III, стр. 399 и т. д. В числе немногочисленных сторонников Ф. Шпехта надо назвать З. П. Степанову, см. ее статью «Ареал распространения глаголов на  $-\bar{e}$ - в индоевропейских языках», ВЯ, 1965, 4.

<sup>31</sup> И. М. Троицкий, Историческая грамматика..., стр. 217; Т. Е. Карстен, Zur Geschichte der altgermanischen  $\bar{e}$ -Verba, «Mémoires de la Société néo-philologique à Helsingfors», II, 1897, стр. 229; Ch r. S. S t a n g, Das slavische und baltische Verbum, Oslo, 1942, стр. 24, 152; A. P r é v o t, L' aoriste grec en  $-\eta\nu$ , Paris, 1935, стр. 19.

<sup>32</sup> A. M e i l l e t, De l'accentuation de certaines verbes en germanique commun, MSLP, 15, 1909, стр. 351.

<sup>33</sup> A. P r é v o t, указ. соч., стр. 19. Личные формы древнегреческого аориста на  $-\eta\nu$  не могли сохранить первоначальное ударение на суффиксе, поскольку в личных формах греческого глагола господствует правило, в соответствии с которым ударение отходит к началу слова, насколько это допускает общее ограничение места ударения» (П. Шантрэн, Историческая морфология греческого языка, М., 1953, стр. 267).

<sup>34</sup> См. об этом: A. M e i l l e t, Les dialectes indo-européens, Paris, 1950, стр. 109—113.

<sup>35</sup> Некоторые исследователи (см. например: К. В р у г м а n n, Grundriss..., 2-е Bearb., II, 3, стр. 179) пытались установить между формантом с элементом  $-\bar{i}$  ( $\bar{i}$ ,  $\bar{i}e/o$ ), с одной стороны, и формантом  $-\bar{e}$ - (возводившимся при этом обычно к дифтонгу  $\bar{e}i$ ), с другой, аблаутные соотношения. Поскольку, однако, это не удалось сделать удовлетворительным образом и, кроме того, соотносительность форм на  $-\bar{e}$ - с формами на  $-\bar{i}$ -, хотя и часто встречается, не является все же повсеместной и обязательной, большинство лингвистов склонно относиться отрицательно к предположению о наличии аблаутных соотношений между интересующими нас формантами, см.: A. M e i l l e t, MSLP, 13, стр. 372; P. C h a n t r a i n e, BSLP, 28, стр. 17; E. F r a e n k e l, ZfslPh, 22, 1, стр. 219; J. K u r y ł o w i c z, The inflectional categories of Indo-European, стр. 79.

<sup>36</sup> Н. P e d e r s e n, Tocharisch vom Gesichtspunkt der indoeuropäischen Sprachwissenschaft, København, 1941, стр. 161; J. K u r y ł o w i c z, The inflectional categories..., стр. 77.

мнение, что  $\bar{e}$ - следует рассматривать в качестве одного из индоевропейских презентных основообразующих формантов<sup>37</sup>. Однако отражение форманта  $\bar{e}$ - в засвидетельствованных индоевропейских языках резко отличается от отражений презентных формантов (различные варианты назального суффикса:  $-ne/-no-$ ,  $-nā/-nā-$ ,  $-ney/-nu-$ ; различные варианты суффикса с элементом  $-i-$ :  $-ī-$ ,  $-ī-$ ,  $-ie/o$ ; суффикс  $-ske/o$  и т. д.), которые повсюду характеризуют основу презенса и производные от нее основы. В отличие от этих суффиксов формант  $\bar{e}$ - выступает в ряде языков (балтийских, славянских, древнегреческом) т о л ь к о во внепрезентных основах.

Более обычна точка зрения, в соответствии с которой  $\bar{e}$ - по своему происхождению представляет собой аористный формант.

Эта точка зрения разделялась корифеями индоевропейского языковедения К. Бругманом и А. Мейе<sup>38</sup>. Правда, Бругман и Мейе не были вполне последовательны в этом вопросе: в специальных разделах своих комpendиумов, посвященных аористным формантам, они даже не упоминают о суффиксе  $\bar{e}$ -, отмечая в качестве единственного аористного форманта  $-s-$  ситматического аориста<sup>39</sup>.

Что же может служить основанием для вывода об аористном происхождении форманта  $\bar{e}$ -? Вполне понятно, что ни германский, ни латинский материал здесь ничего дать не может, поскольку в этих языках  $\bar{e}$ - выступает в качестве презентного форманта. В славянских и балтийских языках  $\bar{e}$ - представляет собой показатель основы прошедших времен и инфинитива большого числа глаголов. Однако вопрос о происхождении основ прошедшего времени в этих языках и о связях этих основ с индоевропейскими глагольными основами еще весьма далек от своего решения<sup>40</sup>, и наличие  $\bar{e}$ - в основах прошедшего времени не позволяет сделать вывод об аористном происхождении интересующего нас форманта.

Более того, в старославянском языке, как показала в своем исследовании В. В. Бородич<sup>41</sup>, суффикс  $\bar{e}$ - характеризует в первую очередь формы имперфекта, формы аориста<sup>42</sup> от глаголов состояния встречаются крайне редко и представляют собой, по-видимому, более поздние образования.

Факты старославянского языка свидетельствуют, следовательно, не в пользу предположения об аористном происхождении форманта  $\bar{e}$ -, а, скорее, против этого предположения. Остается, таким образом, материал лишь одного древнегреческого языка.

Однако в древнегреческом языке  $\bar{e}$ - выступает в основе глаголов состояния не только в формах аориста, но также в формах перфекта и футурума. При этом формы на  $\bar{e}$ - представлены подчас и от таких глаголов, от которых аорист на  $\eta\upsilon$  не засвидетельствован; между тем в пользу древности форм на  $\bar{e}$ - у данных глаголов говорит и значение, и наличие индоевропейских соответствий: например, перфект  $\mu\epsilon\mu\acute{\epsilon}\nu\eta\kappa\alpha$  от  $\mu\acute{\epsilon}\nu\omega$  «стоять на месте, оставаться»: лат. *manēre* «оставаться»; футурум  $\epsilon\acute{\iota}\delta\acute{\eta}\sigma\omega$  «я увижу»

<sup>37</sup> Н. Н и r t., *Indogermanische Grammatik*, IV, Heidelberg, 1928, стр. 188; е г о ж е, *Handbuch des Urgermanischen*, II, Heidelberg, 1932, стр. 172.

<sup>38</sup> К. В г u m a n n, *Grundriss...*, 2-e Bearb., II, 3, стр. 159; А. М е й е, *Общеславянский язык*, стр. 196; А. М е i l l e t — J. V e n d r y e s, указ. соч., стр. 285.

<sup>39</sup> К. В г u m a n n, указ. соч., II, 3, стр. 722; А. М е i l l e t — J. V e n d r y e s, указ. соч., стр. 176.

<sup>40</sup> П. С. К у з н е ц о в, указ. соч., стр. 108, 110.

<sup>41</sup> В. В. Б о р о д и ч. К вопросу о значении аориста и имперфекта в старославянском языке, «Славянская филология», М., 1951.

<sup>42</sup> Необходимо при этом учесть, что старославянские аорист и имперфект, как мы можем убедиться в этом из наблюдений над переводами греческих сочинений на старославянский язык, в основном соответствуют по значению одноименным греческим категориям глагола. См.: В. В. Б о р о д и ч, указ. соч., стр. 27; П. С. К у з н е ц о в, указ. соч., стр. 103.

[корень (F) (δ-): лат. *vidēre*, ст.-слав. *vidēti*; футурум  $\sigma\chi\acute{\eta}\sigma\omega$ , перфект  $\epsilon\sigma\chi\eta\kappa\alpha$ ,  $\epsilon\sigma\chi\eta\mu\alpha\iota$  от глагола  $\epsilon\chi\omega$  «иметь» (по значению сопоставимого с такими глаголами на  $\bar{e}$ -, как лат. *habēre*, др.-в.-нем. *habēn*, литов. *turėti*) и т. п.

В своем исследовании о роли форманта  $\bar{e}$ - в спряжении древнегреческого глагола П. Шантрен приходит к следующему выводу: «Мы видим, что в древнегреческом языке этот формант использовался во всех основах, кроме презентной, но невозможно определить, в какой основе он наличествовал первоначально»<sup>43</sup>.

Многие исследователи указывали на отсутствие соответствия между глагольной формацией на  $\bar{e}$ - и индоевропейским аористом в плане значения. А. Мейе, вступая в противоречие со своими же высказываниями об аористном происхождении форманта  $\bar{e}$ -, в одной из своих работ пишет о том, что основы на  $\bar{e}$  - благодаря своему значению должны были служить в индоевропейских языках в качестве основ имперфекта<sup>44</sup>. В работах, вышедших в свет в последние годы, отмечается явное несоответствие между семантикой глаголов состояния на  $\bar{e}$ - с характерной для них стательностью и дуративностью и семантикой индоевропейского аориста, обозначающего действие в отвлечении от его длительности<sup>45</sup>.

Приведенные данные свидетельствуют против предположения об аористном происхождении форманта  $\bar{e}$ -. У нас есть, таким образом, основания полагать, что суффикс  $\bar{e}$ - не был ни презентным, ни аористным формантом. Создается впечатление, что глагольная формация на  $\bar{e}$ - находилась первоначально в стороне от оппозиции презенса-аориста и противостояла презентно-аористной системе в целом. В таком случае формация на  $\bar{e}$ - в своем обособленном положении по отношению к аористо-презенсу оказывается сопоставимой с индоевропейским перфектом не только в плане семантическом (обозначение состояния), как это отмечается многими исследователями<sup>46</sup>, но также в плане собственно грамматическом, в функциональном плане.

Объяснение этому обособленному положению формации на  $\bar{e}$ - следует, быть может, искать в том, что суффикс  $\bar{e}$ -, будучи именным по своему происхождению<sup>47</sup>, давал первоначально глагольно-именные формы<sup>48</sup>, лишь в ходе позднейшего развития вовлеченные в систему финитного спряжения.

Для нас наибольший интерес представляет то сходство между индоевропейским перфектом и глагольной формацией на  $\bar{e}$ -, которое характерно для их отношения к категории времени. Подобно индоевропейскому перфекту, давшему начало в одних случаях формам настоящего времени, в других — формам прошедшего, глагольная формация на  $\bar{e}$ - отражена в

<sup>43</sup> P. Chantraine, Le rôle de l'élargissement  $\bar{e}/\bar{o}$  dans la conjugaison grecque, BSLP, 28, 2, 1928, стр. 39.

<sup>44</sup> A. Meillet, Observation sur le verbe latin, MSLP, 13, 1905, стр. 370.

<sup>45</sup> R. Aitzetmüller, Aksl. *vedě* und die slavischen Zustandsverba, «Opera slavica», IV, Göttingen, 1963, стр. 242; Э. П. Степанова, указ. соч., стр. 116.

<sup>46</sup> F. Sprock, указ. соч., стр. 34; R. Aitzetmüller, «Die Sprache», VIII, 2, стр. 254; J. Kurylowicz, указ. соч., стр. 80; Э. А. Макаев, Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики, стр. 43; М. М. Гухман, указ. соч., стр. 185; E. Pótomé, указ. соч., стр. 92, и т. д.

<sup>47</sup> K. Brugmann, Grundriss..., 2-е Bearb., II, 3, стр. 147; Н. Нит, Handbuch des Urgermanischen, II, стр. 172.

<sup>48</sup> Возможно, что эти глагольно-именные формы (своего рода инфинитивы) сохранились в латинском языке как «первые члены сложения составных глагольных форм типа *candē-facio* „делать белым“, *servē-facio* „нагревать, кипятить“, которые иногда отделяются от глагола: *servē bene facito* (Катон), *exandē me fecerunt* (Варрон)» (И. М. Троицкий, Историческая грамматика..., стр. 242).

одних индоевропейских языках только в основах презенса и производных от него основах (древние германские диалекты, латинский язык<sup>49</sup>), тогда как в других индоевропейских языках она не оставила следов в системе презенса и отражена по преимуществу в основах прошедших времен (славянские, балтийские языки, а также древнегреческий). Все это свидетельствует, по-видимому, об особом отношении интересующей нас формации к категории времени, о ее первоначальной атемпоральности.

Здесь можно было бы, правда, возразить, что основы с суффиксом *-ē-* сами по себе могли быть атемпоральными, но подобно другим суффиксальным основам в соединении с первичными окончаниями служили в качестве форм прошедшего времени, а в соединении со вторичными — в качестве форм прошедшего времени, что вполне в порядке вещей и не представляет собой ничего необычного. Но в этом случае суффикс *-ē-* соответствовал бы функционально презентным основообразующим формантам и должен был бы иметь одинаковые с ними отражения, чего мы в действительности, как выше уже указывалось, не наблюдаем.

Помимо столь своеобразного отражения формации на *-ē-* в индоевропейских языках в пользу предположения о ее особом отношении к категории времени, о ее первоначальной атемпоральности, свидетельствуют также некоторые иные факты.

Глагольные формы, образованные от того же корня, что и формы с суффиксом *-ē-*, и противостоящие формам на *-ē-* в плане времени (т. е. формы презенса соответствующих глаголов в тех языках, в которых суффикс *-ē-* характеризует основы прошедшего времени, формы претерита в тех языках, где *-ē-* выступает в презентной основе) обнаруживают в некоторых языках те или иные черты своего более позднего происхождения по сравнению с формами на *-ē-*. На славянском материале это пытался показать Айтцетмюллер<sup>50</sup>. Пожалуй, еще более показателен в этом отношении германский материал. Примарные глаголы состояния с суффиксом др.-в.-нем. *-ē-* спрягаются в германских диалектах по слабому спряжению. Основная масса глаголов слабого спряжения — это глаголы производные, возникшие по преимуществу уже на германской почве. Вполне естественно, что эти глаголы спрягаются по относительно позднему, специфически германскому слабому типу спряжения. Другое дело — интересующие нас глаголы с суффиксом др.-в.-нем. *-ē-*. В значительной своей части это, безусловно, очень древние глаголы, в ряде случаев имеющие точные этимологические соответствия за пределами германской группы языков: гот. *bahan* др.-в.-нем. *dagên*: лат. *tacere* «молчать»; гот. *witan* «наблюдать; беречь»; др.-в.-нем. *gi-wizzên* «обращать внимание»: лат. *videre*: ст.-слав. *viděti*; гот. *ana-silan* «умолкнуть»: лат. *silere* «молчать» и т. д. Многие из глаголов на *-ē-* должны были существовать в языке еще до формирования дентального претерита, в то же время они не обнаруживают никаких признаков того, что первоначально они образовывали формы прошедшего времени как-либо иначе. Вполне вероятным поэтому представляется предположение, что в отдаленном прошлом эти глаголы не имели специальных форм прошедшего времени, что одни и те же формы от этих глаголов употреблялись нейтрально по отношению ко времени как в презентном, так и в претеритальном значении.

<sup>49</sup> «Лат. *-ē-*, восходящее к и.-е. суффиксу \**-ē-*, характеризует только основу инфлекта и в других основах не появляется» (И. М. Т р о н с к и й, Историческая грамматика..., стр. 218).

<sup>50</sup> R. A i t z e t m ü l l e r, Slav. *imēti* und das idg. Perfekt, «Die Sprache», VIII, 2, 1962, стр. 261; е г о же, Aksl. *vědě* und die slavischen Zustandsverba, стр. 210 и сл.

Заслуживает внимания также и тот факт, что большинство латинских глаголов состояния с суффиксом *-ē-* образует форму перфекта по наиболее позднему, специфически латинскому типу на *-ui-*<sup>51</sup>.

Итак, мы попытались отыскать следы нейтрального по отношению ко времени употребления глаголов, служащих для выражения состояния, но из наших наблюдений еще не следует непосредственно, что глаголы состояния стали различать настоящее и прошедшее время позднее, чем глаголы действия, ведь сводимость «первичных» окончаний к окончаниям «вторичным» свидетельствует о том, что в какой-то период языкового развития в глаголе вообще не проводилось разграничение между настоящим и прошедшим временем. Однако здесь мы сталкиваемся, по-видимому, с явлениями, относящимися к двум разным хронологическим слоям. Различие между «первичными» и «вторичными» окончаниями отражено в большинстве индоевропейских языков, хотя в некоторых из них оно в той или иной мере затемнено позднейшими фонетическими и морфологическими процессами. При этом и в древнеиндийском языке, и в древнегреческом, и в хеттском языке, глагольная система которого отличается большим своеобразием, «первичные» окончания служат для выражения настоящего времени, а «вторичные» — для выражения прошедшего. Сходную картину мы наблюдаем и в других индоевропейских языках. Надо полагать, что само по себе различие в системе глагола настоящего и прошедшего времени относится к достаточно отдаленному индоевропейскому прошлому. Между тем специфика отражений индоевропейского перфекта и глагольной формации на *-ē-* в засвидетельствованных индоевропейских языках, а также наличие генетических связей между индоевропейским перфектом и глагольной формацией на *-ē-*, с одной стороны, и хеттским спряжением на *hi*<sup>52</sup>, с другой, побуждает нас полагать, что предикативные слова со значением состояния не различали настоящего и прошедшего времени еще в ту пору, когда глаголы действия это различие уже проводили<sup>53</sup>.

<sup>51</sup> И. М. Тронский, Историческая грамматика..., стр. 262; E. P o l o ш ё, указ. соч., стр. 92.

<sup>52</sup> Как выше уже указывалось, разграничение форм настоящего и прошедшего в хеттском спряжении на *-hi* является новообразованием, возникшим под влиянием спряжения на *-mi*. Вопросу о взаимоотношении индоевропейского перфекта и хеттского спряжения на *-hi* посвящена обширная литература. См., в частности: J. K i г u l o w i c z, указ. соч., стр. 67 и сл. Относительно генетических связей формации на *-ē-* с хеттским спряжением на *-hi* см.: В я ч. В с. И в а н о в, Отражение двух серий индоевропейских глагольных форм в праславянском, «Славянское языкознание (VI Международной съезд славистов)», М., 1968, стр. 265 и сл.

<sup>53</sup> Как я пытался показать в другой своей работе (см. ВЯ, 1967, 1), древнейший слой перфектов образуют слова, означающие чувственные восприятия, психические состояния, акты говорения, звукопроизводства, слова с пассивным значением. По мнению Г. Вагнера (H. W a g n e r, Zu den indogermanischen *ē*-Verben, ZfceltPh, 25, 3/4, 1956, стр. 161 и сл.), аналогичный круг значений характерен для глаголов, составляющих древнейшее ядро формации с суффиксом *-ē-*. Отстаиваемая в настоящей работе точка зрения, в соответствии с которой эти глаголы первоначально не знали временной дифференциации, не различали настоящего и прошедшего времени, находит дополнительное подтверждение в том факте, что сходные явления наблюдаются в некоторых неиндоевропейских языках. Так, например, в китайском языке глаголы делятся на две группы: глаголы действия и глаголы, не обозначающие действия; к последним относятся, по терминологии С. Е. Яхонтова, глаголы мысли, чувства, речи, модальные глаголы, глаголы с пассивным значением. Глаголам действия свойственна категория времени. «Глаголы „не-действия“... никогда или почти никогда не сочетаются с аффиксами, имеющими отношение к выражению времени, и другими видо-временными показателями» (С. Е. Я х о н т о в, Категория глагола в китайском языке, Л., 1957, стр. 78).

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Дж. КЛОУСОН

## ЛЕКСИКОСТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АЛТАЙСКОЙ ТЕОРИИ

I. В статье «Родство, заимствование, случайность» проф. П. Аальто дал краткий обзор происхождения и развития алтайской теории<sup>1</sup>, т. е. теории, согласно которой тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки произошли от общего предка — протоалтайского; в том же обзоре приводились и недавние возражения против этой теории проф. Г. Дёрфера (Гёттинген) и мое. П. Аальто настаивал на том, чтобы беспристрастный специалист в области сравнительного языкознания рассмотрел аргументы, выдвигаемые с обеих сторон, и попытался определить, является ли указанная теория правомерной или нет.

II. Аальто прав в том отношении, что уже наступило время решить этот вопрос в ту или иную сторону. В настоящее время указанная проблема, как и многие иные, выливается в спор между целыми поколениями ученых, причем ни те, ни другие не в состоянии убедить друг друга. Если не считать ныне покойных ученых, то основными сторонниками рассматриваемой теории оказываются такие ученые старшего поколения, как проф. Н. Поппе (Вашингтонский университет) и проф. К. Менгес (Колумбийский университет), которые посвятили всю свою жизнь изучению этих языков; противниками указанной теории являются в основном молодые ученые, например Г. Дёрфер и А. М. Щербак (Ленинград). Так как я старше любого из этих ученых, то может показаться аномалией тот факт, что я нахожусь среди противников теории, однако для меня эта тематика является по крайней мере довольно новой: я начал заниматься этим вопросом лишь с 1953 г., поэтому я относился к нему без предубеждения, к которому могло бы повести подробное знакомство с проблемой, и исходил из общей посылки, что знаменитые сторонники этой теории вряд ли могли ошибаться.

Итак, я не могу себя считать беспристрастным специалистом, но мне хотелось бы указать на то, что степень обоснованности данной теории может быть проверена на основе недавно разработанной методики, которая по своей природе является беспристрастной и достигает результатов чисто математическими средствами при очень небольшом вмешательстве оперирующего ею исследователя.

Хотя фонетические и грамматические сходства считаются иногда доказательством того, что два или более языка происходят от общего предка, все же окончательное доказательство генетического родства должно покоиться главным образом на том факте, что эти языки имеют по крайней мере достаточное количество общих для них основных слов (basic

<sup>1</sup> P. A a l t o, Verwandtschaft, Entlehnung, Zufall, «Kratylos», X, 2, 1965.

words); потому что, как показывает опыт, такие слова обычно не замещаются одним языком из другого, а передаются от поколения к поколению.

II. Величайшим событием в археологии нашего века было открытие способа радиоуглеродной датировки. Это произошло после того, как было установлено, что процесс распада радиоактивного изотопа углерода  $C_{14}$ , который содержится во всяком животном и растительном организме, после смерти последнего (т. е. в костях, дереве, угле и т. п.) происходит с постоянной скоростью. Сроки, в которые этот нестойкий изотоп в результате радиоактивного распада превращается в азот, были определены, после чего была составлена временная таблица, по которой можно было установить возраст любого участка археологических раскопок, содержащего остатки того или иного органического вещества. Полученные сейчас данные свидетельствуют о том, что первоначальная пропорция  $C_{14}$  в исследуемой смеси время от времени менялась по естественным причинам, которые в настоящее время еще не совсем понятны, так что, по крайней мере для некоторых периодов, при датировке археологических находок приходится пользоваться исправленной таблицей. Известен определенный предел ошибки при каждом отдельном анализе. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать следующее: если удается показать, что остатки органического вещества по соответствующей временной таблице имеют возраст, скажем, 2000 или 3000 лет, то такая датировка является приблизительно правильной при допущении известного предела ошибки. Если же разные остатки органического вещества, извлеченные из одного и того же объекта археологических раскопок, обнаруживают несколько различную датировку, то предел ошибки можно соответственно сократить.

Антропологи давно стремились выяснить предысторию различных групп народностей, не имеющих письменных свидетельств своего происхождения, прежде всего — народностей американского континента, а также материковой части и прилегающих островов Юго-Восточной Азии, пытаясь установить генетические связи между ними. Имеется достаточно археологических данных, чтобы утверждать, что некоторые из этих групп произошли от общей народности-предка, которая в свое время раскололась на более мелкие группы, причем часть из них рассеялась в различных направлениях. Подобный вывод подтверждается тем фактом, что народы, входящие в некоторые из этих групп, используют одни и те же или близкие по корню слова для обозначения определенных основных понятий и что в пределах этих групп одни народности имеют больше общих слов, чем другие. Археологические данные даже в том случае, когда они уточняются датировкой с помощью  $C_{14}$ , сами по себе не являются достаточными для установления даже приблизительного времени распада первоначальных, «ядерных» групп на более мелкие группы, а этих последних на еще более мелкие группы, и вот примерно в 1950 г. была высказана мысль (автором ее является проф. Свадеш) о том, что методика, сходная со способом радиоуглеродной датировки, может быть использована и при лингвистическом анализе.

Были придуманы два новых слова для описания такой методики — «глотнохронология» и «лексикостатистика». Глотнохронология определялась как «изучение скорости изменений в языке и использование этих данных для исторических выводов, особенно для определения временной глубины, использование данных о временных глубинах для выяснения модели внутренних связей в пределах языковой семьи». Лексикостатистика определялась как «статистическое изучение словаря для исторических выводов». При нижеследующем изложении этой методики был использован целый ряд статей, опубликованных (с соответствующими комментариями, принад-

лежащими другим ученым) в журнале «Current anthropology», издающемся в Чикагском университете <sup>2</sup>.

Отправной точкой исследований явился тот известный факт, что языки изменяются во времени: в современном языке мы используем не все те слова (или слова, близкие к ним по корню) для всех основных понятий, которые наши предки употребляли для них 500 или 1000 лет тому назад. На это указывалось в 1915 г. Сениром, утверждавшим, что «чем больше степень языковой дифференциации в пределах определенного запаса [слов], тем больше период времени, который следует допустить для развития подобной дифференциации».

Конечно, имеется принципиальное различие между языком и органическим веществом. Это различие должно было заставить создателя глоттохронологии задуматься над возможностью применения принципов радиоуглеродной датировки к лингвистическому анализу. В остатке органического вещества процент содержания  $C_{14}$  уменьшается через определенные сроки и, наконец, полностью исчезает по истечении 11 000—12 000 лет. Число основных понятий, для которых в каждом языке должны существовать слова, — постоянно; слова, используемые для некоторых из них, изменяются время от времени, а так как каждое слово становится устаревшим и заменяется другим, то процесс начинается опять сначала. Более того, вряд ли существует полная вероятность, что слова, используемые для этих основных понятий, устаревают точно с одинаковой скоростью. Во всяком случае, если слово, используемое для одного основного понятия, устарело и было заменено другим, то более чем вероятно, что это слово опять устаревает до того времени, когда слова для других основных понятий станут устаревшими хотя бы один раз. Опыт показывает, что именно так и бывает в действительности.

Идеи глоттохронологии разрабатывались постепенно. Первым и наиболее важным шагом было составление списка основных понятий, для которых в любом языке должны существовать слова. Такие слова определялись как «повседневный словарь любого языка» или как «язык повседневной жизни — ядро словаря, который первоначально усваивает ребенок и повседневно использует любой носитель (английского) языка». Конечно, для сравнительного языкознания нет ничего нового в составлении списков основных слов: один из таких списков был опубликован более 100 лет тому назад. Новым в данном случае было особое внимание к научному выбору понятий, которые следует использовать в качестве основы сравнения. Были составлены три списка, один за другим. Первый список содержал 215 единиц <sup>3</sup>, второй список — 200 единиц <sup>4</sup>, а третий, окончательный, — 100 «диагностических единиц» и 100 «дополнительных единиц» <sup>5</sup>. Различие между этими двумя видами единиц связано с учетом того факта, что слова для некоторых основных понятий более устойчивы к изменениям, чем слова для других понятий. Списки были составлены в первую очередь для анализа языков американских индейцев, но с самого начала использовались и для анализа других языков. Все списки в деталях отличались

<sup>2</sup> См.: D. H. N y m e s, Lexicostatistics so far «Current anthropology», January, 1960; K. B e r g s l a n d, H. V o g t, On the validity of glottochronology, там же, april, 1962; D. H. N y m e s, Comment on: K. Bergsland, H. Vogt, указ. соч., там же, october, 1964; N. J. v a n d e r M e r w e, New mathematics for glottochronology, там же, october, 1966. Я многим обязан указанным ученым. Без их ясных объяснений было бы невозможно написать эту статью.

<sup>3</sup> K. B e r g s l a n d, H. V o g t, указ. соч., стр. 117—119.

<sup>4</sup> D. H. N y m e s, Lexicostatistics so far, стр. 6.

<sup>5</sup> Там же.

друг от друга; общее количество слов, включенных в один или большее число списков, равнялось 230—240. С самого начала ясно представлялось, что ни один из списков не является в равной мере пригодным для изучения любого языка; например, если список был бы составлен в первую очередь для анализа «алтайских» языков, он включал бы в себя одну или две единицы, которые отсутствуют в любом другом списке, или одна или две единицы опускались бы как менее характерные для данной территории. Однако нельзя отрицать, что такие различия весьма незначительны, и почти весь список составлен из понятий, для которых в любом языке по необходимости должны существовать слова.

Следующим этапом в развитии глоттохронологии было использование списка, который в то время обычно применялся в так называемых «контрольных случаях», т. е. при сравнении основного словаря на различных этапах развития отдельных языков, для которых имелись письменные тексты, охватывающие относительно большой период времени. В результате анализа ряда «контрольных случаев» М. Свадеш объявил в 1952 г., что он установил следующее: «основной словарь» изменяется с постоянной скоростью (подобно тому, — хотя М. Свадеш об этом специально не говорил, — как изменяется содержание  $C_{14}$  в органическом веществе), причем эта скорость определяется по формуле, согласно которой «в любом основном словаре около 81% слов остается в употреблении к исходу 1000 лет».

Если подставить цифру 80% вместо 81% для облегчения вычислений (это не повлияет существенно на конечный результат), получится, что из основного словаря в 200 слов в 1000 году будет еще употребляться 160 слов, в 2000 году — 128 слов, в 3000 году — 102, в 4000 году — 82, в 5000 году — 66 слов и т. д., тогда как число слов основного словаря, оставшихся к 12 000 году, будет равно 14.

Дальнейшим этапом развития глоттохронологии было: а) сравнение основных словарей двух или более языков, которые считались генетически родственными, и б) путем выявления того, сколько основных слов являются общими для двух или более из этих языков, установление даты, когда они разъединились и стали различными языками. Не было, однако, обращено внимания на то обстоятельство, что если неизвестен весь основной словарь языка-основы и любой из анализируемых языков может рассматриваться «как контрольный случай» невозможно определить, сколько основных слов (basic words) сохранилось в каждом языке. В действительности не бывает так, чтобы в какой-то данный отрезок времени язык-основа перестал существовать и два или большее количество различных языков внезапно возникли из него. На самом деле группа людей, говорящих на языке-основе, делится на более мелкие группы, которые разъединяются территориально. Представители этих новых групп все еще продолжают говорить на языке-основе, но вследствие различий в их новом физическом окружении, а также вследствие контактов с народами, говорящими на других языках, язык-основа постепенно преобразуется по-разному в каждом отдельном случае. Наиболее простым случаем является следующий: группа распадается на две более мелкие подгруппы, одна из них остается на территории своих предков, вторая перемещается в другой ареал. Вполне вероятно, что язык первой подгруппы будет изменяться медленнее, чем язык второй, и, конечно, языки обеих подгрупп будут изменяться различными путями. Если при сравнении двух языков обнаружится, что они имеют 66 общих основных слов, то в случае, если язык-основа не известен, а формула, указанная выше, — верна, несомненно, что эти языки выделились не ранее 5000 лет тому назад; если же каждый из рассматриваемых языков сохранил еще 16 других первоначальных основных слов, вычленение ука-

занных языков не могло произойти ранее 4000 лет тому назад. Однако невозможно выявить, имеются или нет еще и другие слова, помимо 66 общих слов, которые действительно восходят к первоначальному языку-основе, если этот язык-основа неизвестен, а если он известен, то имеются, конечно, более простые, чем глоттохронология, методы разработки истории родственных языков.

Когда другие ученые стали применять метод глоттохронологии, возникли иные трудности, которые поставили самую правомерность формулы под сомнение.

Прежде всего все основные понятия в английском языке выражаются отдельными словами, а некоторые отдельные слова в английском, как и в любом другом языке, многозначны. Например, *stand* может обозначать «держаться», «останавливаться» или «стоять», причем в различных языках могут использоваться неодинаковые слова для выражения всех трех или любых двух из этих понятий. Большие трудности возникали при определении понятий, выражаемых словами, которые были в употреблении 1000 лет тому назад, или даже позднее в том случае, если они в настоящее время являются устаревшими. К тому же всякие суждения о том, являются родственными или нет два слова, имеющие некоторые сходные черты, носят субъективный характер, особенно, если один или оба из рассматриваемых языков претерпели глубокие фонетические изменения.

Выше было указано на априорную вероятность того, что некоторые языки более консервативны, чем другие. Исследование списка, содержащего 100 + 100 слов, показало, что этот консерватизм имеет тенденцию быть неодинаковым в том смысле, что слова в списке «диагностических единиц» оказались более стойкими к изменениям, чем слова в списке «дополнительных единиц». Это статистически важно, ибо в конечном итоге при комбинации величин процента сохраняемости — 90% для 100 слов и 70% для других 100 слов — получается результат, отличный от величины 80% для 200 слов.

Хуже всего то, что, как было обнаружено, основной словарь некоторых языков не обладает свойством обязательно сохраняться в предсказуемой пропорции 81% за 1000 лет; некоторые языки были более стойки к изменениям (к ним этот процент сохраняемости не применим), а некоторые — менее стойки. Были сделаны попытки усовершенствовать указанную формулу с тем, чтобы учесть особые факторы, которые, как думали, обуславливают эти расхождения — в результате получилось нагромождение сложных математических формул, которые могут понять лишь высококвалифицированные математики<sup>6</sup>.

Сама идея глоттохронологии всегда находила отклик лишь у меньшинства антропологов, и критики вскоре начали общее наступление на эту теорию. Они указали на все перечисленные выше трудности ее применения, а также на другие трудности. Однако основное возражение было принципиальным. Указывалось, что язык — это не конкретный предмет, неживой, как органическое вещество, либо живой, как человек или животное. Это абстрактный объект, созданный человеческим мышлением, и как таковой должен вести себя скорее подобно живому организму, чем неживому веществу. В самом деле, справедливость этого подтверждается уже тем обстоятельством, что оказалось невозможным вывести формулу процента сохраняемости, одинаково применимую ко всем языкам. Если ряду живых организмов дается определенное задание, они не все выполняют его с точ-

<sup>6</sup> См.: N. J. van der Merwe, указ. соч.

но одинаковой скоростью<sup>7</sup>. Более того, судя по аналогии с живыми организмами, маловероятно, что основной словарь языка будет изменяться с точно одинаковой скоростью в течение длительного периода времени (лошадь, бегущая на расстоянии в две мили, не сохраняет точно одинаковую скорость на всем пути — она бежит медленнее в один отрезок времени и быстрее — в другой). Скорость, с которой меняется словарный состав языка, варьируется время от времени, в зависимости от многих причин, наиболее важной из которых является то обстоятельство, в какой мере носители данного словаря находятся в контакте с носителями других языков. Это относится не только к основному словарному составу, но также (и даже более) к «периферийной» части словаря.

Суммируя сказанное, можно заключить, что глоттохронология не утвердила и никогда не утвердит себя в качестве точной науки, способной определить точно время, когда современные генетически связанные языки отделились друг от друга и стали отдельными языками. Это обусловлено по крайней мере четырьмя причинами: 1) если не известен весь основной словарь языка-основы, то невозможно определить, какая часть этого основного словаря сохраняется в любом данном современном языке; 2) не все языки изменяются с точно одинаковой скоростью; 3) ни один язык не изменяется с точно одинаковой скоростью в течение всего периода своего существования; 4) если даже определенный язык зафиксирован в письменных документах в течение достаточно продолжительного времени и может, таким образом, использоваться в качестве «контрольного случая» (т. е. можно вычислить процент сохраняемости его словаря в течение довольно длительного периода времени), то этот процент сохраняемости не может быть надежно спроектирован дальше в глубь истории и использован в качестве основы для вычисления времени, когда изучаемый язык отделился от какого-либо другого языка и стал самостоятельным языком в более отдаленном прошлом.

Тем не менее, исследования по истории отдельных языков и групп языков, проведенные в этой связи, доказали ценность лексикостатистики как методики, демонстрирующей правомерность приведенного выше афоризма Сепира. При анализе основного словаря ряда родственных языков можно показать, что те языки, у которых имеется большее количество общих слов, разошлись между собой позднее, чем те, которые имеют меньшее количество таких слов. Если же обнаружено, что некоторые языки имеют одно общее слово для одного и того же понятия, а другие языки — другое общее слово для того же понятия, то можно показать, что эти две группы восходят к первоначальному языку-основе через посредство двух различных промежуточных языков. Весьма полезен анализ словарей отдельных языков, рассматриваемых в качестве «контрольных случаев» (когда языковые данные сохранились в течение достаточно длительного периода времени), так как такой анализ показывает, являются ли эти языки по своей природе в большей или меньшей мере стойкими к изменениям по сравнению с обычными случаями.

С другой стороны, если при анализе основного словаря двух или более языков (которые, как предполагают, генетически связаны между собой) вскрывается, что они совершенно различны или обнаруживают лишь минимум общих для них слов, то из этого можно с уверенностью заключить, что указанные языки генетически не связаны между собой, а общие для них слова являются либо заимствованиями, либо сходствами случайного порядка. Такой вывод подтверждается, если анализ «контрольных случаев»

<sup>7</sup> Например, если 12 лошадей и наездников поставлены в ряд и одновременно стартуют до пункта, находящегося на расстоянии двух миль, можно быть уверенным в том, что не все они прибдут туда в одно и то же время.

отдельных языков показывает, что эти языки были необычно стойкими к изменениям в известный период прошлого.

Пожалуй, самое ценное, что дали исследования в области глоттохронологии для сравнительного языкознания, — это составление списка основных понятий, используемого при сравнении словарей двух или более языков. Этот список выразил в точной форме мысль, которая в неопределенном виде наметилась в сравнительном языкознании уже давно. Лексикостатистика безусловно является совершенно беспристрастной процедурой исследования, методикой, которой мы не располагали прежде для проверки правомерности алтайской теории.

Помимо аргументов, которые относятся к фонетической и грамматической структуре и которые вряд ли могут быть решающими, ибо многие неродственные языки обнаруживают сходные фонетические и грамматические структуры, защитники алтайской теории всегда основывали свои доказательства на факте: тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки имеют так много общих слов, что разумно объяснить это можно, только допустив, что они унаследованы от протоалтайского состояния. Однако, кажется, никогда не уделялось серьезного внимания вопросу о том, являются ли эти общие слова частью основного словаря (в этом случае они были бы весьма показательны), или частью «периферийного» словаря (в этом случае они скорее всего являются заимствованиями). С помощью лексикостатистики мы можем подойти к проблеме с другого конца и выяснить с математической точностью, является ли пропорция общих основных слов статистически значимой или нет.

III. При использовании методики лексикостатистики применительно к тюркским, монгольским и тунгусо-маньчжурским языкам мне пришлось пройти те же этапы, которые были описаны выше. Прежде всего, понадобилось составить список двухсот основных понятий применительно к «алтайскому» окружению. Третий из составленных списков (окончательный), включающий 100 + 100 слов<sup>8</sup>, оказался удовлетворительным и подвергся лишь незначительным преобразованиям. Что касается 100 «диагностических единиц», то они не потребовали никаких изменений. Однако список «дополнительных единиц», не включал нескольких слов, которые весьма типичны для «алтайской» жизни: «лук», «стрела», «жилище» (шатер, юрта, дом и т. д.), «лошадь» и «ехать верхом»; нам показалось также весьма неудачным, что понятие «плакать», включенное в первый список из 215 понятий, было опущено в окончательном списке. Место для этих шести единиц в списке было найдено за счет изъятия из списка следующих понятий: 1) «тупой (неострый)», которое, по крайней мере в тюркских языках, выражается перифразами «непронзающий, неострый, без острия» и т. д., варьируемые от языка к языку; 2) «слюна», которое вряд ли является непременной принадлежностью повседневной разговорной речи в этом ареале; 3) «дождь», которое включено в обе части списка, очевидно, как в качестве глагола, так и в качестве существительного и может быть опущено; 4) «копье», которое является намного менее характерным оружием в этом ареале, чем лук и стрела; 5) «у» и 6) «в», которые в изучаемых языках выражаются надежными аффиксами и не являются независимыми словами. Список дополнительных единиц был соответственно изменен. В принятии нами за основу третьем, окончательном списке (100 + 100 слов) словарные единицы заносились в непонятном порядке без всякой системы; оказалось удобнее подразделить их на грамматические разряды и подать слова боль-

<sup>8</sup> См.: D. H. N y m e s, *Lexicostatistics so far*, стр. 6.

шинства разрядов в алфавитном порядке. «Диагностические единицы» нумеровались от 1 до 100, а дополнительные единицы — от D1 до D100.

Следующим этапом была подготовка списков слов, которые выражали эти понятия в наиболее ранних сохранившихся памятниках тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков. Что касается тюркских языков, то, пользуясь памятниками древнетюркской, в том числе и древнеуйгурской письменности и (для заполнения некоторых пробелов) материалами «*Diwān Lugāti't Türk*» Махмұда Кāшгарй, представилось возможным составить список основных слов в тюркских языках периода примерно 1000 лет тому назад. Что же касается монгольских языков, то аналогичный список был составлен на основе «Сокровенной истории», монгольско-китайского «*Hua-i J-Yü*» и монгольских глосс к «*Muqaddimatu'l-Adab*» Замахшари, в которых содержатся основные слова, использовавшиеся в монгольских языках около 700 лет тому назад. Д-р Ч. Боуден, лектор по монгольским языкам в Институте восточных и африканских исследований при Лондонском университете, любезно проверил для меня этот список. Особую проблему представили тунгусо-маньчжурские языки. Остатки чжурчженского языка, наиболее древнего из известных тунгусо-маньчжурских языков, слишком скудны, чтобы дать необходимый материал. Маньчжурский, единственный другой язык из этой группы, который имел письменность до XIX в., казалось, представлял очевидную альтернативу. Однако этот язык не особенно удовлетворяет нас по трем причинам: он существенно отличается от тунгусской языковой группы в целом как в области грамматического строя, так и особенно в области лексики, содержит много китайских и монгольских заимствований, часть из которых проникла даже в основной словарь и, наконец, насколько мне известно, нет никакого словаря, где был бы представлен перевод на маньчжурский с какого-либо иностранного языка. Поэтому пришлось составлять список путем сложных поисков в так называемом «*Ch'ien-lung pentaglott*», т. е. в словаре маньчжурского языка с переводами на тибетский, монгольский, древнеуйгурский и китайский<sup>9</sup>. Проф. В. Фюкс (Кёльнский университет) любезно проверил и дополнил для меня этот список.

Далее представлялось полезным выяснить, насколько были устойчивы к изменениям тюркские и монгольские языки в течение последних 1000 и 700 лет соответственно. Были составлены таблицы, показывающие эквиваленты древних тюркских слов в четырех современных тюркских языках, максимально отличающихся друг от друга, а именно в тувинском, узбекском, турецком (в том виде, в котором на нем говорили более 40 лет тому назад, до того, как начался современный период языковой реформы) и чувашском; приведены также эквиваленты древних монгольских слов в двух современных монгольских языках, словари которых имеются, — в современном монгольском, распространенном во Внутренней Монголии и использующем традиционный монгольский алфавит, и в современном монгольском, использующем кириллицу и являющемся официальным языком в Монгольской Народной Республике. Это, конечно, только два из современных языков; анализ других языков, например, калмыцкого или бурятского, мог бы дать несколько иной результат.

Нет необходимости включать в настоящую статью что-либо, кроме изложения полученных результатов. Последние содержатся в таблицах 1 и 2.

<sup>9</sup> Выполнение такой задачи было бы по практическим соображениям невозможно, если бы я не имел возможности пользоваться прекрасным указателем к этой работе, составленным проф. Дж. Крюгером (Индианский университет) (см.: J. R. K r u e g e r. Toward greater of the Ch'ien-lung pentaglott: the Mongolian index, UAJb, 35, fasc. B. 1964, стр. 231 и сл.).

При подготовке этих таблиц мне пришлось столкнуться с теми же трудностями, какие были и у других исследователей в этой области. Прежде всего, в отношении сохраняемых лексических элементов (*survivals*) дело обстоит совсем не так просто, как это кажется с первого взгляда. На самом деле имеется четыре вида таких лексических элементов, обладающих различными степенями сохраняемости: 1) старое слово с фонетическим изменением или без него (или близкое по корню слово — например, существительное или прилагательное, образованное от глагола, может сохранять первоначальное значение глагола); 2) старое слово может сохраниться, но с измененным значением (например, древнемонгольское слово, обозначающее «голову» в анатомическом смысле, в настоящее время сохранилось только в виде прилагательного во фразах типа англ. *head man*), а вместо него в первоначальном значении этого слова стало употребляться другое древнее слово, первоначально имевшее несколько иное значение; 3) старое слово может сохраниться с измененным значением, а вместо него в первоначальном значении употребляется другое слово, которое не обязательно является древним и даже может быть заимствованным; 4) старое слово может устареть и быть замененным другим старым словом, которое первоначально имело несколько иное значение.

Только в первом из этих случаев мы в полной мере имеем дело с сохраняемым лексическим элементом, хотя сохраняемый элемент в разной мере представлен и в других случаях. Эти четыре случая занесены в таблицы 1, 2 и пронумерованы (1), (2), (3) и (4) соответственно.

Имеется и еще одна сложность. Ч. Боуден обратил мое внимание на то обстоятельство, что в некоторых современных монгольских языках ряд старых слов сохранился в своем первоначальном значении, но эти слова больше не являются самыми распространенными лексемами, используемыми в этом значении. Это, однако, явление, вполне обычное для всех языков; например, в английском языке старое слово *banquet* вполне понятно, хотя и наиболее обычным словом, используемым в этом значении, является *dinner*.

В случаях, когда старое слово исчезает и не заменяется другим старым словом, оно заменяется заимствованием, а иногда словом, заимствованный характер которого трудно доказать, но которое не может быть прослежено в более ранний период. Мы считали полезным различать эти два случая в таблицах 1, 2.

При составлении таблиц нельзя было избежать некоторой субъективности суждений. Особые трудности пришлось преодолевать при интерпретации чувашского списка. В принципе этот язык произошел от языка тюркской народности, которая переместилась со своей первоначальной родины в Восточной Азии в долину Волги, возможно уже в IV или V в.; есть некоторые данные, говорящие о том, что уже в этот период чувашский язык в некоторых отношениях и особенно в области фонетики стал заметно отличаться от предка других тюркских языков. Позднее он впитал в себя ряд заимствований, особенно в периферийной части словаря — часть заимствований исходила от татар и других тюркских народностей, которые появились в этом ареале в более позднее время, а часть проникла в чувашский из языков соседних финно-угорских народностей. Чувашский язык получил письменность не ранее XIX в. Мы располагаем данными по исторической фонетике этого языка, достаточными для того, чтобы с полной уверенностью считать, например, что *vërëm* «длинный» — то же слово, что и обычное тюркское *uzi:n*, но произносимое иначе, и что *pilëk* «пять» соотносимо с обычным тюркским *bé:ş*. Тем не менее в некоторых случаях, действительно возникает сомнение в том, можно ли соотнести специфическое чувашское слово с обычным тюркским словом того же значения.

Анализ приведенных таблиц показывает:

1. Монгольские языки оказались исключительно стойкими к изменениям: лишь 1% слов, широко употреблявшихся 700 лет тому назад, в настоящее время полностью устарел; почти 95% слов все еще широко используется в своем первоначальном значении, хотя 1 или 2% из них больше не являются словами, обычно используемыми в этих значениях.

2. За исключением чувашского языка, который отделился от других тюркских языков не 1000, а по крайней мере 1500 или более лет тому назад, и в меньшей степени тувинского языка, тюркские языки оказались сверхстойкими к изменениям. Диагностические единицы были несколько более стойкими к изменениям, чем дополнительные единицы. В узбекском только 9%, а в турецком только 10% слов, использовавшихся 1000

Таблица 1

*Сопоставление основного словаря древнетюркского с основным словарем современных тюркских языков*

Диагностические единицы	Тувинский	Узбекский	Турецко-османский	Чувашский
Градации сохраняемости (1)	81	91	92	77
(2)	3	—	1	—
(3)	2	—	1	—
(4)	5	3	4	7
Заемствования	3	6	—	3
Прочие случаи	6	—	2	13
Общее число диагностических единиц	100	100	100	100
Дополнительные единицы				
Градации сохраняемости (1)	80	88	84	62
(2)	3	1	1	—
(3)	1	1	1	2
(4)	5	3	4	9
Заемствования	2	3	4	2
Прочие случаи	9	4	6	25
Общее число дополнительных единиц	100	100	100	100

лет тому назад, стали полностью устаревшими [в таблицах 1, 2 эти цифры составляют общее число «градации сохраняемости (4)» + «заемствования» + «прочие случаи»] и почти 90% слов все еще используется в своем первоначальном значении.

IV. В свете полученных данных можно начать рассмотрение списков слов, использовавшихся для выражения 200 основных понятий в тюркских языках X в., в монгольских языках XIII в. и в маньчжурском языке XVIII в. (см. табл. 3). Для облегчения сравнения общие слова или слова, общность которых возможна, в двух разных колонках даны курсивом. Единицы, специально рассмотренные в статье, снабжены звездочкой.

Необходимо сделать ряд замечаний относительно некоторых из рассматриваемых слов:

Таблица 2

Сопоставление основного словаря древнемонгольского с основным словарем современных монгольских языков

Диагностические единицы	Современный письменный монгольский	Монгольский, употребляемый в Монгольской Народной Республике
Градации сохранности (1)	94	94
(2)	—	—
(3)	5	4
(4)	—	—
Заемствования	—	—
Прочие случаи	1	2
Общее число диагностических единиц	100	100
Дополнительные единицы		
Градации сохранности (1)	95	93
(2)	2	2
(3)	2	3
(4)	1	1
Заемствования	—	—
Прочие случаи	—	1
Общее число дополнительных единиц	100	100

№ 2. Кора березы является единственной корой, которая имеет экономическое значение в «алтайском» ареале.

№ 8. Большинство языков использует одно и то же слово для обозначения (человеческого) «ногтя» и «когтя» (у животного).

№ 12. Все три группы языков различают «землю» в противоположность «небу», причем это слово используется еще и для обозначения: «страна, место» и т. п., а также «земля» в смысле «почва».

№№ 20, 22, Д1, Д20. Во всех трех группах языков имеется тенденция использовать одни и те же слова для обозначения «кисти руки» и «руки», «ноги» и «ступни» соответственно. Аналогичное явление наблюдается в русском (*рука* «кисть руки/рука в целом»; *нога* «нога в целом/ступня»); в китайском одно и то же слово используется для обозначения «кисти» и «руки» и различные слова для обозначения «ноги» и «ступни».

Как в тюркских, так и в монгольских языках имеются специальные слова для обозначения «верхней части руки» и «бедра», а эти последние иногда используются также для обозначения «руки» и «ноги».

№ 21. Тюркские языки, видимо, являются единственными, где различаются «волосы (на голове), волосы (на теле животного), волос (вообще)».

№ 30, Д17. В тюркских и монгольских языках используется одно и то же (тюркское) слово для обозначения «мужчины» (в противоположность «женщине») и «мужа», а в маньчжурском языке в этом случае употребляются разные слова. Слова, используемые для обозначения «человека» в смысле «персона» (№ 38), отличны от этих последних.

Таблица 3

Понятие	Древнетюркский	Древнемонгольский	Маньчжурский
Диагностические единицы			
Существительные			
1. Зола	kül	(h)ünesü(n)	fulenggi
2. (Березовая) кора*	to:z	uyilsun	čalfa, alan
3. Живот	karın	ke'eli	he'eli
4. Птица	kuş	šiba'un	gasha
5. Кровь	ka:n	čisun	senggi
6. Кость	süyük	yasun	giranggi
7. Грудь	tö:ş (dö:ş), kögöz	če'eji	tunggen
8. Коготь (поготь)	tırnak, tarmak	kimüsü(n)/kimül	ošoho
9. Облако	bulut	e'ülen	tugi
10. Собака	it	noçay	ındabón
11. Ухо	kul(k)ak	čikin	šan
12. Земля			
(а) вообще*	yé:r	çajar	na
(б) почва	toprak	köser, široy	boihon
13. Яйцо	yumurtğa:	ömlegen/öndegen	umhan
14. Глаз	köz (göz)	nidun	yasa
15. Жир	ya:g	e'ükün/ö'ükün	nimenggi
16. Перо	yüg	ödön	fanggaha
17. Огонь	ot(o:d)	al	tuwa
18. Рыба	balik	ji'asun	nimaha
19. Плоть (мясо)	et	miçan	yali
20. Нога*	açak	köl	bethe
21. Волос			
(а) вообще	kil	(h)üsü	funiyehe
(б) на голове	saç	»	»
(с) на теле	tü:	»	»
22. Рука*	elig	çar	gaia
23. Голова	baş	teri'un	uju
24. Сердце	yürek	jüräge/jüräge	niyaman
25. Рог	bünüz	eber	uyhe
26. Колено	ti:z (dj:z)	ebüdüg	buhı
27. Лист	yapurgak	nabčün	abdaha
28. Печень	bağır	(h)elige(n)	fahün
29. Вошь	bit	bö'esün	cihe
30. Мужчина, самец*	er, érkek	ere	haha
31. Луна	a:y	sara(n)	biya
32. Гора	ta:g (da:g)	a'ula	alin
33. Рот	ağız	ama(n)	angga
34. Имя	a:t (a:d)	nere	gebu
35. Шея	höyün	küjügün	meifen
36. Ночь	tün (dün)	süni	dobori
37. Нос	burun	qabar	oforo
38. Человек (персона)	kişi:	gü'un	niyalma
39. Дождь	yağmur	qura	aga
40. Дорога (путь)	yo:loruk	jam/mör	jugón
41. Корень	kök, yiltiz, tö:z	(h)uja'ur/uj'ur	da
42. Песок	kum, kayır	elesü(n)	yongga
43. Семя	urug	(h)üre	use
44. Кожа	teri: (deri:)	arasun	suku
45. Дым	tütün	(h)uni	šanggiyan
46. Звезда	yultuz	(h)odun	usiha
47. Камень	taş	šila'un, gürü	wehe
48. Солнце*	kün	naran	šun
49. Хвост	kudruk	se'ül	unčehen

Понятие	Древнетюркский	Древнемонгольский	Маньчжурский
50. Язык	tīl (dīl)	kelen	ilenggu
51. Зуб	tīṣ (dīṣ)	šidū(n), sūdū(n)	weihe
52. Дерево, лес	īgaç	modon	moo
53. Вода	su:v	usu(n)	muke
54. Женщина* (самка)	evçi:; ura:ğut (tiṣi:/diṣi:)	eme	hehe
Прилагательные			
55. Весь	barça:; kop, kamağ	būri, qamuγ	yooni
56. Большой	ulug, beğük	yeke	amba
57. Черный	kara:	qara	sahaliyan
58. Холодный	soğuk	köyiten	sahörün
59. Сухой	kuruğ	qokımay	olhon
60. Полный	tolu: (dolu:)	dū'üren	jalu
61. Хороший	edgü:, yaxşı:	sayın	sain
62. Зеленый	yaşıl	noγo'an	niowanggiyan
63. Горячий	isig	qala'un	halhōn
64. Длинный	uzun	urtu	golmin
65. Многочисленн.	üküş	olon	geren, labdu
66. Новый	yañi:	šine	iče
67. Красный	kizil	(h)ula'an	juigiyan
68. Круглый	teğirmi: (değermi:)	tägörigeγ, tō'erig	muheliyan
69. Маленький	küçig	üčügen	añige, osohon
70. Белый	a:k	çaγa'an	šanyan
71. Желтый	sariğ	sira (šira)	suwayan
Местоимения			
72. Я*	ben	bi (Gen. minō)	bi
73. Мы*	biz	ba (экслюз.), bida (инклюз.)	be (экслюз.) muse (инклюз.)
74. Ты	sen	ši (*ti)	si
75. Этот	bu: (?bo:)	ene (мн. ч. ede)	ere
76. Тот	ol	tere (мн. ч. tede)	tere
77. Кто?	kim	ken	we, ya
78. Что?	ne	ya'u	ay, ya
Числительные			
79. Один	bi:r	nigen	eme
80. Два	ekki	qoyar	juwe
Наречия			
81. Нет:			
а) в изоли- ров. слу- чаях:	(suffix)	ese, ülü	akâ
б) «не есть»	dağ ol, degül	—	»
с) «не су- ществует»	yok	üge'üy	»
Глаголы			
82. Кусать	İsir, tiṣla:- (dīṣla:-)	ja'u, qaja-	sai-
83. Жечь (пере- ходн.)	örte:-, küñür-, yak- kel- (gel-)	tüle- ire-	tufada-
84. Приходить	öl-	ükü-	ji-
85. Умирать	öl-	u'u-	buçe-, buda-
86. Пить	iç-	ide-	omi-, waida-
87. Есть, кушать*	yé:-	nis-	je-
88. Летать	uç-	ök-	teye-
89. Давать	bé:r-	sonos-	bu-
90. Слышать (слушать)	éşid- (tiṣla-)	sonos-	donji-

Продолжение

Понятие	Древнетюркский	Древнемонгольский	Маньчжурский
91. Убивать	ölür-	ala-	wa-
92. Знать	bil-	mede-	sa-
93. Ложиться	yat-	kehte-	dedu-
94. Говорить	té:-(dé:-), sözle:-	ke'e-, ügüle-, kelele-	se-, gisure-
95. Видеть	kör-(gör-)	üje-	tuwa-
96. Сидеть	olor-	sa'u-	te-
97. Спать	uđi:-	umta-, unta-	amga-
98. Стоять	tur- (*dur-)	baiyi-	ili-
99. Плавать	yüz-	onba-	selbi-
100. Ходить	yori:-	yabu-	yabu-
Дополнительные единицы			
Существительные			
D1 Рука*	elig, ko:l	γar	gala
D2 Стрела	ok	sumu(n)	niru
D3 Спина (анат.)	arka:	aru	fisa
D4 Лук (оружие)	ya:	numu(n)	beri
D5 Ребенок*	ké:ñç (gé:ñç)	no'un, kö'üken	ju i
D6 День*	kün	üdür	inenggi
D7 Пыль	to:z, to:ğ	to'osun	buraki
D8 Жилище	e:v	ger	boo
D9 Отец	kañ, ata:	eçi'e	ama
D10 Цветок	çeçek	çeçek	ilha
D11 Туман, мгла	tuma:n (duma:n)	budan, manan	talman
D12 Фрукт	yemiş	jimiş	tubihe
D13 мех*	kürk	nekey	furdehe
D14 Трава	ot	ebesün	orho
D15 Кишки (внутренности)	bağirsuk, içegü:	abit, gedesün	duha
D16 Лошадь	at	mori(n)	morin
D17 Муж*	er	ere	eygen
D18 Лед	bu:z	mölsün	jühe
D19 Озеро	kö:l (gö:l)	na'ur	omo
D20 Нога*	ađak, bu:t	γuya	bethe
D21 Губа	érin	(h)urul	femen
D22 Молоко*	sü:t (sü:d)	sün	huhun(женское)
			sun (животное)
D23 Мать	ö:g; ana:	eke	eme
D24 Пун	kindik	köyesün	ulenggu
D25 Веревка, бечевка	yıp	de'esün	futa
D26 Соль	tu:z	dabusun	dabsun
D27 Море	taluy, teñiz (deñiz)	dalay	mederi
D28 Небо*	teñri:, kö:k (gö:k)	teñgegi, (oqtarγoy)	abka
D29 Змея	yıla:n	mo ay	meihe
D30 Снег	ka:r	časun	nimanggi
D31 Жена	kisi:	gergey	sargan
D32 Ветер	yé:l	key	edun
D33 Крыло	kanat	ji'ür	asha
D34 Червяк	kurt	qoroday	umiya
D35 Год*	yil	(h)on, jil	aniya
Прилагательные			
D36 Живой	tirig (dirig)	amidu	ergengge
D37 Плохой	yavlak, yavug, yama:n	ma'u	ehe
D38 Правильный, правдивый	çin, kértü:	ünen	mene, yala
D39 Темный	karañgu	qaraquy	farhön
D40 Грязный	kirlig	burtaq	langse

Понятие	Древнетюркский	Древнемонгольский	Маячжурский
Д41 Далекий	uzak, ĩrak	qola	goro, aldangga
Д42 Малочис- ленный	a:z	ĵöyen	komso
Д43 Тяжелый	aġır	kündü	uĵen
Д44 Левый (не правый)	so:l	ĵe'ün	dashöwan, hasho
Д45 Узкий	ta:r (da:r)	(h)ı'ütan	isheliyen
Д46 Близкий	yaġuk, yakın	oyıra	hanĉi
Д47 Старый (а) вообще* (б) о чело- веке	eski: (avıġġa:) karı:	qa'uĉin (ebügen)	fe sagda
Д48 Другой, различный	özge:, öġi:	busu, ö'ere	enĉu
Д49 Правый (не левый)	oġ	bara'un	ĵebele, iĉi
Д50 Спелый	bıġıġ, olġun	bolhasun	ureshön
Д51 Гнилой*	irig	(iljilemel)	niyhaha
Д52 Острый	yitig	qurĉa	daĉun
Д53 Короткий	kısġa:	oqor	foholon
Д54 Гладкий, ровный	tü:z (dü:z)	qabtaġay	neĉin, halfıyan
Д55 Прямой	köni:	şidurġu	tondo
Д56 Толстый	kalın, yoġun	tuĵa'an	muwa, ĵiramin
Д57 Тонкий	yınġe	ningen, narin	narhön, nekeliyen
Д58 Мокрый	ö:l, ġig	noyitan	usihin
Д59 Широкий	ké:ġ	a'uy, örgen	leli, onĉo
Местоимения			
Д60 Вы	siz	ta	suwe
Д61 Он	ol (род. пад. anıġ)	(*ı, род. пад. inö), tere	i
Д62 Они	ola:r, anla:r	(*a, род. пад. ano), tede	ĉe
Числительные			
Д63 Три	üĉ	ġurban	ilan
Д64 Четыре	tört (dört)	dörben	duin
Д65 Пять	bé:ş	tabun	sunja
Наречия и т. п.			
Д66 Вниз	kođı:	dooro (dooġşı)	fejlle, feĵirge
Д67 Здесь	bunta:	ende	erede
Д68 Как?	neġük, kalı:, kalı:	ker	adarama
Д69 Если*	abaġ (суффикс)	kerber (суффикс)	akabade(суфф.)
Д70 Там	anta:	tende	terede, tede
Д71 Вверх	örü: (yokaru)	de'ere (de'egşı)	dergi
Д72 Когда?	qaĉan	keli, (kejiye)	atangi
Д73 Где?	kanta:, kanı:	qa'a	yade, aibide
Д74 С*	birle:	(суффикс), qamtu	sasa, emġi
Глаголы			
Д75 Дуть	ür- es-	keyis-	edu-
Д76 Плакать	ıġla:-	uiyila-	songgo-
Д77 Резать	bıĉ-, kes-	ĉabĉi-, oqtal-	giri-, fata-
Д78 Конать	kaz-	uqu-	fete-
Д79 Падать	tüş- (düş-)	una-	tuhe-
Д80 Боятся	kork-	ayu-	gele-
Д81 Течь	ak-	urus-	eye-
Д82 Замерзать (не- переходн.)	toġ- (doġ-)	köbşı-	beye-

## Продолжение

Понятие	Древнетюркский	Древнемонгольский	Маньчжурский
Д83 Ударять	ur-, çap-, sok-	aşigi-, delet-, tus-	tanta-
Д84 Держать	tut-	(h)atγu-, bari-	sefere-, jafa-
Д85 Пронзать	öt-, tel-(del-), teş-(deş-), saç-	qatγu-, ülg-	fondolo-
Д86 Тянуть	tart-	çir-, jikdū-, tata-	tata-
Д87 Толкать	it-	türe-	ana-
Д88 Садиться верхом (пере- ходн.)	bin-	uno-	yalu-
Д89 Тереть	türt-(dürt-), sürt-	arçi-	hisha-, sibiša- monji-
Д90 Шить	tik-(dik-)	oya-	ifi-, ufi-
Д91 Петь	ir a:-	da'ola-	uçule-
Д92 Раскалывать (переходн.)	yar-	qaγal-	saçi-
Д93 Сжимать	kīs-, sīk-	daru-	siri-
Д94 Сосать (а) сосать вооб- ще	sor-	şimi-(* simi-)	simi-
(б) сосать грудь	em-	kökö-	
Д95 Набухать	siş-, kabar-	şiberi-, qabud-	aibi-
Д96 Думать	sakin-	setki-	gōni-
Д97 Бросать	at-	tebçi-	faha-, waliya-
Д98 Связывать	ba:-, bağla:-	büsele-	hotho-, hōwai-
Д99 Вырывать, выбрасывать из желудка (в ре- зультате рвоты)	kus-	bō'ölje-	ta- ogşi-
Д100 Мыть (пере- ходн.)	yu:-	ukiya-	obo-

№ 40. «Дорога» в смысле пути, используемого животными или пешеходами, является более старым понятием чем «дорога» в смысле пути, используемого множеством людей или экипажами. В первом случае в тюркском используется слово *oruk*, а в монгольском *mör*. Тюркское слово, обозначающее «дорогу», *yo:l*, первоначально, вероятно, имело значение «пути», скорее в абстрактном смысле, чем в смысле «проложенной дороги». Монгольское слово, со значением «дорога» — *jam*, позднее заимствованное в тюркские в виде *yam*, очевидно, является заимствованием из китайского языка: китайск. *chan* (среднекитайское *t'am*) первоначально обозначало «остановка в пути», «почтовая станция» и только позднее стало обозначать «дорогу».

№ 54. В монгольских и в маньчжурском имеются особые слова для обозначения «женщины». В тюркских есть специальное слово, обозначающее «особь женского пола (вообще)» *tişi* (*dişi*), но в значении «женщина» в различные периоды развития языка использовались различные слова или сочетания; в наиболее ранний период обычным оборотом, использовавшимся в этом значении, был *uzu:n tonlug* «с длинной одеждой»; слово *ura:gut* засвидетельствовано только с XI до XIV в.; *evçi*, буквально «домашняя хозяйка», использовалось в этом значении с самого раннего периода и все еще сохранилось в некоторых языках; однако в большинстве современных языков используются арабские заимствования, которые имеют другие буквальные значения («*puḍenda*, слабый» и т. д.).

№ 55. Единственным словом, общим для тюркских и монгольских языков, является иранское заимствование, которое в тюркские попало в виде *kamağ* и далее испытало лабиальную аттракцию (*qamıy*).

№№ 72, 73. Известно (но до сих пор не объяснено), что имеются фонетические сходства между личными местоимениями в языках, которые совершенно не связаны друг с другом, например, между англ. *mine*, нем. *mein* и формой род. падежа (с лабиальной ассимиляцией) в тюркских *meñij* (от *ben*) и монгольских *minö* (от *bi*); между латинским *tu* «ты» и монгольским *či* (\**ti*). Фонетические сходства между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками в отношении этих двух словарных единиц нельзя, таким образом, признать показательными.

№ 73. Как в монгольских, так и в маньчжурском имеются различные слова для обозначения эксклюзивного «мы» (т. е. «мы, без вас») и инклюзивного «мы» («я, или мы, с вами»). В тюркских языках используется одно и то же слово для обоих случаев.

№ 87. Хотя теоретически возможно, что тюрк. *yé*:- ранее было представлено в виде *dé*:- и соотносилось с монгольским *ide*-, однако это очень маловероятно. Не исключено также, что маньчж. *je*- соотносимо с тюрк. *yé*:- (в некоторых диалектах *je*-) или с монг. *ide*-, но вероятность этого также весьма незначительна. Сходство указанных единиц почти наверняка является случайным.

Д6 (и Д48). В тюркских языках одно и то же слово используется для обозначения «солнца» и «дня», в монгольских же и в маньчжурском в этом случае представлены разные слова.

Д13. Трудно найти собирательные термины, обозначающие «мех» в ранний период существования тюркских и монгольских языков. Первоначально одни и те же слова использовались для обозначения отдельных пушных зверей, например, куницы или соболя и их меха; позднее слова со значением «кожа» стали связываться с этими словами. Тюрк. *kürk* как собирательный термин не засвидетельствовано до XI в., а монг. *nekey*, в настоящее время обозначающее «мех» вообще, первоначально обозначало только «овчину».

Д22. Только в маньчжурском различаются «молоко» человека и животного.

Д27. Тюрк. *taluy* безусловно является китайским заимствованием. Было высказано правильное предположение, что это слово состоит из *ta* «большой» и *luy* (средневековое название реки Санганьхэ в пров. Цзянси, по которой тюрки совершили набег в конце VII в. и впервые увидели море). Монг. *dalay*, по-видимому, является тем же самым словом, однако остается невыясненным вопрос о том, было ли это слово заимствовано из тюркских языков или непосредственно из китайского.

Д28. *Tegri* было унаследовано тюрками из языка Hsiung-nu, который, возможно, был (а возможно и не был) предком тюркских языков. Это слово обозначало собственно «небо» в мистическом, религиозном значении и использовалось в физическом смысле только в таких сочетаниях как «небо и земля». Оно, безусловно, было заимствованием в монгольских языках, где использовалось в том же значении. Современное монгольское слово для обозначения «неба» *ogtarγoy* /*ogtorguy* не отмечено в ранний период, хотя, возможно, и является старым словом.

Д35. Монг. *jil* используется только в ограниченном смысле «год двенадцатилетнего животного цикла» и, безусловно, является заимствованием, вошедшим в язык в то время, в какое вошел и сам цикл. Из словаря Махмуда Кашгаря (I.31 в переводе Аталая) известно, что звуковой переход *y > c* (*i*) был характерен для некоторых огузских диалектов. К XI в. большинство огузов переместилось далеко на Запад, но в VIII в. они оби-

тали главным образом в северо-восточной окраине степей, в районе рек Селенга и Тола и находились там в течение длительного времени. Это слово было, вероятно, заимствовано у них монголами или их предками киданями вместе с двенадцатилетним животным циклом (очевидно, во второй половине первого тысячелетия).

Д47. Тюрк. *karı* обозначает «старый» (вообще) по отношению к людям, а *aviçça*: и монгольское *ebügen* использовались в более специальном значении «старик».

Д51. Очевидно, ни одно древнемонгольское слово со значением «гнилой» не сохранилось.

Д69. Во всех трех группах языков «если» представлено условным наклонением и во всех трех условное предложение может (но не обязательно) начинаться самостоятельным словом «если». Тюрк. *abaŋ* устарело еще в ранний период языкового развития.

Д74. Предлог «с» выражается в монгольских и большинстве тунгусо-маньчжурских языков комитативом (совместным падежом), который отсутствует в тюркских. В тюркских и маньчжурском языках, которые утратили комитатив, это значение выражается послелогом, а в монгольских языках послелог иногда выступает вместе с комитативом.

Сопоставление тех колонок в табл. 3, которые содержат тюркские и маньчжурские слова, показывает, что за исключением звуковых совпадений в №№ 72 и 73, и возможно, 87 (которые по указанным выше причинам нельзя считать показательными), основные слова, (basic words), общие для тюркских и маньчжурского, отсутствуют, и, следовательно, эти две языковые группы вряд ли могут быть генетически связаны.

Сравнение колонок с тюркскими и монгольскими лексемами позволяет насчитать в этих двух колонках 16 слов, которые следует признать безусловно или возможно идентичными или соотносимыми, но не больше чем 16. Двенадцать из них распадаются на четыре группы, содержащие слова с одинаковыми характеристиками.

1. Звуковые совпадения в №№ 72 и 73 нельзя считать показательными.

2. Слова, общие для двух колонок в №№ 55 («все»), Д27 («море») и Д28 («небо»), в тюркских языках являются заимствованными из других языков, а в монгольских — либо заимствованиями из тюркских, либо (что менее вероятно) из других языков, послуживших первоначальным источником.

3. В № 24 («сердце»), Д12 («фрукт») и Д35 («год») монгольское слово, начинающееся с *j*, соответствует тюркскому слову, начинающемуся с *y*. По причинам, уже изложенным выше, *jil* «год» является тюркским заимствованием; таким же заимствованием должно быть и *jimiş* «фрукт», так как *yémiş* представляет собой отглагольное образование от *yé*: «есть, кушать», причем ни суффикс *-miş*, ни сам глагол не встречаются в монгольских. Разумно поэтому предположить, что № 24 также является тюркским заимствованием, воспринятым из того же диалекта и примерно в то же время, что и два других слова. В равной мере разумно предположить, что Д10 («цветок») — слово того же типа, что и Д12 («фрукт»), и является тюркским заимствованием.

4. В трех случаях [№№ 47 («камень»), 68 («круглый») и Д7 («пыль»)] монгольские слова легко объяснить как тюркские заимствования с монгольскими суффиксами, но трудно объяснить каким-либо другим образом.

Понятие «камень», обычное тюркское *taş*, в чувашском представлено словом *çul*.

Имеются причины (их слишком сложно было бы объяснять здесь), дающие основание предполагать: 1) что название *Çuvaş* является поздней формой старого племенного названия *Tavğaç*, и 2) что чувашский язык является развитием языка исторических тавгачей (Т'о-ра в китайских

списках), которые основали династию Вей, или Т'о-ра, в северном Китае в IV в. и были в течение ряда лет в тесном контакте с кидаями. *Cila'un*, *cil(taš)* с монгольским суффиксом *-(a)'un*, вероятно, вошли в киданьский язык в этот период.

Соответствие в № 68 — неполное. *Tegirmi*: является отглагольным прилагательным, образованным от глагола \**tegir* «окружать, вращаться» и т. п., который не сохранился в основной форме и является основой таких тюркских слов, как *tegre*-, *tegi*rt-, *tegi*rmeк и *tegi*rmen. Другое возможное производное слово \**tegi*rig не засвидетельствовано, но к нему, видимо, восходит монг. *tö'erig*, а *tö'erige*y получилось в результате наращения к нему монгольского суффикса *-ge*y. Нет ни одного известного монгольского глагола, от которого могли быть произведены эти слова.

*To'osun* «пыль» вполне очевидно является тюркским словом *to:ğ*, к которому присоединен монгольский суффикс *-(o)sun*.

Таким образом, остаются только № 30 (и Д17) *er* — *ere* «мужчина, муж», № 57 *kara*: — *qara* «черный», Д39 *karayū* — *qarayū* «темный» и, возможно, № 71 *sariğ* — *šira(sira)* «желтый», которые отвечают всем условиям лексикостатистики и могут образовать основу теории о генетической связи двух групп языков — тюркских и монгольских. Совершенно ясно, что их недостаточно для этой цели.

Сопоставление колонок с монгольскими и маньчжурскими словами затрудняется тем фактом, что в «периферийном», а отчасти даже в основном слове маньчжурского языка известно большое количество китайских и монгольских заимствований. В приводимом списке, по крайней мере, два слова — № 52 «дерево, лес» *mo* и Д40 «грязный» *langse* безусловно являются китайскими заимствованиями; поэтому неудивительно обнаружить здесь также и некоторые монгольские заимствования. Сравнение двух списков показывает, что в этих двух колонках имеется не менее 15 слов, которые безусловно или возможно идентичны либо соотносимы, но не более 15. Важно, что ни одно из этих слов не совпадает с теми, в которых обнаруживаются соответствия между колонками с тюркскими и монгольскими словами, за исключением №№ 72 и 73. По уже указанным причинам эти звуковые сходства не могут считаться показательными. Остальные 13 единиц (две из них — сомнительны) включают четыре термина для обозначения таких животных и хозяйственных продуктов, которые жители лесов с большой вероятностью могли заимствовать от своих более культурных соседей — № 13 «яйцо» (сомнительно); Д16 «лошадь» (в культурном отношении, возможно, наиболее важное слово в списке); Д22 «(животное) молоко» и Д26 «соль». Из двух местоимений Д61 *i* в тунгусо-маньчжурской языковой группе присуще маньчжурскому и, если не является случайным совпадением, вероятно, заимствовано из монгольского, а *tere* «тот» является монголизированной формой общетунгусского местоимения *tara*, разлагаемого на *ta* и суффикс *-ra*. После этого остаются одно существительное — № 3 «живот», три прилагательных — №№ 64 «хороший», 63 «горячий» и 67 «красный» (сомнительно), а также три глагола — № 100 «ходить», Д86 «тянуть» и Д94 «сосать». Эта последняя группа представляет не более 3,5% от всего списка. Вполне очевидно, что этого совершенно недостаточно для обоснования теории о генетических связях двух групп языков — монгольских и тунгусо-маньчжурских.

V. Результаты применения лексико-статистических методов к оценке «алтайской» теории можно суммировать следующим образом:

1. В течение исторического периода монгольские языки оставались исключительно стойкими к изменениям, а тюркские — сверхстойкими. Вряд ли есть основание предполагать, что эта устойчивость — недавнее явление.

2. Тюркские языки и маньчжурский, по всей очевидности, не связаны генетически, так как их основной словарь (basic vocabulary) не совпадает.

3. После исключения слов, которые наверняка можно признать заимствованными, общие элементы в тюркском и монгольском основном словаре составят не более 2% от основного словаря, причем эти общие слова легче объяснить как заимствования, чем как свидетельство генетических связей, особенно, если учесть сказанное выше в пункте 1.

4. После подобных же исключений общие элементы в монгольском и маньчжурском основном словаре не превысят 3,5% от всего лексического состава, причем эти слова могут быть легче объяснены как заимствования, чем как свидетельство генетических связей, особенно, если учесть приведенный выше пункт 1 и тот известный факт, что в маньчжурском много китайских и монгольских заимствований. Даже если считать, что минимальные соответствия между основными словарями монгольских и тюркских языков и монгольских и маньчжурского языков соответственно дают определенное свидетельство *prima facie* о генетических связях, монгольские языки не могут быть генетически связаны с обоими уже потому, что тюркские языки не связаны с маньчжурским.

Следовательно, «алтайская» теория неправомерна.

Перевел с английского М. М. Маковский

А. К. МАТВЕЕВ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПЛАСТОВ  
СУБСТРАТНОЙ ТОПОНИМИИ РУССКОГО СЕВЕРА

1. При этимологизации субстратных топонимов агглютинативного строя могут возникнуть две типичные ситуации: 1) основа и формант (детерминатив или словообразовательный суффикс) принадлежат одному языку, 2) основа и формант восходят к разным языкам; при этом на одной и той же территории может встретиться массовый топонимический материал, характеризующийся как гомогенными, так и гетерогенными двусоставными конструкциями. Отсюда следует, что при стратификации субстратной топонимии необходимо идти ретроспективным путем, учитывая в конечном счете весь топонимический континуум.

Уже М. Фасмер и Я. Калима (а еще раньше — Шегрен и Кастрен) полагали, что верхний пласт субстратной топонимии русского Севера создан прибалтийскими финнами<sup>1</sup>. В наших работах был выявлен ряд новых прибалтийско-финских компонентов<sup>2</sup>. Однако предположение о прибалтийско-финском субстрате в топонимии русского Севера (далее — Севера) до сих пор недостаточно аргументировано, поскольку при анализе материала не отделяется то, что способно дифференцировать, от того, что не дифференцирует. Например, формант *-нем(а)* может дифференцировать прибалтийско-финскую топонимию от топонимии других финно-угорских языков, так как соответствующий термин известен только в прибалтийско-финских языках (фин. *niemi* «мыс»), а форманты *-ега*, *-ога*, *-уга*, *-юга* дифференцирующей способностью не обладают, поскольку соответствующие термины известны чуть ли не во всех уральских языках (фин. *joki*, саам. Н.<sup>3</sup> *jokká*, хант. *џан*, ненец. *яга* «река»). В то же время если ограничиться группой прибалтийско-финских языков, то формант *-нем(а)* уже не будет дифференцировать, так как известен во всех языках этой группы.

Ретроспективный анализ естественно начинать с выделения дифференцирующих формантов, последовательно переходя к изучению основ и их сопоставлению со всеми формантами. Сложность отделения прибалтийско-финских элементов от саамских и наличие в этих языках ряда соответствий между детерминативами вынуждает, однако, наряду с собственно прибалтийско-финскими терминами учитывать и общие прибалтийско-

<sup>1</sup> M. V a s m e r, Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. II, SPAW, Philosoph.-hist. Kl. XVIII, Berlin, 1934, стр. 351 и сл.; J. K a l i m a, Neuere Forschungen über baltisch-finnische und finnisch-slavische Beziehungen, ZfsPh, XII, 1—2, 1935, стр. 131—141.

<sup>2</sup> См.: А. К. М а т в е е в, Субстратная топонимика русского Севера, ВЯ, 1964, 2, стр. 71—74; е г о ж е, Структурно-морфологические типы севернорусской субстратной топонимии, «Питання ономастики», Київ, 1965; е г о ж е, Об отражении одного финско-русского фонетического соответствия в субстратной топонимии русского Севера, СФУ, 1968, 2.

<sup>3</sup> Н. — норвежский диалект саамского языка, К. — диалекты Кольского полуострова, Ин. — диалект Инари.

финско-саамские слова, дифференцирующие постольку, поскольку они отсутствуют в волжских, пермских и угорских языках:

-*лахта*, -*лохта*<sup>4</sup> «залив» ~ фин., ливв. *lahti*, люд., вепс. *lahi*; форму -*лохта* ср. еще с саам. Н. *luok'tâ*. В волжских и пермских языках для этого слова соответствий нет. Обско-угорские параллели (манс. и хант. *лох* «залив») генетически связаны с прибалтийско-финскими и саамским словами, но фонетически легко отличимы и не препятствуют дифференциации.

-*матка*, -*мотка* «путь, дорога, волок» ~ фин., карел. *matka*, вепс. *matk*; -*мотка* ср. также с саам. Н. *muot'ke* «перешеек». В волжских, пермских и угорских языках нет.

-*нема* (-*нем*, -*немо*, -*немь*, -*мень*, -*меня*, -*мина* и др.) «мыс, наволок» ~ фин. *niemi*, вепс. *net*, эст. *neet*. В других уральских языках не зафиксировано.

-*оя* (-*ой*, -*уя*, -*уй*, -*бой*, -*буй*, изредка -*ая*, -*ай*, -*ея*, -*ей*; может быть, сюда же -*вей*) ~ фин., карел., вепс., эст. *oja* «речка, ручей, канава», лив. *voja* «ложбина, наполненная водой» = саам. К. *vuai*, *vuoi* «речка, ручей». В других финно-угорских языках соответствий нет.

-*пелда* «поле» ~ карел. *peldo*, люд. *pele* «поле»; -*палда*<sup>5</sup> ~ саам. К. *realt* «поле». В других финно-угорских языках отсутствует.

-*ранда*, -*ронда* «берег» ~ фин. *ranta*, карел. *randa*, вепс., эст. *rاند* «берег». Засвидетельствовано только в прибалтийско-финских языках.

-*сара*, -*сора*, -*сар(ь)*, -*сор(ь)*, -*зора*, изредка -*сера*, -*зера*; в юго-восточной части региона -*сур*, -*зур* (с саамским вокализмом). Многократно отмечено в самостоятельном топонимическом употреблении (*Сара*, *Сора*, *Свара*, *Свора*) ~ вепс. *sara* «разветвление», люд. *suar* «ветвь, рассоха», ср. карел. *šuaга* «развилка, рассоха» при фин. *haara* «разветвление», например *joepnaara* «рукав реки»; саам. К. *suorr*, *sūrr* «ветвь реки».

Фонетические трудности устраняются, если считать, что фин. *haara* и саам. *suorr*, *sūrr* отражают финно-угор.\*š (> саам. *s* и фин. *h*). В таком случае прибалтийско-финские формы с *s*- (*sara*) должны считаться заимствованиями из языка, сохранившего *s*, но не изменившего вокализм по саамскому типу (формы с š- появились позднее уже в связи с переходом *s* > š). Восстанавливая исходное \*šgr<sup>6</sup>, получаем тот же результат, что и В. И. Лыткин, сопоставляющий коми-зырян. *шор* «ручей», удм. *шур* «река», венг. *ár* «поток», манс. *tūr*, хант. *tōr* «озеро»<sup>7</sup>. Формант дифференцирует, так как пермские и угорские данные специфичны в фонетическом отношении.

-*ла* ~ -*ла* — прибалтийско-финский суффикс существительных, обозначающих место; в топонимии неприбалтийско-финских народов не встречается, но в высшей степени характерен для прибалтийско-финских названий.

Выделив дифференцирующие форманты, приведем теперь ряд этимологий основ, употребляемых с этими формантами, указывая как прибалтийско-финские, так и саамские соответствия (когда они имеются): *вар-* (*Варомень*, *Варамина*) ~ фин. *vaara*, карел. *vaaga* «гора, сопка» = саам. К. *vār* «лес; покрытая лесом гора»; *верк-* (*Веркола*) ~ фин. *verkko*, вепс. *verk* «сеть»; *вой-* (*Войлохта*) ~ фин., вепс. *voi* = саам. К. *vuoi* «масло».

<sup>4</sup> О соответствии *a* ~ *o* см. нашу статью «Об отражении одного финско-русского фонетического соответствия в субстратной топонимике русского Севера».

<sup>5</sup> Иногда -*палда* (в письменных источниках) переносится и на прибалтийско-финские формы вследствие графической контаминации (ср. *Варишпалда* вместо *Варишпелда*).

<sup>6</sup> Ср. с севернорусск. диалектн. *шар* «пролив» (*Маточкин шар*).

<sup>7</sup> В. И. Лыткин, Исторический вокализм пермских языков. М., 1964, стр. 100

*габ-* (*Габлахта*) ~ фин. *haara*, вепс. *hab*, эст. *haab* «осина»; *ихал(ь)* — (*Игальнема*) ~ фин. *ihala* «необычный»; ливв. *ihali*, *ihal* «прекрасный, живописный» (о местности); *канз-* (*Канзапелда*) ~ фин. *kansa* «народ», ливв. *kanzi* «народ, толпа», вепс. *kanz* «семья»; *карг-* (*Каргомень* < \**Каргонема*<sup>8</sup>, *Каргоя*, *Каргой*, *Каргала*) ~ фин., ливв. (фольк.) *karhu* «медведь»; *карно-* (*Карносара*) ~ фин. *kaarne*, карел. *koarne*, эст. *kaarna* «ворон»; *карь-* (\**Карьмина*) ~ фин., карел. *karja*, ливв. *karju* «скот, стадо»; *кас-* (*Касюмень*, *Каская* < \**Каскоя*) ~ фин. *kaski*, вепс. *kašk* «пожога»; *кез-* (*Кезомина*) ~ фин. *kesä*, карел. *kezä*, вепс. *keza* = саам. К. *kiess* «лето»; *кив-* (*Кивой*, *Киуй* < \**Кивуй*) ~ фин., карел., вепс., эст. *kivi* «камень»; *ким-* (*Кимбуй*) ~ карел. *kiima*, ливв. *kiimi*, вепс. *kit* «ток (место токования птиц)»; *коп-* (*Копосара*) ~ фин. *kuorra*, вепс. *kor* «яма, могила»; *корб-* (*Корбала*) ~ фин. *korpi*, карел. *korbi*, вепс. *kořb* «глухой лес»; *куз(ь)* (*Кузьнема*, *Кузомень*) ~ фин. *kuusi*, карел. *kuuzi*, вепс. *kuž* = саам. К. *küss* «ель»; *куйб* (*куйб-*) (*Куйбой* < \**Куйбой*) ~ фин., карел. *kuiva*, вепс., эст. *kuiv* «сухой»; *куйк-* (*Куйклахта*) ~ фин., карел. *kuikka*, люд. *kuikka* «гагара»; *кунд-* (\**Кундаранда*, *Кундыбой*) ~ фин. *kunta* «община», вепс. *hiitokund* «родственники» = саам. К. *kont* «местность, округ»; *курз-* (*Кургомень* < \**Кургонема*) ~ фин. *kurki*, карел. *kurgi*, вепс. *kuřg* «журавль»; *лауд-* (*Лавдоя*, *Лавдуй*) ~ фин. *lauta*, карел. *lauda*, вепс. *laud* «доска»; *лемб-* (*Лембонема*) ~ фин. *lempo*, карел. *lembo* «черт»; *лухт-* (*Лухтомень*) ~ фин., карел. *luhta*, вепс. *luht* «заливной луг»; *май-* (*Майнема*, *Майлахта*) ~ 1) фин. *majava*, ливв., люд. *majai* = саам. К. *täij* «бобер» или 2) фин., ливв., люд. *maja* «шалаш, избушка»; *матк-* (*Маткоя*, *Маткуй*) ~ фин., карел. *matka*, вепс. *matk* «путь, дорога, волок» = саам. Н. *muot'ke*; *мон(е)* (*Монепелды*, мн.) ~ фин. *moni*, карел. *moi* «многий» (= русск. *Многополье*); *мурд-* (*Мурдоя*, *Мурдой*, *Мурдойбой*) ~ фин. *murto* «деревья, сваленные ветром», вепс. *murd* «сор, мусор»; *нёвл-* (*Нёвлуй*) ~ фин. *neula* «игла, хвоя» (при карел. *niegla*, вепс. *negl*); *озар-* (*Озарнемо*) ~ карел. *ozga*, вепс. *ozg* «ячмень»; *пал-* (*Паломень*, *Палуя*) ~ фин., карел., вепс. *palo* «пожар; пожога»; *перт-* (*Пертомина*, *Пертема* < \**Пертнема*) ~ карел. *pertti*, вепс. *peři* «изба, баня»; *перз-* (*Перзей*) ~ карел., люд., вепс. *perze* «задняя сторона»; *перх-* (*Перхота* < \**Перхлохта*) ~ фин. *perhe*, карел. *pereh*, вепс. *peřeh* «семья, семейство»; *перш-* (*Першлахта*) ~ карел. *perše* «задняя сторона»; *пик-* (*Пикуй*, *Пиксора*) ~ фин. *pikki*, карел. *pikko* «маленький»; *пикк-* (*Пиккало*) ~ фин., карел. *pihka*, вепс. *pihk* «смола, живица»; *пульк-* (*Пульканема*) ~ фин. *pulkka* «небольшие сани» и саам. Ин. *pulkke*; *пур-* (*Пурнема*) ~ фин., карел. *pyro* «ручей»; *реп-* (\**Репонема*) ~ фин., карел. *hero* «лисица»; *риг-* (\**Ригомина*) ~ фин., карел. *riihi*, вепс. *rihi*, *fih* «рига, овин»; *рид-* (*Риднема*) ~ фин. *rida*, карел., вепс. *rida* «различные виды ловушек на зверя и птиц» или фин. *riita*, вепс. *řid* «спор, ссора»; *саво-* (*Савосара*) ~ фин., вепс. *savi* «глина»; *сета-* (*Сетала*) ~ фин. *setä* «дядя»; *сорза-* (*Сорзомино*) ~ фин. *sorsa*, ливв. *sorzi*, вепс. *sořz* «утка»; *сюр-* (*Сюрнема*, *Сюрнем*) ~ фин. *syřä*, вепс. *šřj* «сторона, край»; *тал-* (*Талсора*) ~ фин. *talo*, ливв. *taloj* «дом»; *хиж-* (*Хижлахта*) ~ фин., карел. *hiisi*, ливв. *hiisi* «елеший»; *хим-* [*Химасора*, *Химанемо* < \**Химанем(ская)*] ~ вепс. *hit* «родня, родственники» (фин. *heimo* «племя; род; семейство»); *хумал-* (*Хумалево* < ? \**Хумалево* или \**Хумала*) ~ фин., карел. *humala*, вепс., эст. *humal* «хмель»; *чома-* (*Чоманемо*) ~ ливв., люд., вепс. *čota* (фин. *sota*) «красивый»; *яер-* (*Яеромень*, *Яероя* < \**яер-* или *яер-*) ~ фин. *järvi* = саам. К. *jařv* «озеро»; *яг-* (*Ягласарь*, *Ягломень*, *Яглобой*) ~ карел. *jägälä*, ливв. *jägäl* и саам. К. *jiegel* «олений мох (ягель)»; *ял-* (*Ялоя*,

<sup>8</sup> Знак<sup>+</sup> ставится перед формой, извлеченной из письменных памятников.

*Ялой, Ялуй, Ялосарь, Ялзора*) ~ фин., карел. *jalo* «сильный, благородный», вепс. *jalo* «дерзкий, проворный»; *янг-* (*Янголохта, Янгосорь*) ~ фин. *jänkä*, карел. *järgkä* = саам. К. *järgk* «болото».

Из 53 приведенных основ 42 этимологизируются на прибалтийско-финской почве, а 11 должны рассматриваться как общие прибалтийско-финско-саамские (исконные и заимствованные прибалтийскими финнами у саамов или саамами у прибалтийских финнов). Хотя при этимологизации было установлено, что не все основы в равной степени дифференцируют, полученный результат достаточно объективен, так как прибалтийско-финским (прибалтийско-финско-саамским) форматам в подавляющем большинстве случаев соответствуют специфические прибалтийско-финские (прибалтийско-финско-саамские) основы. Лишь часть основ (10) имеет более или менее близкие параллели в других финно-угорских языках: *вар-* (эрс. *вирь*, манс. *вор* «лес»), *вой-* (мар. *уй*, эрс. *ой*, манс. *вой* «масло»), *кез-* (эрс. *кизэ* «лето»), *кив-* (мар. *кй*, эрс. *кев*, хант. *кеу* «камень»), *корб-* (манс. *хорун* «высокий лес; кедровник»), *куз(ь)-* (мар. *кӧж*, эрс. *куз*, коми-зырян. *коз* «ель»), *кунд-* (мокш. *кунд'а* «друг, товарищ»), *май-* (эрс. *мия*, коми-зырян. *мой* «бобер»), *перт-* (мар. *пӧрт* «дом»), *янг-* (манс. *янк* «болото»).

Картографирование основ показало, что вся северо-западная половина региона перед приходом русских была занята прибалтийскими финнами (см. карту № 1). Возможно, что территория их расселения была даже несколько больше: названия рек *Италица* < \**ihal(a)* и *Воя* < \*(*v*)of(*a*) в бассейне средней Сухоны явно свидетельствуют в пользу существования там прибалтийско-финской колонии. Но кто были эти прибалтийские финны? По некоторым фонетическим и лексическим особенностям названий можно думать о том, что восточный берег Белого моря и прилегающие территории колонизировали племена, близкие к финнам-суоми и северным карелам (ср. выше *Карносара, Нёвой, Репонема, Сетала*), район Кенозера на крайнем западе Архангельской области занимала прибалтийско-финская чужд, близкая в некоторых отношениях к ливвикам и людикам (-*лахта*)<sup>9</sup>, а в других — к собственно карелам (*Першлахта, Хижлахта*), в бассейне реки Выя и в некоторых местах по среднему течению Пинеги обнаруживаются названия вепско-людиковского типа (*Перзей, Чоманемо*), в бассейне Ваги также отмечаются топонимы вепского облика (*Химанево*); Белозерский край, несомненно, был занят вепсами<sup>10</sup> (на это прежде всего указывают названия с начальным *б-*, в том числе и субсубстратные названия на *-юга* и *-еньга*, например: *Бонга, Бохтюга, Бохтеньга, Бояро* и т. д.).

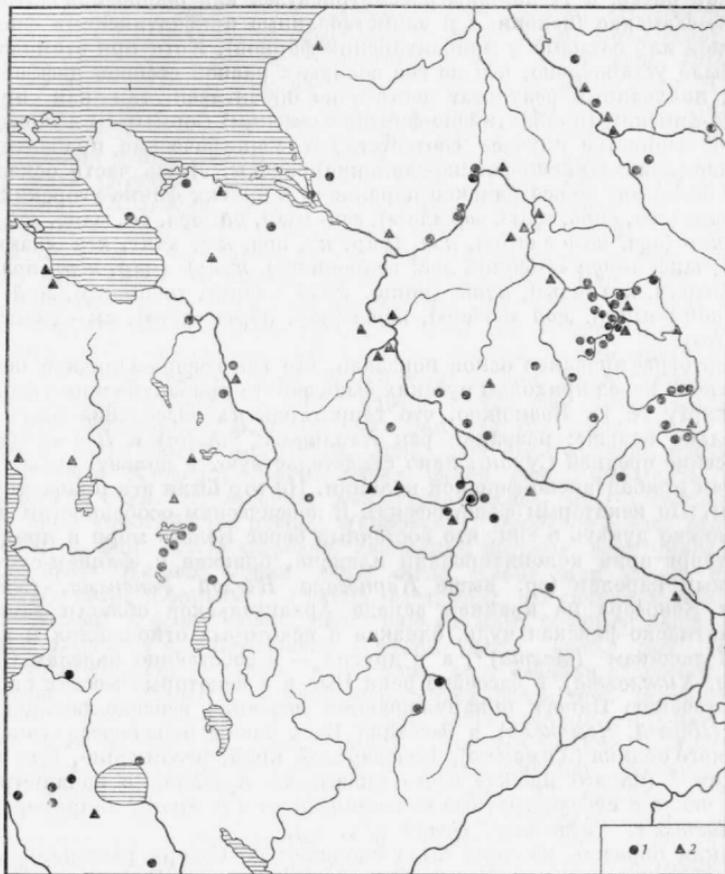
Таким образом, картина была сложной: по Северу расселились различные этнические группы прибалтийских финнов. Эти передвижения, очевидно, происходили незадолго до русской колонизации, однако прибалтийские финны успели создать на Севере свою специфическую топонимию, включая и речные названия. Отдельные племена прибалтийских финнов, судя по данным топонимии, осваивали относительно небольшие участки территории, занимаясь не только охотой и рыболовством, но также подсечно-огневым земледелием и скотоводством.

В освоении Севера принимали участие и саамы, однако саамские топонимы не всегда можно отличить от прибалтийско-финских, тем более, что в древности эти языки были гораздо ближе друг к другу. Как саам-

<sup>9</sup> Если только эти названия не были усвоены русскими до перехода *lahti* > *laksi* или если формат не восходит к русскому *лахта* «залив» (< прибалт.-фин.).

<sup>10</sup> См. также: А. И. Попов, Топонимика Белозерского края, «Уч. зап. [ЛГУ]». Серия востоковедческих наук, 2, 1, 1948, стр. 174.

скую, так и прибалтийско-финскую трактовку допускают, например, *Войлохта*, *Яглобой*, *Яглолохта*, *Янгосорь*. Вопрос о месте саамского компонента в топонимии Севера трудно решить еще и потому, что здесь почти полностью отсутствуют специфические саамские детерминативы.



Карта № 1. Прибалтийско-финская и саамская топонимия Севера:  
1 — прибалтийско-финские названия; 2 — саамские названия

Редкие примеры представляют собой *Лаконерма*<sup>11</sup> (саам. *K. þort* «место в воде или на земле, поросшее травой» (саам. *N. lâk'ke* «сторона, половина, бок, склон») или *Кучепалда* (саам. *K. pealt* «поле» *kū'ts* «гнилой, прокисший»). Обычно же саамские детерминативы крайне трудно дифференцировать от прибалтийско-финских; например: *Кулой* ~ саам. *K. kull* «рыба» + *ой* (фин., саам. ?), *-солово* «остров леса среди болота» (*Кумасолово*, *Обсолово* и др., Белозерский край) ~ саам. *N. suolo* и лив. *sala* «остров». Естественно, равнинный Север, богатый

<sup>11</sup> А. А. Шахматов, Исследование о двинских грамотах XV в., ч. 1 и 2, СПб., 1903, № 18.

лесами и болотами, по природным условиям очень отличается от горной тундры Кольского полуострова, и это не могло не обусловить существенную разницу в географической терминологии живых и вымерших саамских наречий. Тем не менее, характерно, что на Севере отсутствуют даже такие типичные саамские (К.) детерминативы, как *-nar<sup>sk</sup>* «мыс» и *-lio* «Вал» «проточное озерко». Однако районы распространения саамской топонимии на Севере устанавливаются относительно точно путем картографирования часто встречающихся саамских основ (см. карту), содержащих характерную для саамского языка консонантную группу *хч* (*нюхч* ~ саам. К. *ñuχ* «лебедь», *чухч* ~ саам. К. *čuχ* «глухарь», *чехч*? ~ саам. К. *čəχ* «осень»), а также типично саамских основ *нёрм*-, *нерм*- (см. выше), *чач*- «вода» (саам. Н. *časse*) и *чёлм*-, *челм*- «пролив» (саам. Н. *čoałme*). Очевидно, прибалтийско-финские и саамские основы образуют сложный адстрат, причем имеется много неясных случаев, когда, например, вокализм форманта отличен от современных саамских данных и тождествен прибалтийско-финскому, но основа является чисто саамской (*Кучематка*, *Кучесар*, *Челмосарка*), или же при типично саамской основе формант допускает как прибалтийско-финское, так и саамское толкование (*Нёрмуя*). Особенно интересны топонимы, в которых явно саамская основа сочетается с «несаамскими» детерминативами: *Кукранда* ~ саам. К. *kukk* «длинный, долгий» + *ранда* «берег» (ср. фин., карел. *Pitkärinta* «длинный берег») <sup>12</sup> и *Чухченема* ~ саам. *čuχ* «глухарь» + *нема* «мыс». Очевидно, в саамских диалектах Севера существовали лексические элементы, которые до сих пор считались специфически прибалтийско-финскими. Фасмер считал названия типа *Чухченема* «гибридного» саамско-финского происхождения <sup>13</sup>; однако «гибридные» названия своим возникновением бывают обязаны, как правило, более древним гидронимам, между тем в районе деревни *Чухченема* (по Сев. Двине) нет реки *Чухчи(а)*, а около урочищ *Кукранда* и *Куклохта* нет реки *Кук(а)*.

Особенности саамских диалектов Севера не ограничивались, однако, областью лексики: в некоторых вымерших саамских диалектах современному саамскому *s* соответствовало *š*: *шид*- (*Шиднема*, две деревни — одна в Пинежском, другая в Белозерском крае) ~ саам. К. *šič<sup>st</sup>* «зимняя деревня», ср. фин. *hiisi* (*hiiden*) «удаленное плохое место» <sup>14</sup>; *шуб*- (*Шублахта*, *Шубоя*) ~ саам. К. *šub* «осина», ср. фин. *haara* «осина»; *шунд*- (*Шундомень*) ~ саам. К. *šun<sup>st</sup>* «талый»; *вашк*- (*Вашкомень*, *Вашкуй*, *Вашкаранда*) ~ саам. К. *višsk* «окунь» (ср. русск. диалектн. *вашкалье* «мелкая рыбешка», Белозерский край), ср. фин. *ahven* «окунь» (в топонимии Севера не зафиксировано); *паш*- (*Пашемень*, *Пашимотка*) ~ саам. К. *pās* «плохой», ср. фин. *raha* «плохой».

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что саамскому *s* и финскому *h* в языке-источнике соответствовало *š*, т. е. или в этих словах сохранен древний финно-угор. \**š*, или саам. *s* вновь перешел в *š* (\**š* > *s* > *š*). Однако и это не исчерпывает всех сложностей проблемы: в ряде случаев топонимы с прибалтийско-финско-саамскими детерминативами имеют основы, которые возможно истолковать, лишь используя данные волжских языков. В этом отношении особенно показателен регион средней Пинеги, где, как установлено, саамскому *s* соответствовало *š* (*Шиднема*, *Шублахта*, *Шубоя*, *Пашемень*). Факты свидетельствуют, что на этой территории отражались в виде *š* и финно-угорские \**š* и \**š*, как в ма-

<sup>12</sup> Сопоставление с фин. *kukka* «цветок» и *kukko* «петух» ошибочно (см.: А. К. М а т веев, Субстратная топонимика русского Севера, стр. 72).

<sup>13</sup> М. V a s m e r, указ. соч., II, стр. 422.

<sup>14</sup> См.: Y. H. T o i v o n e n, Suomen kielen etymologinen sanakirja, I, Helsinki, 1955, стр. 74.

рийском языке. Например: *Шушкомень* < \**Шукушомень* (мыс на р. *Шукуша*) ~ мар. *шуки*, саам. K. *suks* и эрз. *сукс* «червяк»; *Шуломень* ~ мар. *шульшо*, ср. фин. *sula*, эрз. *солазь* «талый»; *Шардомень* ~ мар. *шарды*, ср. эрз. *сардо* «лось»; ср. также *Шубшалга* (*шуб-* ~ саам. *suВr* «осина», *-шалга* ~ фин. *selkä*, саам. K. *šielj*° «хребет, покрытый лесом, грива»<sup>15</sup>, т. е. «осиновая грива» = фин. *Naapaselkä*); *Шеймогора* (фин. *heimo* «племя, род, семейство» < балт., ср. литов. *šeima* «семья, семейство»).

Все эти факты говорят о том, что на Севере, наряду с прибалтийско-финскими и саамскими наречиями, близкими к современным прибалтийско-финским и саамскому языкам, существовали идиомы особого строя — они зафиксированы русским усвоением или в таком состоянии, которое в некоторых отношениях было близко к праприбалтийско-финско-саамскому языку, или же в состоянии, которое характеризовалось эволюцией консонантизма, присущей марийскому. Однако эти образования с марийским консонантизмом и частью марийских лексем (ср. еще *Вондранда* ~ марийск. *вондо* «куст», *Луднема*<sup>16</sup> ~ марийск. *лудо* «утка»), саамским вокализмом (*шуб-*) и прибалтийско-финскими детерминативами (*-нема*, *-лахта*, *-ранда* и проч.) не должны считаться явлением исключительным. Заволючские «гибриды» возникли в языках, характер которых был в значительной степени обусловлен их географическим положением между прибалтийско-финскими и саамскими наречиями, с одной стороны, и марийским языком, с другой. Пределы варьирования пока установить трудно: может оказаться, что в одних случаях мы имеем дело с архаическим саамским языком, а в других — с языком, близким к марийскому. В конечном счете выясняется, что значительной спецификой обладают даже прибалтийско-финские наречия Заволючья, в которых, например, вообще не засвидетельствованы финские слова *mäki* «гора», *koivu* «береза», *ahven* «окунь», *koira* «собака», *hirvi* «лось», *joutsen* «лебедь», *niini* «липа», *nurmi* «лужайка», *niitty* «луг», *varis* «ворон», *pitkä* «длинный» и др. Учитывая, что некоторым из этих слов соответствуют саамизмы (*вашк-*, *мюжч-*, *кук-*) или общие прибалтийско-финско-саамские слова (*вар-*), можно думать, что по составу лексики наречия прибалтийских финнов Севера были ближе к саамскому языку, чем современные прибалтийско-финские языки.

Интерпретируя происхождение древних названий Севера, надо иметь в виду, что вымершие языки могли обладать специфической фонетикой, лексикой, словообразованием, не соответствующими нашим традиционным представлениям.

II. Весьма эффективным способом исследования гидронимии с формантами *V + ньга* (*V + нга*), *V + га*, *V + ма* и др. обещает быть сопоставление основ, этимологизированных на прибалтийско-саамско-вожской почве, с основами гидронимических типов (ограничимся названиями на *V + ньга*, *V + га*, *V + ма*, *-важ*). Ср.: *вар-* (*Вареньга*), *вонд-* (*Вондонга*, *Вондога*), *ки(с)-* (*Киеньга*, *Киюга*, *Киваж*), *корб-* (*Корбанга*), *кузь-* (*Кузеньга*, *Кузга*, *Кузема*, *Кузюг*), *кук-* (*Кукома*), *кул-* (*Кулома*), *кунд-* (*Кундюг*), *куч-* (*Кучема*), *луд-* (*Лудонга*, *Луденьга*, *Лудига*), *лухт-* (*Лухтонга*, *Лухтома*), *май-* (*Маега*), *матк-* (*Маткома*), *мурд-* (*Мурденьга*, *Мурдюг*), *нёрм-* (*Нёрмуга*), *пал-* (*Паленьга*, *Палуга*), *паш-* (*Пашеньга*, *Пашуга*), *перт-* (*Пертеньга*, *Пертуга*, *Пертюг*, *Пертома*), *пур-* (*Пуронь-*

<sup>15</sup> К соответствию фин. *e* ~ *a* в языках субстратной топонимии: ср. фин. *heinä* «сенок» ~ р. *Хайнова* (при юж.-вост. *hain* «сенок»); фин. *pello* «поле» ~ *палда*; фин. *vehmas* «зеленеющий, обильный, густой» ~ *Вагмас*.

<sup>16</sup> *Луднема* — не из фин. *luoto*, вепс. *lod*, поскольку на основной территории Севера (кроме Онежской губы) финскому *uo* всегда соответствует *o* (*suo* «болото» ~ *Сосарь*, *tuoti* «черемуха» ~ *Томой*).

га), шард- (Шарденьга, Шардома), шуки- (Шукишеньга), явр- (Явреньга), ял- (Ялега).

Таким образом, 23 основы из 70 этимологизированных прибалтийско-саамско-волжских основ имеют точные соответствия среди гидронимов рассматриваемых типов. Почти все эти основы по своей семантике относятся к числу очень часто встречающихся в топонимии: вар- «гора», вонд- «куст», ки(е)- «камень», корб- «(глухой) лес», кузь- «ель», кул- «длинный», куч- «гнилой», луд- «утка», лухт- «заливной луг», май- «бобер» или «шалаш», матк- «путь», мурд- «бурелом», нёрм- «луг», пал- «гарь», паш- «плохой», перт- «взба», пур- «ручей», шард- «дось», явр- «озеро». При изучении этимологических связей данной группы основ выясняется, что половина из них имеет параллели в волжских языках [ки(е)-, кузь-, кунд-, май-, перт-, пал-, шуки-, явр-] или относится к специфическим волжским (вонд-, луд-, шард-) и лишь немногие имеют близкие параллели в угорских языках [вар-, ки(е)-, корб-, кул-].

Если произвести сплошное сопоставление топонимов, ограничиваясь избранной группой формантов, то список подобных соответствий окажется очень внушительным: Азбуь—Азенга; Анбуь—Анига; Анюга—Важмень—Важеньга, Важуга; Веромень—Верола, Верюга; Вешкуй—Вешкома; Вознем—Возюг; Ежемень—Еженьга, Ежуга; Елесера—Еленьга, Елюга, Елема; Елгуй—Елгома; Ернема—Ереньга, Ерюга; Иванема—Иванга; Изимень, Избой—Изюга; Индосарь, Индала—Индега; Ирдоматка—Ирдома; Ишкбой—Ишкома; Карамина—Каранга, Карюг; Качебой—Качем(а), Качуг; Керлахта—Керома, Керваж; Кизбой—Кизема; Киснема—Кисматка, Кислахта—Кисема, Кисига; Кодобой, Кодосор, Кодой—Кодима; Кондуя—Кондома, Кондюг; Коросара—Корега; Кортлахта—Кортюга, Кортюг; Котомина, Котбой—Котуга; Куропалда—Куреньга, Курома; Кярмотка—Кярега; Ладбой—Ладуга; Лапомень—Лапанга; Ледбой—Леденга; Линдуй—Линдога; Матнема, Матсара—Матенга, Матюг, Матома; Мурахта—Мур(а)юга<sup>17</sup>; Немола—Нем(н)юга < \*Немюьга; Нернема—Нерьюга; Нюрала—Нюренга, Нюрюг; Нявруй—Нявруга; \*Онемина—Онега; Падомень—Паденьга, Падома; Пажбойка—Пажуга; Пануй—Панога; Пачепелда, Пачеллахта—Пачуга; Пелемень—Пеленьга, Пелюга; Пенсора—Пенга, Пенома; Пермесора—Перманга; Песнема—Песьеденьга; Петобой—Петеньга; \*Пуконема, Пукоранда—Пуккома; Пучкоя—Пучкома; Пыжемень, Пыжеллахта—Пыжуг; Пышей—Пышега; Роднема—Родома; \*Рочимина—Рочуга; Русемень—Русинга, Русома; Совдоя—Совдюга; Сосарь—Сосеньга, Союга, Соваж; Солбой, Солосора—Солюга; Сулуй—Сулонга; Сямуй—Сямоньга; Томой—Томанга, Том(а)юга; Уронемо, Уросарка—Уронга, Урома; Халоя—Халинга; Циломень—Циленга; Шидроя—Шидрома; Юрлахта, Юрала—Юронга, Юрома; Ютнема—Ютега; Явсора—Явенга; Янсора—Янега; Ярнема—Яреньга. В списке приведено 70 соответствий, но количество примеров такого рода можно намного увеличить, так как указаны не все сопоставления даже для этих формантов. Если же будут учтены те детерминативы, которые можно квалифицировать как прибалтийско-финские и саамские, но которые были исключены из списка как недостаточно дифференцирующие (-вар ~ фин. *vaara*, саам. *várr* «гора, сопка») или редко встречающиеся (-пога ~ фин. *rohja* «длинный узкий залив; конец залива»), то количество сопоставлений соответственно вновь увеличится (Кочевар—Коченьга, Чучепога—Чучега и мн. др.). Однако и так ясно, что гидронимы с суффиксами V + ньга, V + га, V + ма и -важ органически связаны с рассмотренным выше прибалтийско-саамско-волжским топонимическим слоем. Возникает даже сомнение в том, что

<sup>17</sup> В скобках приводятся вставочные звуки, возникшие перед *j* на почве русского усвоения.

эти два пласта хронологически разновременны во всех своих элементах между ними слишком большое сходство.

Как же в таком случае следует интерпретировать форманты, вызвавшие так много споров?

-V + *ньга(нга)* — первоначально этот формант увязывался нами с прибалтийско-финской генитивной конструкцией<sup>18</sup>; впоследствии мы признали, что возможности объяснения форманта на финно-угорской почве разнообразны («речка», хант. *йирк* «вода», марийск. *энер* «речка»; генитивная конструкция прибалтийско-финского типа, возможность назализации гласного, наличие в угорских языках суффикса прилагательных -*г*)<sup>19</sup>. Наиболее перспективно, учитывая все полученные результаты, сопоставление форманта с марийск. *энер* «река», где -*р* является словообразовательным суффиксом<sup>20</sup>, а основа родственна ненец. *еңа* «речка» (и, возможно, хант. *йирк* «вода» и юкагир. *опгге* «речка»), а также сопоставление с суффиксом прилагательных -*г*, известным в ряде уральских языков<sup>21</sup>.

-V + *га*, безусловно, восходит к общефинно-угорскому обозначению реки, но в связи со всем сказанным выше должен интерпретироваться на прибалтийско-саамско-вожжской почве (фин. *joki*, карел. *jogi*, саам. *Н. jokkå* «река», марийск. *йога* «течение»).

-V + *ма* — этот формант, на первый взгляд, тоже является термином (ср. название реки *Ома*), но такой гидронимический термин в прибалтийско-саамско-вожжских языках неизвестен. А. И. Поцов справедливо связывает его с древним уральским суффиксом V + *т*<sup>22</sup>, который, видимо, отражает, и в топонимах на V + *м* (-*им*, -*ым*) в Приуралье и Зауралье.

-*важ* (-*баж*, -*маж*, -*веж*, -*беж*, -*меж*, -*миж*) ранее предположительно увязывался нами с коми-зырян. *вожж* «исток, рассоха»<sup>23</sup>, но следует иметь в виду и марийск. *важ* «корень, основание».

Можно без труда обнаружить множество фактов, подтверждающих высказанную концепцию. Так как прибалтийско-финские и саамские этимологии достаточно многочисленны (см. выше), приведем еще примеры, указывающие на черты схождения языков Севера с вожжскими языками, в частности с марийским.

1. На территории Архангельской области зафиксировано четыре названия *Икса*, обозначающих реки, текущие из озер, поэтому связь с марийск. *икса* «речка; залив; протока» несомненна. Интересно и название одной из проток в устье р. Вожега, впадающей в озеро Воже, — *Иксома*, т. е. «проливная, проточная (река)».

2. На юге Архангельской области (Устьянский район) есть небольшой ареал гидронимов с формантом -*енгарь* (-*енгерь*, -*ингерь* и т. д.), точно отражающим марийск. *энер* «река» (ср. *Ошингерь* ~ марийск. *ош* «белый» + *энер*, ср. *Ошенга*, *Ошуга*)<sup>24</sup>.

<sup>18</sup> См.: А. К. Матвеев, Историко-этимологические разыскания, «Уч. зап. Уральского ГУ им. А. М. Горького», 36 — Языкознание, Свердловск, 1960, стр. 110—112.

<sup>19</sup> См.: А. К. Матвеев, Некоторые итоги изучения севернорусской субстратной топонимики финно-угорского происхождения, «Тезисы докладов и сообщения к Всесоюзной конференции по вопросам финно-угорского языкознания», Ужгород, 1963, стр. 24.

<sup>20</sup> T. Lehtisalo, Uralische Etymologien, MSFOu, LXVII, 1933, стр. 235.

<sup>21</sup> T. Lehtisalo, Über die primären uralischen Ableitungssuffixe, MSFOu, LXXII, 1936, стр. 141.

<sup>22</sup> А. И. Попов, Географические названия, М. — Л., 1965, стр. 110; T. Lehtisalo, Über die primären uralischen Ableitungssuffixe, стр. 82—110.

<sup>23</sup> А. К. Матвеев, Субстратная топонимика русского Севера, стр. 77.

<sup>24</sup> Основа *ош* ранее связывалась нами с коми-зырян. *ош* «медведь». Для восточных районов Заволочья эта этимология остается в силе (наряду с вновь предложенной).

Наблюдения над лексикой прибалтийско-саамско-волжского пласта свидетельствуют о том, что она содержит различные элементы, иногда, видимо, находящиеся в довольно далекой степени родства. Так, наряду с формантом и основой *ягр-* «озеро» (*Рушеягр*, *Ягрема*, *Яхреньга*), отражающими древнесаамское (ср. саам. *jaŋr*) состояние консонантизма, встречаются формант и основа *яр-* [*Боляр(о)*, *Шидьяр*, *Яреньга*], близкие к марийским данным (*ер*, *йәр* «озеро»). Чтобы показать лексическое своеобразие языков Севера, рассмотрим еще несколько этимологий, приводя все случаи употребления той или иной основы в сочетании с различными суффиксами. Таковы: *мегр-*, *мехр-* (*Мегриш*, *Мегрега*; *Мехреньга*; *Мягрома*<sup>25</sup>) ~ карел. *māgrā*, вепс. *māgr* «барсук» — «прибалтийско-финская» основа (но ср. марийск. *нерге* «барсук»); *менд-* (*Мендюга*, *Няндом*) ~ карел. *mändi*, эст. *mänd* «сосна» (*ä* < \**ä* под ударением между мягкими на русской почве может переходить в *e*; *Няндом* < \**Млндом*) — «прибалтийско-финская» основа; *нем-* (*Немола*, *Немюга*, *Немъюга*, *Немсарь*) ~ фин. *niemi* «мыс» (ср. выше) — «прибалтийско-финская» основа; *нёрм-* (*Нёрмуга*, *Нёрмуша*, *Нёрмуя*, *Нёрмус*) ~ саам. *ńort* (см. выше) — «саамская» основа; *пыж-*, *пыли-*<sup>26</sup> (*Пыжелохта*, *Пыжемень*, *Пыжуг*, *Пыженгор*; *Пышей*, *Пышега*) ~ фин. *ruhä*, саам. *råss* «святой» — «прибалтийско-финско-саамская» основа<sup>27</sup>; *сельм-* (*Сельменьга*) ~ фин. *salmi* «пролив», но в древней форме до \**ś* > *s* и \**l'* > *l* (\**śal'm-*), поэтому на русской почве произошел переход 'а' > *e*; в топонимии засвидетельствован ряд примеров с «саамской» трактовкой (\**ś* > *č*) — *Чёлмус*, *Чёлмохта*, *Чёлмуши*, *Чёлмаш*, отражена также и «марийская» — *Шельмуша* (в марийском языке этого слова нет); *со-* (*Соеньга*, *Союга*, *Соваж*, *Солярское озеро*, *Соляна*<sup>28</sup>, *Сокурья*, *Сосарь*) ~ фин. *soo*, вепс. *so*, эст. *soo* «болото» — «прибалтийско-финская» основа; *охт-* [варианты *бохт-*, *вохт-*, *узт-*: *Бохтеьга*, *Бохтюга*, *Бохтема*, *Вохтога*, *Вохтома*, *Охтома*, *Охтонга*, *Ухтаньга*, *Ухтонга*, *Ухтюга*, *Ухтома* (*Уфтюга*), *Ухтома*, *Ухтаж* и т. п.] ~ фин. *ohto*, эрв. *ohto* «медведь» — «прибалтийско-волжская» основа, которую, видимо, следует отличать от *-охта* в роли форманта (*Чёлмохта*).

Сопоставительный и этимологический анализ этого ряда топонимов позволяет считать, что к прибалтийско-саамско-волжскому пласту относятся также названия на *V + ш(а)* (*Мегриш*, *Чёлмаш*, *Нёрмуша*), *-ус* (*Нёрмус*), *V + ж* [*Чёлмуш(и)*], *-охта* (*Чёлмохта*), *-курья* (*Сокурья*) и др.

Если судить по топонимам на *-ома*, *-ема*, где *V + м(а)* — словообразовательный суффикс, то по крайней мере часть субстратных гидронимических формантов является не терминами, а словообразовательными аффиксами. В настоящее время трудно сказать, действительно ли на Севере употреблялись топонимические названия без детерминативов или эти детерминативы были утрачены впоследствии.

III. Тезис о существовании в топонимии Севера прибалтийско-саамско-волжского пласта ни в коем случае нельзя истолковывать как утверждение о наличии в топонимии этой территории названий периода предполагаемого прибалтийско-волжского единства. По нашему мнению, в топонимии Севера под позднейшим прибалтийско-финским и саамским суперстратом сравнительно позднего происхождения находится мощный пласт,

<sup>25</sup> *Мехреньга* относится к *Мягрома* так же, как *Яхреньга* к *Ягрема*, т. е. группа *xr* < \* *gr*.

<sup>26</sup> Колебания глухих и звонких в субстратной топонимии Севера обычны: ср. *Кыскуя*, но *Кызгомень*, сопоставляемые с фин. *keski* «средний», саам. *K. kesk* «середина».

<sup>27</sup> О соответствии *h* ~ *š* см. выше; финскому *y* в топонимии Севера часто соответствует русск. *ы* (\**ʔ*?), например: *Кыма* ~ *куми* «большая река», *Кылма* ~ *кулма* «холодный» и т. д.

<sup>28</sup> Ср. фин. *evo* «большая река».

созданный различными лингвоэтническими коллективами, языки которых занимали промежуточное положение между прибалтийско-финскими и саамскими языками и волжско-финскими языками (прежде всего марийским). Древние языки Севера были значительно ближе друг к другу, чем современные прибалтийско-финские и волжские языки. В сущности, постулируемая группа прибалтийско-саамско-волжских языков является одним из недостающих звеньев в семье финно-угорских языков, утратившей ряд своих ветвей. Учитывая, что имеются термины «прибалтийско-финские» («западнофинские») языки, волжские и «пермские» («восточнофинские») языки, для вновь выделяемой группы предлагается термин «севернофинские» языки, наиболее точно соответствующий ее лингвистическому и географическому положению. Пласт севернофинской топонимии возник в процессе неоднократных переселений этнических групп из районов Волго-Окского междуречья на Север. Эти родственные группы в течение нескольких тысячелетий сменяли и ассимилировали друг друга, что и объясняет сложность состава субстратной топонимии Севера, а вместе с тем — ее генетическое единство и звуковую, лексическую и словообразовательную близость. Хотя различия между отдельными идиомами севернофинской группы, видимо, были весьма значительными, фонетический облик этой языковой группы в целом был близок к праприбалтийско-финско-саамскому языку с теми или иными отклонениями к современному саамскому и марийскому языкам. Не исключено, что на Севере были и собственно волжские языки. Учитывая сложность реконструируемой картины, группа севернофинских языков выделена предварительно: вполне возможно, что реально ей соответствовало две или даже больше групп вымерших финских языков, возможно также, что в части топонимов Севера засвидетельствовано древнее состояние некоторых из живых финских языков (например, саамского). Дальнейшее изучение материала позволит установить истину.

Севернофинские наречия образуют основной гидронимический пласт в субстратной топонимии Севера, который был ассимилирован частью саамами, частью прибалтийскими финнами, частью коми и русскими. Это доказывается, например, наличием параллельных севернофинско-саамских, севернофинско-коми названий с полной деформацией форманта в несевверофинских соответствиях, ср. *Варзуга* ~ саам. *Várssi*<sup>29</sup>, *Лоптюга* ~ коми *Лопи*.

Общей чертой севернофинских наречий является отсутствие начального *x*, которое, однако, в очень редких случаях наблюдается почти во всех основных гидронимических типах (*Халинга*, *Хосима*, *Хойтим*, *Харога*), что объясняется, очевидно, разными причинами (в ряд севернофинских названий могли быть втянуты прибалтийско-финские топонимы, характеризовавшиеся близкими формантами; на некоторых территориях севернофинские топонимы могли быть вовлечены в процесс перехода \*š > h; *x* могло возникнуть на почве русской адаптации и т. д.). В отличие от современных прибалтийско-финских языков, в севернофинской группе сохранилось конечное \*-*m*, как в саамском; например: *Качем*, *Радим*, а также *Андом(а)*, *Лухтом(а)* и т. д.

Однако между севернофинскими языками были и значительные фонетические различия. Уже отмечалась разница между названиями на *V* + *ньга* и *-юга*, *-уга* в составе их консонантных групп<sup>30</sup> («согласный + *ш*» для *V* + *ньга* и «согласный + *ч*» для *-юга*, *-уга*). Ср. еще: *Нюксеньга*

<sup>29</sup> Уже К. Б. Вилкунд обратил на это внимание: *Еконга* — *Joukuj*, *Чуденьга* — *Surdgai* (К. В. Wiklund, Entwurf einer uralappischen Lautlehre, MSFOu, X, 1, 1896, стр. 23).

<sup>30</sup> А. К. Матвеев, Субстратная топонимика русского Севера, стр. 67.

(с сохранением \*š), но *Нюлча*, *Нюлчим* (саамский тип). Даже в топонимах с одним и тем же суффиксом могли быть отражены разные фонетические трактовки одной основы, ср. *Язреньга* (< \*ягр) и *Яреньга*.

Севернофинским языкам был известен ряд балтийских и германских заимствований, что сближает их с прибалтийско-финскими языками. Зафиксированы основы *лухта* (*Лухтонга*, *Лухтома*), *перт* (*Пертеньга*, *Пертома*), *себр* (*Себреньга*), соответствующие финским *luhta* «заливной луг», *piriti* «изба, баня», *seura* «общество», которые считаются балтийскими заимствованиями<sup>31</sup>. Топонимы *Пельдем* и *Рандога*, отражающие фин. *pelto* «поле» и *ranta* «берег», свидетельствуют о наличии в севернофинских языках германских элементов<sup>32</sup>. Эти данные говорят о том, что субстратная гидронимия Севера в некоторых своих частях возникла уже после контактов прибалтийских финнов с балтами и германцами. Некоторые же топонимы «волго-окского» типа, очевидно, современны эпохе русской колонизации: *Рытюг* ~ фин. *risti* «крест», *Попьюга* ~ фин. *rappi* «поп».

Наличие севернофинских черт в микротопонимии (см. выше) свидетельствует о том, что русские могли непосредственно контактировать не только с прибалтийскими финнами и саамами, но и с севернофинским населением (чудью заволочской?). Это предположение доказывается существованием в русских говорах Севера заимствованных слов (субстратных включений?), которые раскрываются при сравнении с лексикой марийского языка. Пока обнаружено три таких слова: *туржа* «язь; рыба, похожая на подъязка, только поуже» ~ марийск. *турушо* «голавль» (как язь, так и голавль относятся к семейству карповых); *чинговатик* «очень, твердое дерево, которое трудно пилить» ~ марийск. *чинга* «мелкослойное дерево, которое трудно колоть»; *шардун* «олений самец по второму году» ~ марийск. *шарды* «лось».

Утверждая, что часть субстратных гидронимов Севера возникла относительно недавно, заметим, что они, тем не менее, очень архаичны и представляют исключительную ценность для сравнительно-исторического финно-угроведения, являясь древнейшим памятником по истории финно-угорских языков, пусть очень фрагментарным и искаженным. Покажем это на нескольких примерах.

1. Основа *ягр* «озеро» сохраняет звук \*g ~ \*γ, который впоследствии исчез в этом слове во всех прибалтийско-саамско-волжских языках (фин. *järvi*, саам. *jaçr*, марийск. *ep* и т. д.). Восстанавливая древнюю форму \**jagr*, можно связать эту основу с индоевропейскими данными (русск. *озеро*, литов. *ežeras*), где *z* и *ž* закономерно возникли из \**g*. Тем самым, во-первых, указывается на чрезвычайно древние контакты между восточными индоевропейскими и финскими языками; во-вторых, косвенно подтверждается связь рассматриваемых индоевропейских слов с др.-исл. *aegir* «морское божество», др.-англ. *ēagor* «море»<sup>33</sup>.

2. Интервокальная группа *-gr-* субстратных основ *мегр-*, *ягр-* в современных волжских языках выступает в измененном виде вследствие метатезы (*gr* > *rg*) и последующей переработки: марийск. *нерге* «барсук», марийск. *ep*, морд. *эрьке* «озеро» (ср. субстратное *Ергус*, встречающееся часто в озерных названиях, и *Ярголойда*). Установление этого соответствия позволяет считать достоверными спорные этимологии марийск. *нерге*

<sup>31</sup> См.: J. K a l i m a, Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat, Helsinki, 1936, стр. 134—135, 148, 160—161.

<sup>32</sup> Л. Х а к у л и н е н, Развитие и структура финского языка, ч. II, М., 1955, стр. 44, 45.

<sup>33</sup> О. С е м е р е н ь и, Славянская этимология на индоевропейском фоне ВЯ, 1967, 4, стр. 18—19.

(~ карел. *māgrā*), марийск. *нулго* «пихта» (~ фин. *neula*, карел. *negla* и субстратное *негл-* «игла», где группа *-gl-* аналогична группе *-gr-*).

Выявление севернофинского компонента позволяет пересмотреть вопрос о пермской топонимии на Севере, которая на этой территории представлена намного слабее, чем полагал некогда М. Фасмер<sup>34</sup>, и связана с крайне восточными районами Заволочья, прилежащими к Коми АССР<sup>35</sup>. Так, часть названий на *-юга*, фиксируемых в Коми АССР и на востоке Заволочья, видимо, восходит к пермским данным (*Вежаю* ~ *Вежаюга* «святая река»). Нет ничего удивительного в том, что на русской почве происходила нивелировка близких по звучанию гидронимических формантов (ср. коми-зырян. *ю* < \**ju* и севернофин. *-юг*, *-юга*). Поэтому иногда очень трудно отличить пермские основы от севернофинских (ср. *из* в *Изюга* ~ коми-зырян. *из* «камень» или марийск. *изи* «маленький»; *ош-* в *Ошуга* ~ коми-зырян. *ош* «медведь» или марийск. *ош* «белый»).

Архаизм севернофинских языков и глубокая древность ряда названий, в частности названий на *V + нья* (по крайней мере, части из них), отнюдь не снимают постановку вопроса о дофинском субстрате. Следует, однако, заметить, что поиски этого субстрата только на формальном уровне вряд ли дадут хорошие результаты: словообразовательные особенности севернофинских языков неизвестны, поэтому нельзя априорно считать нефинским то, что не укладывается в привычные рамки. Большинство предполагаемых дофинских типов постепенно раскрывается на финской почве, однако есть названия, которые до сих пор остаются загадочными. Таковы, например, топонимы на *-ежда*, *-езьма*, *-ешма*, *-есьма*, форманты которых сопоставляются с речными названиями *Ежда*, *Ижда*, *Вежда* (ср. *Икса*, *Векса*). Однако и этот топонимический тип имеет в своих основах параллели с севернофинскими названиями: *Кулежда*—*Кулома*, *Лундожда*—*Лундога*, *Нерезьма*—*Нерьюга*, *Пележда*—*Пеленьга*, *Положда*—*Полог*, *Унежда*—*Унонга* и т. д.

В плане выявления дофинского субстрата, возможно, перспективны некоторые специфические названия, резко отличающиеся от окружающих. Таков ряд гидронимов *Кема*, *Кьяма*, не объяснимых на финской почве, но сопоставляемых с тув. *хем* «река», и, правда, не без сомнения — с индоевропейскими данными<sup>36</sup>. Еще больше оснований считать индоевропейскими топонимы *Двина*, *Вага*, *Модлона* и *Свидь* (река, соединяющая озера *Лана* и *Воже*), ср. название реки *Сведь* в Белоруссии<sup>37</sup>. Но есть указания и другого рода. Так, гидроним *Унжа* (в одном случае рядом с *Кема*) сопоставляется с самодийской лексикой<sup>38</sup>. Все эти вопросы требуют дальнейшего изучения, но уже сейчас ясно, что дофинский субстрат либо представляет собой слабые примеси, либо, подвергаясь очень длительной и интенсивной финнизации, утратил свою специфику.

<sup>34</sup> М. V a s m e r, Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. IV, SPAW, Philosoph.-hist. Kl., XVI—XX, 1936.

<sup>35</sup> Более подробно «пермская» концепция во всех ее аспектах характеризуется в нашей статье «Пермские элементы в субстратной топонимике русского Севера» (СФУ, 1968, 1).

<sup>36</sup> См.: А. П. Д у л ь з о н, Древние топонимы Южной Сибири индоевропейского происхождения, «Топонимика Востока», М., 1964, стр. 14—15.

<sup>37</sup> В. Н. Т о ц о р о в, О. Н. Т р у б а ч е в, Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья, М., 1962, стр. 206.

<sup>38</sup> См.: Э. Г. Б е к к е р, Селькупские географические термины, «Местные географические термины в топонимии. Тезисы докладов и сообщений [АН СССР]», М., 1966, стр. 32—33.

Р. В. ПАЗУХИН

## К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОДА

Общепризнано, что язык представляет собой универсальное средство общения. В начале нашего века стало очевидным, что язык, кроме того, является знаковой системой (кодом). Оба эти представления легли в основу современной концепции языка, но остается неясным, как они согласуются друг с другом.

По всей видимости, синтез этих двух определений ведет к идее универсального кода, основные функциональные особенности которого можно представить себе следующим образом. Очевидно, что с помощью универсального кода можно выразить любую мысль, сообщить о любом событии. Это значит, что нет таких ситуаций, в которых универсальный код оказался бы неприменимым, и не может быть таких сюжетов, которые не могли бы быть выражены средствами такого кода<sup>1</sup>.

Если, однако, мы попытаемся описать внутреннее устройство этого кода, мы не сможем с подобной же очевидностью представить себе такую семиологическую структуру, которая бы совмещала в себе универсализм и кодовый характер. Дело в том, что эти две характеристики в известной мере противоречивы. С одной стороны, универсальный код как всякая знаковая система должен содержать в себе ограниченное число знаков (человек не может воспринять и запомнить бесконечное число элементов). С другой стороны, универсальный код должен обладать способностью порождать неограниченное число высказываний (средство общения признается универсальным только в том случае, если оно способно сообщать о любых событиях из бесконечного разнообразия событий). Таким образом, о внутренней структуре универсального кода можно только сказать, что она содержит в себе механизм, который способен преобразовывать ограниченный набор знаков в неограниченное число высказываний. Объяснение того, как устроен и как действует этот механизм, и составляет содержание проблемы языкового универсализма, решение которой даст в руки лингвистов сведения о главной и еще не объясненной особенности языка.

Среди лингвистов существуют разные мнения о природе указанного механизма. Эти мнения не являются результатом какого-либо специального исследования и не представляют собой законченных теорий. Это отдельные соображения о том, как следует объяснять неограниченную выразительность языка, которые иногда включаются в состав общих лингвистических концепций. Нужно заметить, однако, что эти объяснения играют определенную роль в системе современного лингвистического

<sup>1</sup> Иногда универсальность кода определяют как абсолютную переводимость, что предполагает возможность передачи средствами данного кода всех сообщений, которые могут быть выражены с помощью любого другого выразительного средства. Ср.: А. Tarski, *Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen*, «*Studia philosophica*» (Societas Philosophica Polonorum), I, 1935, стр. 278. В сущности, оба эти определения равноценны.

мировоззрения, и каждый лингвист необходимо придерживается той или иной точки зрения на этот счет.

Ознакомление с этими точками зрения позволяет обнаружить следующие обстоятельства. Во-первых, все предложенные объяснения универсального характера языка сводятся к правдоподобным, но не доказанным и не проверенным утверждениям. Во-вторых, в подавляющем большинстве лингвисты убеждены в том, что то или иное из этих объяснений удовлетворительным образом решает проблему языкового универсализма, и считают, что какие-либо дальнейшие исследования на эту тему не представляют интереса для лингвистики. Объяснить эти странные факты можно, пожалуй, лишь тем, что исследование языкового универсализма выходит за рамки собственно лингвистического исследования и ставит языковеда перед непривычными для него математическими и семиологическими закономерностями. По этой причине лингвисты часто не замечают теоретических сложностей там, где им представляются лишь трюизмы, не требующие эксплицитных доказательств. Следует, разумеется, считать, а и с тем, что лингвисты не всегда дают себе полный отчет в практической значимости этого вопроса.

В настоящей статье сопоставляются наиболее популярные объяснения универсального характера языка, что потребует от нас подробного анализа общих и часто наивных утверждений ради выводов, которые могут показаться (иногда не без оснований) тривиальными. Но подобный анализ (который в известной мере представляет собой *анализ пред-рассудков*) совершенно необходим. Он позволяет дать объективную оценку современного состояния проблемы универсальности языка и перспектив ее решения. Только такой анализ может сделать очевидным тот факт, что проблема языкового универсализма еще не решена и что она ожидает серьезного и целенаправленного изучения.

1. Несколько предварительных соображений о том, почему язык нельзя представлять в виде «очень большого кода»<sup>2</sup>. Иногда, например, можно встретить утверждения о том, что язык способен породить такое колоссальное количество предложений, что, хотя это число конечно, оно достаточно велико для того, чтобы Человек мог удовлетворительно интерпретировать с помощью этих предложений все практически доступные ему явления Действительности<sup>3</sup>.

Но даже если предположить, что порождаемые подобным кодом сообщения превосходят своим количеством число атомов видимой нами части Вселенной<sup>4</sup>, мы не сможем считать этот код универсальным.

Дело в том, что различие между Конечным и Бесконечным отнюдь не количественное, но качественное<sup>5</sup>. Все ограниченные коды (как бы велики или малы они ни были) предполагают в той или иной степени информацию, которая не может быть с их помощью выражена. В этом астрономический большой код принципиально не отличается от небольшого ограниченного кода, например, системы сигналов, *красный: желтый: зеленый*, применяемой в транспорте. Различие между этими двумя кодами только количественное: с точки зрения потребителя, вероятность натолкнуться на сюжет, не предусмотренный кодом, во втором случае несравненно больше, чем в первом.

<sup>2</sup> В связи с этим, разумеется, нужно отказаться от нашей повседневной привычки смешивать «очень большое» с «бесконечным». Ср.: Р. И. Н а н, Понятие бесконечности в математике, физике и астрономии, М., 1965, стр. 2.

<sup>3</sup> Л. О. Р е з н и к о в, Гносеологические вопросы семиотики, Л., 1964, стр. 32; Д. ж. Х е р д а н, Кризис современного общего языкознания, ВЯ, 1968, 2, стр. 117.

<sup>4</sup> Л. О. Р е з н и к о в, указ. соч. стр. 32.

<sup>5</sup> Н. В е р г м а н н, Das Unendliche und die Zahl, Halle, 1913, стр. 13 и сл.

Что же касается универсального кода, то для его потребителя вероятность встречи с «невыразимыми» сюжетами равна нулю: код может считаться универсальным только в том случае, если он способен обслуживать все без исключения события, с которыми может столкнуться или которые может вообразить корреспондент. Этим универсальный код отличается от любого ограниченного кода (независимо от размеров последнего).

Разумеется, большой ограниченный код мог бы выступить в функции языка только в том невероятном случае, если бы возможности человеческого познания были ограничены определенным, заранее установленным кругом явлений и событий, а также если бы можно было сверхъестественным способом предусмотреть в коде эти сюжеты и исключить возможность встречи Человека с «непредусмотренными» сюжетами<sup>6</sup>.

2. Чаще всего универсальную выразительность языка объясняют так: большое число языковых единиц (например, морфем или слов) способно, комбинируясь различными способами, породить бесконечное число высказываний. Эта точка зрения, сводящая проблему языкового универсализма к простой комбинаторной задаче, служит рабочей гипотезой большинству тех лингвистов, которые заняты частными языковыми проблемами и не интересуются теоретическими основаниями своей науки<sup>7</sup>.

Следует заметить, что результат, к которому ведет этот путь, зависит от того, каким образом решается вопрос о длине языкового высказывания. Так, если предположить, что все высказывания какого-либо языка ограничены в отношении своей длины каким-то общим пределом, мы приходим к выводу о том, что число высказываний, порождаемых этим языком, конечно<sup>8</sup>. Если же мы предположим, что длина каждого высказывания бесконечна, мы получим результат, удовлетворительный в математическом отношении, но совершенно неосуществимый на практике. Поэтому заслуживает внимания лишь тот вариант, согласно которому длина предложений в любом языке конечна, но произвольна. Этот вариант развивается, в частности, Н. Хомским в его теории порождающих грамматик.

Как известно, Хомский ищет наиболее адекватный вариант грамматики, «которая при помощи конечного набора средств способна породить бесконечное число предложений»<sup>9</sup>. Такое устройство грамматики отражает следующее представление Хомского о свойствах языка. Согласно Хомскому, каждое предложение, порожденное языком, состоит из ограниченного числа элементов и имеет конечную длину<sup>10</sup>. Но длина предложений в их совокупности не ограничена: ни в одном языке не существует какого-либо единого предела, устанавливающего максималь-

<sup>6</sup> Р. В. Пазухин, О месте языка в семиологической классификации, ВЯ, 1968, 3, стр. 62—63.

<sup>7</sup> Иногда подобные утверждения встречаются в работах общетеоретического характера: T. M i l e w s k i, Językoznawstwo, Warszawa, 1965, стр. 18; И. И. Ревзин, Метод моделирования и типология славянских языков, М., 1967, стр. 36; M. o u l o u d, Signification, langage et structure, «Revue philosophique de la France et de l'étranger», XCI, 3, 1966, стр. 284, и др.

<sup>8</sup> Это число не может превосходить предела, вычисленного по формуле

$$\Phi_m^{(k, v)} = \sum_{i=k}^v \Phi_m^{(i)} = m^k \frac{m^{v-k+1}}{m-1},$$

где  $m$  — число слов какого-либо данного языка,  $k$  и  $v$  — соответственно наименьшее ( $k=1$ ) и максимальное число слов, допустимое для высказываний данного языка (ср.: E. N e t t o, Lehrbuch der Combinatorik, Leipzig, 1927, § 21).

<sup>9</sup> Н. Хомский, Синтаксические структуры, сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 429; е г о ж е, Логические основы лингвистической теории, сб. «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 467, и др.

<sup>10</sup> Н. Хомский, Синтаксические структуры..., стр. 416.

ную длину предложений<sup>11</sup>. По этой причине список предложений, порождаемых языком, следует рассматривать как бесконечный. Возможность произвольно увеличивать длину предложений объясняется, по Хомскому, участием так называемых рекурсивных механизмов<sup>12</sup>. Это — формальные преобразования, каждое из которых может неограниченно предлагаться к исходным синтаксическим структурам, порождая модели все более сложных предложений<sup>13</sup>.

Данная схема обнаруживает достаточную непротиворечивость, но она не может рассматриваться как модель языка. Скорее, ее можно рассматривать как модель, которая имеет целью отобразить свойства отнюдь не всей языковой системы, но лишь свойства механизма фразообразования. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что Хомский говорит исключительно о порождении предложений (sentences) и интересуется исключительно способностью языка порождать бесконечное число отличных друг от друга синтаксических структур. Как можно заметить, эта цель не совпадает с той, которая сформулирована во введении к настоящей статье. Дело в том, что идея универсального кода предполагает порождение с о о б щ е н и й и концентрирует основное внимание на том обстоятельстве, что порожденные языком высказывания способны содержать в себе бесконечно разнообразную в качественном отношении семантическую информацию. Это два различных подхода к языку, которые приводят к построению двух различных моделей. И обе эти модели отнюдь не равноценны.

В этом можно убедиться из следующего рассуждения. Способность порождать бесконечное число формальных структур присуща не только языку, но и всем комбинаторным системам, которые образуют комбинации элементов неравномерно ограниченной длины. Такими системами, в частности, являются придуманные Хомским экспериментальные «языки», которые включают в себя элементы *a* и *b* и способны порождать из этих элементов комбинации произвольной длины<sup>14</sup>. Эти экспериментальные «языки» обладают, таким образом, тем же свойством, что и человеческий язык (в представлении Н. Хомского): они способны порождать бесконечное число «предложений»<sup>15</sup>. Но можно ли, основываясь исключительно на этом свойстве, утверждать, что данные «языки» могут функционировать (подобно языку) как универсальные коды? Разумеется, такое утверждение невозможно.

Допустим, например, что элементы *a* и *b* указанных выше «языков» являются знаками (или конечными множествами знаков), которые сопоставлены с теми или иными разновидностями явлений действительности. Нетрудно догадаться, что все порождаемые этими «языками» предложения будут заключать в себе бесконечные синтаксические вариации, относящиеся исключительно к вышеупомянутым явлениям действительности. Иными словами, в этом случае данные «языки» обнаружат неспособность сообщать о событиях, которые не имеют никакого отношения к значениям их знаков. По этой причине данные «языки» следует считать кодами с ограниченной выразительностью (§ 1).

Очевидно, что вышерассмотренные «языки» можно было бы превратить в коды, способные обозначить л ю б ы е события, лишь в том случае, если бы в них включили некоторую систему семантических процедур, которые

<sup>11</sup> Там же, стр. 428.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Там же, стр. 453; Н. Х о м с к и й, Объяснительные модели в лингвистике, об. «Математическая логика и ее применения», М., 1965, стр. 259.

<sup>14</sup> Н. Х о м с к и й, Синтаксические структуры..., стр. 426.

<sup>15</sup> Ср. там же, стр. 416.

были бы способны неограниченно преобразовывать значения знаков. О природе этих процедур судить пока преждевременно, но можно утверждать, что в результате их применения корреспонденты, пользующиеся данным кодом, должны получить возможность так или иначе преодолеть границы семантической зоны кода (под последней мы будем понимать совокупность явлений действительности, находящихся фиксированное отражение в семантике знаков какого-либо кода). Только код, способный неограниченно расширять свою семантическую зону или дающий корреспондентам возможность неограниченно выходить за пределы этой зоны, может считаться универсальным.

Вышеприведенные рассуждения убеждают в том, что задача установить природу механизма, позволяющего носителям языка из ограниченного числа знаков создавать неограниченное число высказываний (см. введение), не может быть сведена к объяснению механизма, порождающего неограниченное число синтаксических структур. Указанная задача во многом, если не во всем, равнозначна задаче установить природу тех семантических механизмов, которые позволяют носителям языка преобразовывать наличные значения языковых знаков таким образом, чтобы получать обозначение новых событий и объектов, которые в этих значениях не предусмотрены.

Теория порождающих грамматик Хомского ограничивается рассмотрением различных преобразований над цепочками «формативов»<sup>16</sup>, т. е. символов, за которыми стоят категории слов того или иного конкретного языка<sup>17</sup>. Хомский, правда, не исключает возможности того, что некоторые из этих категорий могут быть «продуктивными и незамкнутыми»<sup>18</sup>, и, таким образом, учитывает в каком-то отношении возможность расширения семантической зоны языка. Но это явление, как и все семантические закономерности порождения предложений, остается вне его теории<sup>19</sup>. Теория Хомского имеет ограниченное назначение: она фактически преследует цель описать синтаксические механизмы языка и их участие в речевой деятельности. Задача моделировать неограниченное производство сообщений в языке, таким образом, в намерения Хомского не входит<sup>20</sup>. Из этого следует, что теория Хомского отнюдь не свидетельствует о возможности решить проблему языкового универсализма путем построения комбинаторной модели языка. Наоборот, она, скорее, подтверждает невозможность такого решения (по крайней мере в данном его варианте).

3. В общеизвестной теории «двойного членения языка» А. Мартине содержится еще один вариант «комбинаторного» решения проблемы языкового универсализма. С точки зрения Мартине, язык можно рассматривать как конечное множество различительных единиц (фонем) и открытое множество значащих единиц («монем»), которые в формальном отношении представляют собой фонемные комбинации<sup>21</sup>. Таким образом, с точки зре-

<sup>16</sup> Н. Хомский, *Логические основы...*, стр. 467.

<sup>17</sup> Там же, стр. 514.

<sup>18</sup> Н. Хомский, *Синтаксические структуры...*, стр. 517 — 518.

<sup>19</sup> Там же, стр. 504 и сл.

<sup>20</sup> На основе своей модели Хомский намеревается прийти к объяснению способности носителей языка создавать и понимать новые предложения (см. § 10), а также к описанию врожденных умственных способностей ребенка («Объяснительные модели...», стр. 247 и сл., стр. 254 и др.). Эти планы не могут не озадачить, так как решение только первой из этих проблем равнозначно решению проблемы языкового универсализма (ср. § 9). Все это заставляет подозревать, что Хомский не отдает себе отчета в различии между неограниченным порождением предложений и сообщений (о котором говорилось в данном параграфе) и считает, что неограниченная способность построения синтаксических конструкций является исчерпывающей характеристикой языка (ср. примеч. 15).

<sup>21</sup> А. Мартине, *Основы общей лингвистики*, сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 383.

ния Мартине, высказывания образуются путем комбинирования неограниченного числа элементов («монем»). Отсюда — возможность получить неограниченное число высказываний и выразить неограниченное разнообразие сюжетов<sup>22</sup>.

Гипотеза Мартине не учитывает следующих важных обстоятельств. Возникновение новых фонемных комбинаций, ведущее к появлению новых «монем», представляет собой спонтанное явление, которое либо бывает следствием различных сдвигов в системе языка, либо вызывается внешними факторами (заимствования из других языков). Оно не зависит от намерений рядового носителя языка и навязывается ему в качестве языковой нормы<sup>23</sup>. Но способность собеседников создавать неограниченное разнообразие высказываний предполагает, что языковые средства, служащие этой цели, находятся всецело в распоряжении каждого рядового носителя языка, которыми он может пользоваться в любой момент и в любой ситуации по своему усмотрению. Разумеется, было бы странным предполагать, что для этой цели носители языка могут использовать производство новых «монем», которое в таком случае было бы полностью произвольным и неограниченным.

Следует заметить, что гипотеза Мартине неудачна и с точки зрения комбинаторики. Как мы уже знаем, производительность комбинаторной системы во многом зависит от того, установлен ли какой-либо общий предел для длины порождаемых комбинаций (см. § 2). Если, имея в виду порождение предложений, лингвисты справедливо отвечают на этот вопрос отрицательно (§ 2), то в случае, когда порождаемыми комбинациями являются «монемы» (практически это морфемы в наиболее широком понимании этого слова)<sup>24</sup>, такой ответ дать невозможно. Ибо мы не можем указать на самое длинное предложение данного языка, но в любом языке мы можем выделить «монему», которая обладает наибольшей длиной. Это обстоятельство заставляет предполагать, что для каждого языка можно эмпирическим путем установить статистические пределы, которые ограничивают длину «монем».

Но если число фонем в каждом языке конечно, и если конечна длина «монем», то общее число последних может быть только конечным. Оно не может превосходить предела  $\Phi_m^{(k,v)}$ , вычисленного по указанной выше формуле<sup>25</sup>.

Разумеется, в языке реализуются далеко не все возможные комбинации (это означает, что число «монем» в любом языке всегда меньше  $\Phi_m^{(k,v)}$ )<sup>26</sup>. Поэтому для носителей языка всегда сохраняется теоретическая возможность создавать новые «монемы» путем образования новых (т. е. еще не реализованных) комбинаций фонем. По всей видимости, именно это обстоятельство и побуждает Мартине и его последователей считать множество монем «открытым». Это впечатление ложно потому, что такое производство «монем» имеет свой предел: если в каком-либо языке удалось бы использовать для производства «монем» все мыслимые сочетания фонем (учитывая

<sup>22</sup> Там же; A. Martinet, *Arbitraire linguistique et double articulation*, CFS, XV, 1957, стр. 109; А. А. Ветров, *Семиотика и ее основные проблемы*, М., 1968, стр. 89. Как можно видеть, допущение А. Мартине об «открытом списке» монем делает его теорию формально независимой от принципа неравномерной ограниченности (длины предложений), который обязателен в теории Н. Хомского (см. § 2).

<sup>23</sup> Все немногочисленные исключения из этого правила (например, слово *gas*) известны всем лингвистам и давно внесены в хрестоматию.

<sup>24</sup> Ср.: А. Мартине, *Основы общей лингвистики...*, стр. 379.

<sup>25</sup> См. примеч. 8. В данном случае символом придается следующий смысл:  $m$  — число фонем в данном языке,  $k (= 1)$  — наименьшее число фонем в составе «монемы»,  $v$  — число фонем в наиболее длинной «монеме» или предел длины «монем» данного языка, установленный каким-либо другим способом.

<sup>26</sup> Ср.: L. J. Prieto, *Messages et signaux*, Paris, 1966, стр. 110.

равномерную ограниченность «монем» в отношении их длины), общее число «монем» этого языка не превзошло бы предела  $\Phi_m^{(k,v)}$  (см. выше).

Из вышесказанного следует, что наличие в коде «двойного или  $n$ -степенного членения» не способно само по себе сделать этот код универсальным.

4. Необходимо сказать несколько слов и о популярном сопоставлении языка с математической символикой. Многие видят в этом сопоставлении разгадку универсальности языка<sup>27</sup>. Так, например, К. Бюлер ссылается на десятичную систему счисления, которая, как известно, располагает всего десятью символами, но способна с помощью простейших синтаксических (комбинаторных) правил обозначить любую величину из бесконечного ряда чисел<sup>28</sup>.

Параллель Бюлера ошибочна во многих отношениях и прежде всего потому, что математическая символика не может считаться универсальным выразительным средством в полном смысле этого слова. Она отражает лишь количественную сторону событий и потому способна представить бесконечность действительности только в одном из ее проявлений: как количественную бесконечность<sup>29</sup>. По этой причине математическую символику нужно рассматривать как вспомогательный код, который сам по себе не способен порождать исчерпывающих сообщений о каком-либо событии. Для того чтобы математическое выражение превратилось в содержательное сообщение, необходимо, чтобы оно было дополнено информацией, которая характеризует это событие с качественной стороны<sup>30</sup>. Универсальность же языка проявляется в том, что он способен сам по себе, т. е. не прибегая к другим выразительным средствам, описывать всевозможные события как с качественной, так и количественной стороны (см. примеч. 1.).

По этой причине математическую символику и все коды, построенные на основе количественной бесконечности, следует относить к особой разновидности ограниченных кодов<sup>31</sup>.

5. Из содержания предыдущих параграфов можно сделать вывод о том, что использование комбинаторных методов для решения проблемы языкового универсализма неэффективно. По всей видимости, это объясняется следующими обстоятельствами. Известно, что язык, как все семиологические объекты, имеет двойственную формально-семантическую природу. Комбинаторный подход вынуждает абстрагироваться от этой двойственности и рассматривать язык как множество однородных формальных элементов. Такой методологический прием применим по отношению к некоторым кодам, между формальной и семантической стороной которых можно установить однозначные соответствия. Но язык не обнаруживает подобных соответствий между планами выражения и содержания, и потому исключительное рассмотрение отношений между языковыми о з н а ч а ю щ и м и не дает

<sup>27</sup> Можно предполагать, в частности, что наблюдения над «языком» математической логики послужили источником учения Хомского о рекурсивных механизмах в языке.

<sup>28</sup> К. В ü h l e r, Sprachtheorie, Jena, 1934, стр. 76.

<sup>29</sup> Ср.: Г. Н а а н, указ. соч., стр. 18, 39. В процессах коммуникации количественная и качественная бесконечность Действительности проявляются следующим образом. С одной стороны, в любой момент адресант может столкнуться с необходимостью сообщить адресату о любом (из бесконечного числового ряда) количестве (порядковом номере и т. п.) объектов и событий. С другой стороны, в любой момент перед адресантом может возникнуть необходимость сообщить о любых объектах (событиях), принадлежащих к любому роду и виду из бесконечного разнообразия родов и видов. Ясно, что действительно универсальное средство общения должно обладать способностью сообщать о любых количествах (количественных характеристиках) любых явлений.

<sup>30</sup> Тот факт, что математические выражения выступают в математических трактатах или вычислениях в «чистом виде», не должен вводить в заблуждение. В этих случаях формулам предшествует условие между автором и читателями о том, что формулы надо понимать обобщенно, либо соотносить их с теми или иными объектами.

<sup>31</sup> Р. В. П а з у х и н, указ. соч., стр. 62, примеч. 19.

достаточно полного представления о реальных отношениях между языковыми знаками (т. е. словами). Так, при формальном подходе неограниченная выразительность языка неминуемо получает истолкование как способности языка порождать бесконечное число линейных последовательностей слов (ср. § 2). В то же время, принимая во внимание и форму, и семантику высказываний, следует говорить о способности языка порождать такое количество вышеупомянутых последовательностей, которое достаточно для того, чтобы выразить бесконечное разнообразие сюжетов (при этом отнюдь не очевидно, что число таких последовательностей непременно должно быть бесконечным). Отсюда следует, что решающим фактором языкового универсализма является семантическая, но не формальная неограниченность языка. По этой причине попытки объяснить универсальную выразительность языка при помощи комбинаторной методики не имеют перспективы.

В следующих параграфах мы рассматриваем гипотезы универсальности языка, которые учитывают ее преимущественно семантический характер.

6. Наиболее тривиальным представлением семантической неограниченности языка было бы допущение о том, что язык априорно обладает неограниченной семантической зоной. Это означало бы, что язык рассматривается как актуально-бесконечное множество, т. е. как код, содержащий в себе бесконечное число знаков. Такое предположение нереально потому, что создание, антиципация<sup>32</sup> и запоминание такого кода — задача, которая превосходит человеческие возможности. В таком случае язык следовало бы рассматривать как независимый от человеческого разума сверхъестественный или природный объект. По этой причине гипотезы подобного рода практически отсутствуют. Можно сослаться, пожалуй, лишь на утверждение Н. Д. Андреева, который полагает, что язык, так же как и действительность (?), представляет собой «взаимную и потому нереализуемую до конца систему», в составе которой, как и в самой действительности, «неограниченное (?) число подсистем, каждая из которых конечна»<sup>33</sup>.

Учитывая очевидную несостоятельность предположения о том, что неограниченность семантической зоны языка имеет актуальный характер, многие лингвисты склоняются к мнениям (см. ниже), которые скрыто или явно основаны на предположении о том, что семантическая зона языка способна по мере надобности неограниченно расширяться (ср. § 2).

7. Согласно очень распространенной точке зрения, язык содержит в себе ограниченное число знаков (с ограниченным числом значений), но он способен приобретать универсальность в процессе употребления. Эта гипотеза в общем соответствует классической сосюррианской концепции языка и речи: «Фонемы, морфемы, слова (лексемы) могут быть пересчитаны. Их число конечно. Число предложений бесконечно... Предложение — образование неопределенное, неограниченно варьирующееся; это сама жизнь языка в действии. С предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир. В мир языка как средства общения, выражением которого является сама речь... В самом деле, это два различных мира... С одной стороны, существует язык как совокупность формальных знаков, выделяемых посредством точных и строгих процедур, распределенных по классам, комбинируемых в структуры и системы, с другой — проявление языка в живом общении. Предложение принадлежит речи»<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Антиципация — процесс оповещения корреспондентов о составе кода и о значениях знаков. Ср.: Р. В. Пазухин, указ. соч. стр. 58—59.

<sup>33</sup> Н. Д. Андреев, Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении, Л., 1967, стр. 13—14.

<sup>34</sup> Э. Бенвенист, Уровни лингвистического анализа, сб. «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 447—448.

Данный тезис обычно истолковывают тремя различными способами. Их общая черта состоит в том, что они рассматривают универсальную выразительность не как свойство структуры языка, но как свойство процесса общения с помощью языковых средств.

Согласно одному из этих толкований, язык располагает неисчерпаемым дополнительным ресурсом выразительных средств в виде различных элементов неязыкового поведения собеседников, которые практически являются компонентами высказывания (нефонологические модуляции голоса, мимика, жестикация и т. п.). Очевидная неудовлетворительность этого объяснения связана с тем, что оно предполагает непрерывное участие неязыковых выразительных средств в языковых высказываниях. Между тем, признавая язык универсальным кодом, мы тем самым признаем, что он обладает способностью выражать любой сюжет, не прибегая к помощи иных средств общения (см. примеч. 1). И эта способность иногда реализуется на практике (чаще всего — в письменной речи).

Иногда утверждают, что языковые высказывания способны неограниченно менять свой смысл под влиянием ситуативного окружения. Если это так, то собеседники, сочетая определенным образом ограниченное число языковых сообщений с неограниченно варьирующимися ситуациями, способны бесконечно модифицировать их смысл. Недостаток этой гипотезы в том, что с формальной точки зрения она распространяема на любой ограниченный код. Дело в том, что теоретически ничто не мешает корреспондентам видоизменять смысл неязыковых сообщений, сочетая их с неограниченно разнообразными ситуациями. Таким образом, если бы данная гипотеза оказалась справедливой, любой ограниченный код можно было бы считать универсальным (по крайней мере, теоретически).

Согласно другой возможной точке зрения, неограниченная выразительность языковых высказываний обеспечивается взаимодействием между значениями слов в тексте. При этом часто происходит выход за пределы семантической зоны языка: например, если бы в русском языке отсутствовало слово со значением «писатель», это понятие можно было бы выразить фразой «человек, который пишет книги» и т. п.

Данная закономерность, предполагающая возможность называть события и объекты, не предусмотренные в языке, при помощи комбинации слов, из которых ни одно само по себе этого события (объекта) не называет, заслуживает большого внимания. Однако эта закономерность не объясняет универсальности языка потому, что сама нуждается в объяснении. Она сама, по всей видимости, является отражением некоторых семантических особенностей, присущих языковому коду. Как бы то ни было, нам пока остаются неизвестными семиологический механизм этой закономерности и границы ее действия.

8. Очень часто язык рассматривается как потенциально-бесконечный код, т. е. как знаковая система, знаковой репертуар которой способен неограниченно возрастать (изменяться). В соответствии с этим к языку стал применяться термин «открытая система»<sup>35</sup>.

Данная точка зрения учитывает формальную сторону этого вопроса (с помощью элементов, неограниченно возрастающих в своем числе, можно построить неограниченное число комбинаций) и согласуется с наблюдениями над развитием конкретных языков. Однако гипотеза языковой «открытой системы» порождает наряду с тем существенную трудность, которую она пока не способна объяснить. Она оставляет необъясненным вопрос,

<sup>35</sup> К. A j d u k i e w i c z, *Język i poznanie*, II, Warszawa, 1965, стр. 176; C h. F. H o s k e t, *The problem of universals in language*, сб. «Universals of language», Cambridge (Mass.), 1963, стр. 9; Г. С. К л ы ч к о в, К классификации знаковых систем, сб. «Семиотика и восточные языки», М., 1967, стр. 63 и др.

почему неограниченное знакопроизводство не ведет к нарушению взаимопонимания между собеседниками. Ведь носители языка лишь в исключительных случаях располагают возможностью предупредить друг друга заранее о значении вновь образованных знаков (не говоря уж о том, что они не могут запомнить или антиципировать «всего» разнообразия высказываний).

9. Первая попытка объяснить удивительную способность носителей языка понимать смысл впервые встреченных слов и предложений была принята еще до того, как возник термин «открытая система». Она связана с именем В. Гумбольдта, который, по-видимому, был первым, кто заметил теоретические трудности, вытекающие из признания языка неограниченным средством общения и первым попытался их преодолеть<sup>36</sup>.

Итак с точки зрения Гумбольдта, «язык, как и сам человек, представляет собой нечто бесконечное, которое постоянно развивается во времени»<sup>37</sup>. Но языковые изменения (которые, разумеется, осуществляются независимо друг от друга в индивидуальной речи отдельных носителей языка), не нарушают внутреннего единства этого языка и не приводят к тому, что этот язык теряет способность служить эффективным средством общения всем представителям данного народа. Гумбольдт объясняет этот факт тем, что все представители одного и того же народа обладают идентичной «языковой способностью» (Sprachkraft). Последняя позволяет им независимо друг от друга сходным образом строить высказывания и, следовательно, избегать взаимного непонимания даже в тех случаях, когда в речи употребляются вновь созданные слова и обороты, которые еще не встречались в речевом опыте у собеседников<sup>38</sup>. Аналогичный характер «языковой способности» у соплеменников происходит из того факта, что они наследуют от своих предков, наряду с «языковым материалом» (слова, морфемы, словосочетания и пр.), также и «языковую форму», организующую «языковый материал» в единый комплекс. Под последней нужно понимать характерный и единый для данного народа принцип использования «языкового материала» для выражения мысли<sup>39</sup>. «Языковая форма» усваивается с младенческого возраста<sup>40</sup> и предопределяет особенное лицо данного языка в сравнении с другими<sup>41</sup>. Природа и состав «языковой формы» остаются невыясненными. Гумбольдт ограничивается замечанием о том, что она в основном определяется характером народа, его особенным способом восприятия действительности<sup>42</sup>.

Как можно видеть, Гумбольдт, по сути дела, не предлагает какого-либо удовлетворительного объяснения неограниченности языка. Он лишь «открывает» эту проблему и указывает на изучение «языковой способности» как на путь, который может привести к ее решению.

10. Гумбольдтовскую идею «языковой способности» воспринял и приспособил для своих целей (ср. § 2) Н. Хомский. Хомский утверждает, что перед современными лингвистами стоит задача установить, в чем заключается, как реализуется и приобретает способность человека «понимать огромное число предложений, которые он никогда не слышал и не произно-

<sup>36</sup> Эта заслуга Гумбольдта часто остается незамеченной, так как лингвистов в его учении привлекают обычно иные идеи.

<sup>37</sup> W. v o n H u m b o l d t, Ueber die Verschiedenheit des menschliches Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts, в его кн.: «Werke», III, Stuttgart, 1963, стр. 568.

<sup>38</sup> Там же, стр. 430.

<sup>39</sup> Там же, стр. 419—420.

<sup>40</sup> Там же, стр. 431.

<sup>41</sup> Там же, стр. 420, 422—425.

<sup>42</sup> Там же, стр. 432.

сил, а также... создавать в соответствии с ситуацией новые предложения, в свою очередь понятные другим носителям языка»<sup>43</sup>.

Как можно судить, для решения этой задачи Хомский намерен установить репертуар некоторых общих всем человеческим языкам фразообразовательных принципов<sup>44</sup>, в которых, по его мнению, непосредственно проявляются мыслительные способности человека<sup>45</sup>. Хомский полагает, что умение совершать элементарные операции фразообразования (и мышления) наследуется человеком биологически как своеобразный инстинкт<sup>46</sup>.

Мы не будем касаться содержания данной программы (которая, как можно видеть, несколько напоминает попытку бихевиористов объяснить все виды психической деятельности на основе примитивных врожденных психических актов). Наша обязанность состоит в том, чтобы привлечь внимание к тому факту, что исследования «языковой способности», которые планирует Хомский, не имеют непосредственного отношения к проблеме языкового универсализма.

Как известно, вывод о «языковой способности» Хомский предполагает получить из наблюдений над порождающими грамматиками. Последние, по замыслу Хомского, описывают порождение «всех грамматически возможных высказываний»<sup>47</sup> и не учитывают того, насколько разнообразно в семантическом отношении содержание этих высказываний (§ 2). Несомненно, это слишком узкая база для создания теории «языковой способности». Этим путем можно прийти к такой модели «языковой способности», которая отражает лишь умение носителей языка строить и анализировать п р а в и л ь н ы е синтаксические конструкции. Подобное умение, по всей видимости, каким-то образом связано с навыком носителей языка выражать с помощью языковых средств любые сюжеты, но оно не может с этим навыком отождествляться (§ 2). Какова бы ни была природа этого навыка, очевидно, что он должен изучаться иными методами, чем наблюдения над грамматическими трансформациями.

11. Л. Ельмслев также дает себе отчет в том, что язык способен породить неограниченное число слов<sup>48</sup>. При этом он ссылается на возможность описания и предсказания «любого возможного текста», а также на лингвистическую теорию, которая распространяема «на еще не существующие тексты» и т. п.<sup>49</sup>.

Поскольку, согласно принципам глоссематики, лингвистическая теория рассматривает язык как «имманентную, непротиворечивую и специфическую структуру» и опирается на нечто «постоянное в пределах языка, а не вне его»<sup>50</sup>, вышеприведенный факт следует объяснить тем, что все будущие высказывания данного языка содержатся в «запрограммированном виде» в вышеупомянутой языковой структуре<sup>51</sup>. Как можно видеть, это решение проблемы языковой универсальности содержит в неявном виде идею «врожденной языковой способности». Но у Ельмслева мы не встречаем разъяс-

<sup>43</sup> Н. Хомский, Дж. Миллер, Введение в формальный анализ естественных языков, «Кибернетический сборник», Новая серия, I, М., 1965, стр. 229.

<sup>44</sup> Н. Хомский, Синтаксические структуры..., стр. 457.

<sup>45</sup> Ср.: Н. Хомский, Логические основы..., стр. 568; е г о ж е, Объяснительные модели..., стр. 247 и сл.

<sup>46</sup> N. Chomsky, Recent contributions to the theory of innate ideas, «Synthese», XII, 1, 1967, стр. 10; Н. Хомский, Объяснительные модели..., стр. 246, примеч. 1.

<sup>47</sup> Н. Хомский, Синтаксические структуры..., стр. 455.

<sup>48</sup> Л. Ельмслев, Прологомены к теории языка, сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 301, 305, 364.

<sup>49</sup> Там же, стр. 277.

<sup>50</sup> Там же, стр. 279.

<sup>51</sup> Ср. там же, стр. 298.

нений по поводу того, в чем состоит природа «порождающего механизма» языка, и того, как он передается от человека человеку<sup>52</sup>.

12. Ознакомление с тем, как лингвисты представляют себе природу языкового универсализма (см. предыдущие параграфы), убеждает не только в отсутствии убедительного объяснения этой особенности языка. Становится ясным, что в большинстве случаев к такому объяснению пытаются прийти, исследуя частные и внешние проявления неограниченной выразительности языка (например, возможность численного возрастания языкового материала, различные формальные и семантические преобразования языковых высказываний и т. п.). При этом, к сожалению, остается незамеченным гносеологическое содержание проблемы языкового универсализма, которое предопределяет решение как всей этой проблемы, так и частных, с ней связанных, вопросов.

Для того чтобы это обстоятельство сделать очевидным, введем понятие экстралингвистического (внекодового) и языкового (кодового) опыта. Внекодовый опыт заключается в знании свойств объектов и закономерностей окружающего нас мира. Языковой опыт включает в себя знание формы, содержания знаков, правил их соединения и преобразования и т. п. Различие между этими двумя разновидностями опыта можно продемонстрировать на следующем примере: русский и англичанин в равной степени знают, что такое молоток и как им пользоваться, но русскому может быть неизвестно, что этот инструмент может быть назван *hammer* (мн. число *hammers*), а англичанин может не знать слова *молоток* (мн. число *молотки*) и т. п. (У представителей разных национальностей экстралингвистический опыт чаще всего совпадает, а языковой опыт обычно не совпадает.)

Известно, что внеязыковой опыт народов может неограниченно возрастать (изменяться), и что языковой опыт каждого народа способен неограниченно отражать эти изменения. При этом носители языка находят для новых элементов экстралингвистического опыта соответствующие выражения в своем языковом опыте, который необходимо ограничен и который заведомо не содержит в себе готового обозначения для этих впервые наблюдаемых событий. И этот выбор не может считаться случайным потому, что вновь образованные выражения, как правило, понятны другим носителям данного языка. Таким образом, перед нами встает необходимость объяснить, чем руководствуются носители языка при выборе языкового материала для конструирования нового названия, нового (в их опыте) высказывания? Каким образом им удастся перекидывать мост от наличного языкового опыта к непредвиденному будущему экстралингвистическому опыту?

Некоторые из тех точек зрения, которые мы рассмотрели выше, полностью игнорируют этот аспект языковой универсальности. В основе же других гипотез лежит предположение о том, что в языковом опыте предусмотрены все будущие высказывания, а внеязыковой опыт выступает лишь как внешний повод, стимул, вызывающий к жизни соответствующий данному случаю элемент языкового опыта (заблаговременно заготовленный и хранящийся в памяти носителя языка). Согласно этому гумбольдтианскому принципу, которому следует Хомский, а также Ельмслев и другие создатели теорий «имманентной» языковой структуры, «язык во всем своем объеме заключен в каждом человеке; ... в каждом человеке заложено... регулируемое стремление как бы постепенно извлекать из себя весь язык и понимать извлеченное всякий раз, когда этого требуют внешние и внутренние побуждения»<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> Ср. там же, стр. 364.

<sup>53</sup> Ср.: Н. Хомский, *Логические основы...*, стр. 475.

Такой подход является, с точки зрения лингвиста, наиболее удобным. Он позволяет ограничиться рассмотрением только языковых (и даже только формальных) отношений и игнорировать экстралингвистические факторы речевой деятельности. Однако такой подход теоретически несостоятелен и заключает в себе известный гносеологический парадокс. Ибо предположение о том, что в языковом опыте индивида (народа) предусмотрены все будущие случаи употребления языка, ведет к признанию того факта, что между будущим языковым опытом индивида (народа) и их будущим экстралингвистическим опытом априорно установлены определенные (общие всем носителям данного языка) семантические отношения. Мы приходим, таким образом, к необходимости признать тот факт, что в каждом языке в каждый данный момент его существования отражено более или менее полно знание, которое еще не известно носителям языка. Иными словами, мы вынуждены согласиться с допущением о том, что язык «знает» об окружающем мире больше, чем об этом когда-либо было известно самим носителям языка в их совокупности. Разумеется, эта странная «осведомленность» языка может быть объяснена только иррациональным способом.

Исследователь, который ставит перед собой задачу объяснить универсальный характер языка, не прибегая к допущениям иррационального и мистического характера, должен отказаться от заманчивого предположения о том, что ресурсы неограниченной выразительности языка содержатся исключительно в языковом опыте людей. Языковой опыт не может предусматривать будущего экстралингвистического опыта носителей языка, и потому в нем не могут содержаться «будущие высказывания», «еще не созданные тексты» и т. п. В языковом опыте заключаются лишь некоторые данные о формальной структуре возможных высказываний, а также некоторые общие принципы, позволяющие привлекать неограниченный экстралингвистический опыт для расширения языкового опыта.

\*

Обычно лингвисты не придают большого значения проблеме универсальности языка. Принято полагать, что эта проблема принадлежит к кругу отвлеченнейших, сугубо «академических» проблем, решение которой не способно существенно повлиять на ход конкретных лингвистических исследований<sup>54</sup>. Такое мнение столь же ошибочно, как и предположение о том, что на географической карте можно точно отобразить участок земной поверхности, не принимая во внимание шарообразности Земли. Универсальность языка является главным отличительным свойством языка, как семиологического объекта, и было бы странным полагать, что лингвистическая теория, цель которой — создать адекватное описание языковой структуры, может не учитывать глобальных свойств этой структуры (которые, по всей видимости, находят отражение в устройстве как всей этой структуры, так и ее отдельных частей). Подобно тому, как географы вынуждены были привлечь астрономические данные о свойствах Земли как небесного тела, лингвисты нуждаются (и сейчас больше, чем когда-либо) в том, чтобы семиология представила в их распоряжение данные о том, что представляет собой язык как определенный тип средств общения. Такая консультация не только позволит избежать неточностей и искажений в частных лингвистических исследованиях, но позволит также сэкономить колоссальный резерв сил и времени, которые мы тратим на создание и развитие бесперспективных общих и частных лингвистических теорий, исходящих из неверного понимания природы языка.

<sup>54</sup> В настоящее время положение несколько изменилось в лучшую сторону после того, как Н. Хомский обратил внимание лингвистов на то, что «теория языка, пренебрегающая его „творческим“ аспектом, представляет лишь побочный интерес».

А. А. ЮЛДАШЕВ

## К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТЮРКСКИХ СЛОЖНЫХ СЛОВ

Сложные слова, которыми изобилуют тюркские языки, особенно современная их терминология, до сих пор не получили удовлетворительной разработки ни в словарях, ни в грамматических описаниях. В тюркско-русских общих словарях, как и в тюркских толковых словарях, они по сравнению с другими лексическими единицами представлены в целом очень мало. К тому же сложные слова размещены (за небольшим исключением) в словарях на началах, крайне затрудняющих их описание и возможность понять, является ли приводимое образование самостоятельной лексической единицей или это — словосочетание, предлагаемое в качестве иллюстрации<sup>1</sup>. Преобладающее большинство сложных слов распределено внутри словарной статьи одного из своих компонентов (преимущественно по первому компоненту) вперемешку с идиоматикой и иллюстративным материалом, который сплошь и рядом состоит из словосочетаний, внешне сходных со сложными словами и вдобавок набранных тем же шрифтом, что и они; например, татар. *чәчә бармак* «мизинец» дано в словарной статье *бармак* в одном ряду со словосочетаниями вроде *бармак буены* «сустав пальца». Часть сложных слов приводится под первым своим компонентом, часть — под вторым: например, татар. *кызыл якут* «рубин» значится в словарной статье *кызыл* «красный» в одном ряду со словосочетанием *кызыл байрак* «красное знамя», а *суңыр эчәк* «слепая кишка; аппендикс» — в словарной статье *эчәк* «кишка» рядом со словосочетанием *эчәк авырулары* «кишечные заболевания»<sup>2</sup>. Многие сложные слова на тех же началах располагаются за знаком ромба в конце словарной статьи, где обычно размещаются собственно фразеологизмы и идиоматика. Так, например, татар. *баш жода* «сват» находится в словарной статье своего первого компонента на правах собственно фразеологии вроде *баш бету* «поплатиться головой; погибнуть» и идиоматики типа *профессор башы белә* «будучи профессором», в то время как *таш баш* «пескарь» со сходным строением приводится по второму компоненту в соседстве с фразеологией типа *башны ташка ору (бәру)* «биться головой об стену». За знаком ромба оказываются иногда слова с тем же строением, что и лексические единицы, находящиеся внутри словарной статьи; ср., например, принцип подачи татар. *урман бете* «клещ», *бет уты* бот. «горох мышинный» и *йөзем бете* «филлоксера (паразит)»<sup>3</sup>. Многие сложные слова приводят-

<sup>1</sup> Исключение составляют сложные слова, компоненты которых пишутся слитно. Они охвачены в общем более или менее полно и размещены на общих основаниях в своем алфавитном месте. Самостоятельными словарными статьями приводятся вне зависимости от своего написания и остальные сложные слова в «Турецко-русском словаре» Д. А. Магазаника (М., 1931) и в некоторых других лексикографических источниках. Но все эти исключения не повлияли на укоренившуюся традицию лексикографической разработки этих слов, обрисованную ниже.

<sup>2</sup> «Татарско-русский словарь», М., 1966, стр. 58 (далее — татар.). Соответственно в дальнейшем изложении башк. означает «Башкирско-русский словарь», М., 1958; уйг. — «Уйгурско-русский словарь», Алма-Ата, 1961.

<sup>3</sup> Татар., стр. 69 и 143.

ся дважды: в одном случае — внутри словарной статьи, в другом — за знаком ромба; например, татар. *чэчэк ату* «расцветать; цвести» под первым компонентом дается за знаком ромба, а под вторым — внутри словарной статьи <sup>4</sup>.

В некоторых современных словарях, особенно в «Узбекско-русском словаре» (М., 1959), отчасти и в «Татарско-русском словаре», многие сложные слова замыкают перечень лексических значений одного из своих компонентов; например, в качестве третьего лексического значения татар. *кызыл* приводится его употребление в сложных словах типа *кызыл-кучкыл* «багряно-красный». Перечисленные разнородные приемы подачи сложных слов часто применяются внутри одной и той же словарной статьи; ср., например, принципы размещения татар. *гөберле бака* «жаба», *бака ефәге* «водоросль», *тамак бакасы* «ангина» в словарной статье *бака* «лягушка».

В довершение всего в современных тюркско-русских словарях на правах сложных слов обильно зафиксированы номенклатура вроде татар. *Берләшкән Милләтләр Оешмасы* «Организация Объединенных Наций», структурно организованная как явная синтаксическая единица, и беспорные словосочетания типа азерб. *бирпәрдәли* «одноактный», татар. *кырык градуслы* «сорокаградусный», уйг. *яш акузудиган* «слезоточивый» и даже грамматические формы типа татар. *сикерә-сикерә*, *сикереп-сикереп* «прыгая; вприпрыжку» (деепричастие), *зур-зур* «большие-большие» (интенсив). Все это делает понятие сложного слова крайне расплывчатым и фактически сводит на нет результаты собирания сложных слов из первоисточников и их лексикографической обработки.

Трудно считать удовлетворительным существующее научное осмысление природы тюркского сложного слова, предложенное в общих и специальных грамматических описаниях. Основатель тюркского языкознания В. В. Радлов, судя по косвенным, скудным, но ясным источникам, собственно сложными словами считал единичные интонационно необратимые образования, на стыке компонентов которых произошли значительные фонетические изменения <sup>5</sup>. В своей лексикографической практике он не отрицал и некоторых других типов сложных слов; наряду с фонетически сросшимися композитами вроде *бөгөн* «сегодня», *быыл* «в этом году», *беркөн* «на днях» он выборочно включил в свой словарь изрядное число слов типа *белбаг* «кушак», *биреки* «один-два; несколько», *тарт-перте* «в беспорядке; рассредоточенно», *тап-тас* «намертво», *сыла салар* «главнокомандующий» <sup>6</sup>. Складывается такое впечатление, что Радлов сообразно с господствовавшими в то время воззрениями Г. Пауля на природу сложного слова не признавал словосложения как регулярное явление и всякое сложное слово возводил к синтаксической конструкции <sup>7</sup>.

И хотя ныне благодаря специальным исследованиям, успешно проведенным за последние десятилетия на материале многих современных языков, накоплены уже обширные фактические данные, идущие вразрез с таким пониманием словосложения, оно за редким исключением пронизывает все попытки теоретического осмысления тюркского словосложения. В силу этого спорным продолжает оставаться даже вопрос о правомерности квалификации тюркского сложного слова как категориальной единицы, принципиально отличающейся от словосочетания.

<sup>4</sup> Татар., стр. 44 и 650.

<sup>5</sup> W. W. Radloff, *Phonetik der nördlichen Türkischen Sprachen*, Leipzig, 1882, стр. 37.

<sup>6</sup> В. В. Радлов, *Опыт словаря тюркских наречий...*, СПб., 1893.

<sup>7</sup> W. W. Radloff, *Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Türkischen Sprachen*, «Зап. имп. АН», VIII<sup>e</sup> Ser. по ист.-филол. отд., VII, 7, 1906, стр. 18 и сл.; см. также его грамматические очерки памятников и лексикографическую разработку служебных слов, входящих в состав сложных слов и аналитических форм.

Правда, тюркское сложное слово ныне принято понимать в целом гораздо шире. Но признавая сложное слово за лексическую единицу, грамматисты не связывают его с проблемой словообразования, а рассматривают чаще всего как аномальное явление, частный стихийный процесс изоляции и перерождения соответствующих словосочетаний. В разделе словообразования обычно приводятся только те из них, которые не находят структурного соответствия с живыми словосочетаниями, например, так называемые парные имена и часть глаголов типа башк. *мобилизовать* ит- «мобилизовать»<sup>8</sup>. Постепенно вся система создания сложных слов стала рассматриваться грамматистами как синтаксический способ словообразования<sup>9</sup>. В соответствии с этим отдельные тюркологи ныне отводят ей в грамматическом описании новое место — считают предметом синтаксиса и лишь вскользь упоминают о ней в разделе словосочетаний<sup>10</sup>. А некоторые ученые идут еще дальше, полностью исключая из грамматики и сложные слова и словосложение<sup>11</sup>, — поскольку, с одной стороны, словосложение в современной тюркологии квалифицируется с указанными ограничениями и поскольку, с другой стороны, синтаксисты доказывают, что сложные слова и их образование вовсе не входят в проблематику синтаксиса словосочетаний<sup>12</sup>. Наряду с такой крайностью широко наблюдается признание лишь небольшой группы слож-

<sup>8</sup> См.: Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.—Л., 1948, стр. 74, 179, 212, 224—227.

<sup>9</sup> См.: Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II, 1, М., 1952, стр. 184, 209, 221, 234, 323; Э. В. Севортян, Словообразование в тюркских языках, ИСГТЯ, ч. II, М., 1956, стр. 321, 328; К. М. Мусаев, Грамматика караймского языка, М., 1964, стр. 147, 241; «Языки народов СССР», II, М., 1966, стр. 72, 200, 217, 372, 391 и др.

<sup>10</sup> Э. В. Севортян, Крымско-татарский язык, «Языки народов СССР», II, стр. 252.

<sup>11</sup> См., например: Л. В. Дмитриева, Язык барабинских татар, «Языки народов СССР», II; А. П. Дульзон, Чулымско-тюркский язык, там же. Сложные слова, в том числе и бесспорные их типы, имеющие непосредственное отношение к морфологии, обходят полным молчанием и авторы отдельных специальных трудов, посвященных структурным разновидностям тюркских слов. Так, например, А. М. Щербак в своей работе «О морфологической структуре слов в тюркских языках» (сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.—Л., 1963) не только не упоминает об основах, состоящих из двух корневых морфем, о сложных формах слов, о междометиях и звукоподражательных комплексах, о частичной и полной редуликации и о сочетании аффиксации с другими способами формального выражения, но и сводит всякое слово и его форму либо к корневой морфеме, либо к ее сочетанию с аффиксом или аффиксами (указ. соч., стр. 268). Судя по самой формулировке этого положения, тюркское слово без аффикса вообще не имеет морфологической структуры (там же). Считаая агглютинацию «единственным способом выражения грамматических значений как в древних, так и в современных тюркских языках» (А. М. Щербак, Способы выражения грамматических значений в тюркских языках, ВЯ, 1957, 1, стр. 26), А. М. Щербак неагглютинативную морфологию не признает принципиально. Между тем еще Бетлинг и Радлов совершенно ясно утверждали, а затем другие тюркологи убедительно доказали, что по способам выражения грамматических значений тюркские языки мало чем отличаются от языков других семей и что агглютинация является здесь отнюдь не единственным, а доминирующим способом. Тюркологи давно заметили, что в целях обозначения грамматических значений слова широко используются его синтаксические характеристики, фонологические свойства (в том числе и фонологическое использование средств интонации и имитации), препозитивная морфологизированная редуликация первого слога корневой морфемы, полная редуликация основы в сочетании с аффиксацией и другие комбинации перечисленных средств формального выражения. Заметили и оценили по достоинству широко применяемый аналитический способ выражения грамматических значений и на убедительных примерах показали, что в основе аффиксации во многих случаях лежит этот способ, представляющий собой как бы промежуточный этап в развитии аффиксации из сочетания основы со служебным словом.

<sup>12</sup> М. Б. Балакаев, Основные типы словосочетаний в казахском языке, Алма-Ата, 1957, стр. 15—16.

ных слов, т. е. неполное их изъятие из грамматики<sup>13</sup>. Наблюдается, кроме того, пересмотр трактовки отдельных общепризнанных типов сложных слов<sup>14</sup>. Такому подходу не могло противостоять наблюдаемое в известной мере и ныне широкое понимание сложного слова, поскольку его сторонники раздвинули границы сложного слова за счет свободного сочетания имени с послелогом, глагола с модальным словом и даже за счет сложных грамматических форм «простого» слова<sup>15</sup>.

Распространению синтаксического подхода к сложным словам и словосложению способствует существующее понимание природы служебных слов, участвующих в создании сложных лексем, в частности сложных глаголов. Грамматисты и лексикографы служебным глаголом очень часто считают замыкающий компонент сложного глагола, если он в том же назначении используется в составе других сложных глаголов. В этом случае они неправоммерно приписывают ему вновь образуемое необратимое значение, которое немислимо вне сочетания данного компонента с остальными структурными элементами сложного слова, а также вне сочетания с остальным значением последнего. Признание компонента сложного глагола за служебное слово характерно почти для всех исследований, касающихся тюркских вспомогательных или служебных глаголов, и оно равносильно синтаксическому толкованию сложного слова<sup>16</sup>. Видя это, некоторые тюркологи трактуют служебный глагол двояко: считают его и лексической единицей со своим собственным значением и неотъемлемым элементом сложной формы, органически входящим в ее структуру<sup>17</sup>.

Столь же тщетна попытка примирения традиционных априорных воззрений на природу тюркского словосложения и сложного слова с противоречащими им апостериорными результатами своих собственных изысканий, попытка, которую предпринимают чуть ли не все авторы, занимавшиеся вопросами сложных слов на материале современных тюркских языков. Даже в трудах Р. Бердыева, Б. Мадалиева, М. М. Адиллова, С. Н. Муратова, А. К. Алекперова, Б. О. Орузбаевой, А. А. Тыбыковой, оказавшихся наиболее плодотворными среди этих работ, еще полностью не преодолено влияние синтаксического толкования сложных слов<sup>18</sup>. Из-за этого положительные результаты проводимых

<sup>13</sup> См.: Л. Н. Харитонов, Современный якутский язык, ч. 1, Якутск, 1947 (из всех сложных имен частично описаны лишь так называемые парные слова); Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмах, Грамматика тувинского языка, М., 1961 (сложные имена совсем не упомянуты, а из всех сложных глаголов приведены только внутриглагольные образования, и то отнюдь не в разделе словообразования). В целом, частичным показом сложных слов характеризуются и грамматические описания тюркских языков, предложенные в «*Philologiae turcicae fundamenta*», 1, Wiesbaden, 1959 (например, стр. 671 и сл.).

<sup>14</sup> А. А. Коклянова, Глагольные словосочетания в узбекском языке, «Исследования по синтаксису тюркских языков», М., 1962, стр. 45 и сл.; И. П. Павлов, Выступление на дискуссии, «Вопросы грамматики тюркских языков», Алма-Ата, 1958, стр. 149.

<sup>15</sup> Это ядро всего представлено в работе С. П. Горского «Аналитические и синтетические тенденции в чувашском языке» («Зап. [Чувашского НИИЯЛИ]», 1, Чебоксары, 1941).

<sup>16</sup> Не случайно некоторые тюркологи сходные глаголы считают синтаксическим явлением, или, как они называют, синтаксической формой (см., например: Л. Н. Харитонов, Выступление на дискуссии, «Вопросы грамматики тюркских языков», Алма-Ата, 1958, стр. 57—60).

<sup>17</sup> Так, А. Хаджиев, с одной стороны, утверждает, что служебный глагол в сочетании с формой дееспричастия от определенного круга глаголов несет с собой то или иное значение регулярно, и на этом основании относит его к вспомогательным глаголам, с другой стороны, считает образования, в состав которых входит этот служебный глагол, сложной формой (А. Хожиев, Узбек тилида кўмакчи феъллар, Ташкент, 1966).

<sup>18</sup> С. Н. Муратов, критикуя положение об отсутствии организованного способа создания сложных слов, справедливо утверждает, что большинство сложных слов обра-

исследований в области тюркского словосложения прозвучали неубедительно, они остаются незамеченными, не влияют на явно неудовлетворительную практику осмысления тюркских сложных слов в грамматических описаниях и словарях. Тюркское сложное слово в грамматических описаниях, как и в словарях, по-прежнему продолжает оставаться в лучшем случае освещенным наполовину.

В этом большую роль сыграло положение о том, что «сложные слова не имеют собственных форм, форм словопроизводства с присущим им грамматическим значением и потенциальной возможностью воспроизводства», что «мы не знаем правил образования сложных слов, потому что таких правил в тюркских языках не имеется» и что многочисленные новообразования, которые зафиксированы в общих и отраслевых словарях тюркских языков как самостоятельные лексические единицы, все без исключения представляют собой не что иное, как «живые синтаксические сочетания»<sup>19</sup>.

Приверженцы такой концепции, очевидно, полагают что прежде чем стать полнокровной самостоятельной лексической единицей сложное слово должно бытовать предварительно в виде словосочетания с индикаторным содержанием вроде башк. *тере комош* «живое серебро» и лишь по мере переосмысления своего содержания и преодоления своих синтаксических связей оно может быть преобразовано в необратимое целое вроде башк. *тергемеш* «труть»<sup>20</sup>.

Между тем во всех современных тюркских литературных языках, особенно в младописьменных, только за последние десятилетия появилось множество новых сложных слов, которые все до единого предназначены для обозначения понятий, ранее не освоенных этими языками, и которые с самого начала своего зарождения осознаны и бытуют как лексические единицы-носители этих понятий, а не как словосочетания. Большинство этих новообразований прочно вошло в обиход и вне всякого сомнения считается достоянием стабильного запаса слов данного языка. Прототипами этих слов, созданных, как говорится, прямо на глазах, послужили не словосочетания, а готовые слова с определенным строением и типовым значением. Так, башкирское слово *аң-белем* «просвещение», которое немисливо представить как словосочетание, возникло по структурному образцу ранее созданных слов типа *уйын-колке* «развлечение», *уй-сер* «заветная мечта», *һый-хормэт* «угощение». Принцип подбора производящих основ, их характер, смысловое и интонационное соотношение, форма, местоположение, сочетаемость в нужном значении и способ обозначения вновь создаваемого значения, т. е. вся словообразовательная структура слова *аң-белем* на деле предопределена сводными типовыми свойствами перечисленных сложных слов, их типовой словообразовательной моделью.

Разветвленную систему словообразовательных моделей обнаруживают как новообразования, так и более древний пласт сложных слов. Одни из них характеризуются необычайной продуктивностью, например, структурные модели так называемых парных слов и сложных слов, образуемых

завано по словообразовательным моделям. Однако в своей попытке обосновать это заключение он подменяет модели словообразования элементарными формулами свободных словосочетаний, тем самым подтверждая критикуемое положение. См., например: С. Н. Муратов, Устойчивые словосочетания в тюркских языках, М., 1961, стр. 48. С. Н. Муратов стал на традиционную точку зрения и по вопросу о происхождении сложных слов из словосочетаний в результате их постепенной лексикализации или идиоматизации (там же, стр. 34—36).

<sup>19</sup> Э. В. Севортян, К соотношению грамматики и лексики в тюркских языках, «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языковедению», М., 1952, стр. 319.

<sup>20</sup> Там же, стр. 365—366.

способом редупликации. Другие исчерпали себя, например, модель, объединяющая производные слова типа башк. *яланаят* «босиком». Третьи только ныне формируются, например, модель-калька, используемая для создания слов типа башк. *ярмсул* «полупустыня». Разнородны эти модели и структурно. Но при всем этом ни одна из них не имеет никакой актуальной связи со словосочетаниями и их моделями. В этом отношении исключения не составляют также и те модели, которые генетически связаны со структурой словосочетаний. Так, высокопродуктивная модель образования сложных существительных типа башк. *билбау* «кушак», восходящая по строению к определенному типу атрибутивного словосочетания, ныне вовсе не соотносится со структурой словосочетаний: в современном языке словосочетания, с которыми генетически связаны сложные слова вроде *билбау*, имеют уже иную форму — обязательно предполагают оформление определяемого слова аффиксом принадлежности 3-го лица. В качестве другого примера можно взять высокопродуктивные модели образования отыменных глаголов с помощью глагола *эт-* «делать». Восходящие к свободному сочетанию обстоятельства образа действия с глагольным сказуемым, модели на *эт-* по форме близко стоят к словосочетаниям и ныне на этом основании нередко квалифицируются как словосочетания<sup>21</sup>, хотя они и утратили всякую связь со своим синтаксическим прошлым. Они представляют собой грамматически организованный способ словопроизводства, в принципе сходный с продуктивными моделями отыменного словообразования глагола при помощи аффикса *-ла*. Как и аффиксальные модели на *-ла*, каждая модель на *эт-* пользуется определенным разрядом производящей основы и сообразно с этим имеет свое типовое значение. В башкирском языке четко выделяются, например, следующие модели на *ит-*: 1) создание непереходных глаголов состояния от звукоподражательных и образоподражательных морфем по образцам типа башк.: а) *гәлт ит-* «вспыхнуть с шумом», *йылт ит-* «сверкнуть», *шап ит-* «произвести хлопающий звук» с типовым значением «произвести то, что обозначено производящей основой, что напоминает эту основу по звучанию или образу, впечатлению»; б) *ялт-йолт ит-* «сверкать с переливами», *гәп-гәп ит-* «грохотать, издавать глухой шум» с типовым значением «производить звучание, напоминающее то, что обозначено производящей основой»; 2) создание переходных глаголов активного действия от именных основ по образцам типа башк.: а) *хур ит-* «осрамить, скомпрометировать, сконфузить»; *харап ит-* «погубить; загубить», *юк ит-* «уничтожить» с типовым значением «возбудить свойство, названное производящей основой», б) *тәг-сир ит-* «влиять; повлиять», *гәфу ит-* «прощать, простить», *мәжбур ит-* «вынуждать, вынудить», *мыскыл ит-* «издеваться, глумиться» с типовым значением «подвергать (подвергнуть) тому, что обозначено производящей основой»; 3) создание переходных, отчасти и непереходных, глаголов активного действия от русских заимствований в форме инфинитива, а также отдельных непереходных глаголов состояния: а) башк. *заправить ит-* «заправить», *паять ит-* «запаять; припаять; паять» с типовым значением «подвергнуть (реже — подвергать) тому, что обозначено производящей основой», б) башк. *буксовать ит-* «буксовать» с типовым значением «проявлять свойство по основе»; 4) создание непереходных глаголов состояния вроде башк. *һабыр ит-* «ждать терпеливо» с типовым значением «проявлять

<sup>21</sup> См., например: Р. А. А г а н и н, Лексико-грамматическая природа турецких составных глаголов и принципы их отражения в словарях, «Краткие сообщения Ин-та народов Азии [АН СССР]», 60, М., 1962, стр. 73. Р. Р. Ю с и п о в а («О некоторых словосочетаниях типа „имя + глагол“ в турецком языке», там же) характеризует эти глаголы как самостоятельные производные лексические единицы фразеологического типа.

свойство по основе»; 5) создание непереходных глаголов активного действия типа башк. *байрам ит-* «праздновать», *серем ит-* «спать; поспать», *хезмэт ит-* «служить» с типовым значением «заниматься тем, что обозначено в производящей основе». Эти модели находятся в теснейшем взаимодействии с остальными моделями отыменного образования, в особенности с аффиксальными моделями на *-ла*, часть которых имеет очень много общего и производит иногда глаголы, входящие в соотносительные пары с глаголами на *ит-* (ср., например, башк. *гөжлә-/гөж ит-* «жужжать», *брошюрала-/брошюровать ит-* «сброшюровать», *эксплуатацияла-/эксплуатировать ит-* «эксплуатировать», *ғәйеплә-/ғәйеп ит-* «обвинять», *ялтыра-/ялт ит-* «сверкать»). Здесь словообразовательная структура в обоих случаях может быть сформулирована одинаково. Далеко идущую общность обнаруживают модели на *ит-* с моделями на *-ла* и в других случаях. Они имеют характер такой же устойчивой грамматической формулы, что и модели на *-ла*.

Ясно выраженный грамматический характер имеют в современных тюркских языках модели отыменного образования глагола на *бол-*, которые в ряде языков в качестве производящей основы пользуются не только словами, не имеющими самостоятельного употребления (*бәлиг бул-* «стать совершеннолетним»), но и предполагают нередко соответствующее оформление таких слов, пригодное только для данного случая: башк. *аймылыш бул-* «разминуться, разойтись в пути», *алйырыш бул-* «спутаться (о нитках)», *контужен бул-* «быть контуженным; подвергаться контузии». Этим свойством обладают и некоторые продуктивные модели на *ит-*: татар. *буксовать ит-* «буксовать», где в результате интерференции возникает самостоятельная структура слова, которую никаким образом невозможно квалифицировать как достояние синтаксиса. Да и другие типы композит обнаруживают специальное оформление; например, татар. *явым-төшем* или *явым-чәчем* «атмосферные осадки» и созданные по их образцу новообразования вроде *килем-китем* 1) «посещение; хождение», 2) *собр. гости; посетители*, 3) разг. «приход и расход», *керем-чыгым* «приход и расход», *урыны-урынысыз* «невпопад», *булыр-булмас* «сомнительный, какой попал», где необходимым условием образования нового слова является постановка производящей основы в ранее предусмотренной форме, не совместимой с действующими синтаксическими моделями.

Специфику структуры сложных слов не менее явно отражает самая продуктивная и довольно многочисленная часть их словообразовательных моделей, которые не только по существу, но и внешне не совместимы с живыми нормами тюркского синтаксиса, в частности: 1) необычайно активные во всех тюркских языках модели создания сложных слов способом морфонологизированной редупликации (с наращением фонологически значимого соединительного согласного или с фонологическим использованием чередования начального согласного или первого гласного корневой морфемы) типа башк. *аз-маз* «немного», *сотор-сатыр* «ухабистое место», *сатыр-сотор* «с треском», *һирәк-мирәк* «изредка»; 2) столь же продуктивные, но еще более разветвленные модели образования так называемых парных слов типа башк. *ағай-эне* «родственники», *ара-тирә* «окрестность; места», *арымаҫ-талмаҫ* «неутомимый», *ары-бире* «туда-сюда», *ваҫ-тәйәк* «мелочь всякая», *җарт-җоро* «старик и старуха всякие», *кәпә-көндөз* «среда белого дня», *юҫ-бар* «вздор; чушь», среди которых последнее имеет взаимоисключающие компоненты, что вовсе недопустимо в осмысленных словосочетаниях; 3) высокопродуктивные модели создания сложных глаголов от звукоподражательных и образоподражательных морфем, не имеющих самостоятельного употребления, и от формы инфинитива русского глагола, которая как производящая основа заимствуется непосредственно из рус-

ского языка: башк. *танцевать ит-* «танцевать», *серем ит-* «поспать», *ялт ит-* «сверкать»; 4) продуктивные модели создания сложных числительных, где атрибутивная по своему характеру связь компонентов идет вразрез с принципиальным строением собственно атрибутивных конструкций: башк. *унбер «одинадцать», йоз жырыж биш «сто сорок пять»*; 5) малопродуктивные модели, формирующиеся непосредственно на уровне морфологии под иноязычным влиянием на базе калек типа башк. *үзәмжәт «самоцель»* (ср. новообразования вроде башк. *үзидара «самоуправление», үзжимәт «себестоимость»*); *үзйөрөшмә «самоходный», үзһүзмә «упрямый»; ырымүлтйәрау «полуостров», ырымсүл «полупустыня»; ашхана «столовая»*. Во всех этих случаях нет даже формального основания для синтаксического осмысления модели.

Оснований для синтаксического толкования не дают и те словосложительные модели, которые обнаруживают известную формальную общность с живыми словосочетаниями. Уже само бытование модели в арсенале словообразующих средств исключает возможность ее синтаксического осмысления. (Ведь даже одно единственное сложное слово, возникшее в индивидуальном порядке по модели словосочетания, не является достойным синтаксиса. А здесь речь идет по меньшей мере о двух сложных словах, одно из которых, бесспорно, создано по образу другого, минуя синтаксис.) Словосложительная модель, применяемая как стереотип для организованного создания новых слов по подобию бесспорных сложных слов (при различии состава компонентов и лексических значений), формируется непосредственно в самой морфологии. Формируется модель не из словосочетаний, а на базе готовых сложных слов, имеющих единое словообразовательное строение и типовое значение. Словосложительная модель в начале своего становления представляет совпадающие характеристики сложных слов, по мере вхождения в обиход модель отражает не столько общность таких слов, сколько правило их образования и возможность сознательного использования этого правила для создания и организованного осмысления новых слов со словообразовательной структурой, заданной наперед. О модели не может быть речи без ее сознательного применения для образования нового слова с готовыми характеристиками, предопределяющими режим его бытования и осмысления. Модель регламентирует как само создание нового слова, так и его осмысление по подобию данного типа слов при различии их индивидуальных лексических значений. Модель задает общую структуру новообразования, выравнивает новое слово по аналогии с теми словами, на базе которых сама возникает, предопределяет его соотносительность с ними. Употребляясь в таком основном назначении, модель в свою очередь и сама приводится в определенные отношения с другими моделями из системы словообразования данного языка и испытывает при этом ее воздействие, особенно если эта вновь созданная модель по своему назначению соприкасается с уже существующими моделями. В результате модель либо функционально выравнивается по другой модели и приводит параллельные образования (ср. такое использование моделей на *ит-* в их отношении к моделям на *-ла*, в частности, параллели типа башк. *тертлә-/терт ит-* «вздрогнуть», *брошюрала-/брошюровать ит-* «брошюровать»), либо утверждается в системе словообразования как относительно самостоятельная единица определенного ее узла (ср. модели отыменного словосложения глагола в их отношении к аффиксальным моделям сходного назначения, с которыми они тесно взаимодействуют) и приобретают так или иначе новые связи с системой словообразования. С окончательным закреплением в этой системе вновь созданные модели, равно как и объединяемые ими слова, в силу этого еще больше изолируются от своих генетических связей со словосочетаниями. И естественно, что носители

языка, пользуясь сложными словами и их словообразовательными моделями, последовательно игнорируют очевидные формальные сходства сложного слова и словосочетания<sup>22</sup>, имея в виду которое отдельные языковеды тщетно пытаются доказать их тождество. Все сложившиеся модели сложных слов обладают характером устойчивой конструктивной грамматической формулы. Носители языка осознают их как некий стереотип, по аналогии с которым они воспринимают и воспроизводят определенную группу производных слов, отличающихся друг от друга лишь по составу производящей основы и по индивидуальному лексическому значению, а по некоторым продуктивным моделям и создают новые слова. Среди таких моделей значительная часть настолько грамматикализована, что замыкающей их компонент воспринимается как словообразующая служебная морфема, например, узб. *-жон*, азерб. *-чан*, казах. *-бай* в именах, общетюрк. *-п тур*, *-п отур* и мн. др. — в глаголах. Здесь мы имеем дело с промежуточным явлением, обладающим конструктивными признаками и аффиксации и словосложения.

В целом словосложительных моделей почти в каждом из тюркских языков очень много — гораздо больше, чем это можно себе представить, исходя из современного состояния изученности словообразования в этих языках. Эти модели занимают в системе словообразования почти каждого из тюркских языков настолько значительное и прочное положение, что без их учета немислимо сколько-нибудь удовлетворительное осмысление и описание этой системы. В своей совокупности эти модели охватывают добрую половину сложных слов. Это практически означает, что большинство сложных слов осознано не только как категориальная единица, но и как структурный образец для создания новых слов и что более половины сложных слов, активно участвуя в современном словообразовании, является объектом как словаря, так и морфологии, занимающейся современным словообразованием.

Остальная часть сложных слов, не обнаруживающая определенной словообразовательной структуры и занимающая среди сложных слов примерно 30%, создана по действующим моделям словосочетаний, причем больше всего по моделям атрибутивного словосочетания. Но и эти слова не имеют своим прототипом конкретные словосочетания, как в этом убеждает современное терминотворчество. Большинство из них ни логически, ни практически немислимо как словосочетание. Правда, примерно одна треть таких слов типа башк. *аҗкош* «лебедь»<sup>23</sup>, *өй алды* «сени», *кара бойзай* «гречиха» изоморфна с вполне реальными словосочетаниями типа башк. *аҗкош* «белая птица», *өй алды* «передняя часть дома», *кара бойзай* «черная пшеница». Но они ни в одном своем реальном употреблении не ассоциируются с ним. Носители языка никогда не путают их, каждое из изоморфных образований воспринимают только в одном значении, совершенно не принимая во внимание его употребление в другом качестве. Эти параллели возникают и входят в обиход в той мере, в какой отличаются друг от друга. Сложное слово заранее предполагает отличие от словосочетания,

<sup>22</sup> Этому во многом способствует возникновение и развитие производных моделей на базе новых моделей, закрепившихся в языке. (Достаточно сказать, что некогда единая словосложительная модель образования глагола на *ит*-обросла в разных тюркских языках целыми сериями производных моделей, которые существенно отличаются друг от друга как по своей собственно словообразовательной структуре, так и по общей лексико-грамматической природе слов, которые они производят.)

<sup>23</sup> Э. А. Макаев, отмечая типологически сходное явление в германских языках, в частности англ. *blackbird* «черный дрозд»: (a) *black bird* «черная птица», отсылает читателя к следующим источникам: Н. M a r c h a n d, *The categories and types of present-day English word-formation* [Wiesbaden], [1960], стр. 14—20; W. H e n z e n, *Deutsche Wortbildung*, Tübingen, 1957, стр. 36 и сл.

обеспечивающее его однозначное осмысление как лексемы в любом случае употребления — тем более, если оно внешне совпадает с реальным словосочетанием; ср., например, башк. *кызыл туй* «зяблик» и *кызыл туй* «красная грудь», которые ни в одном своем реальном применении не ассоциируются друг с другом. Такое отличие, формально не выраженное в самом сложном слове, помимо всего прочего заключается в его соотносительности со строго очерченными условиями реализации его компонентов в их обычном значении. На первый взгляд, омонимичные образования вроде башк. *бер катлы* «наивный» и *бер катлы* «состоящий из одного слоя, этажа, пласта», выступая даже в одной и той же синтаксической позиции (определения или сказуемого), предполагают строго определенное окружение для каждого из этих образований, которое само по себе исключает возможность осмысления одной из этих изоморфных единиц в значении другой (в частности, первая ориентирована на название лица, вторая — на название соответствующего материала или строения). Позиционная характеризованность сложных слов может быть расширена и усилена за счет строгой очерченности их местоположения и синтаксической функции в той или иной конструкции, если по этим данным они действительно отличаются от соответствующих структур, мешающих их однозначному осмыслению. Если к тому же учесть, что сложное слово может занимать не одну, а ряд позиций, имеющих свою специфику, то последовательное раздельное его осмысление в полном отрыве от словосочетания, с которым оно совпадает внешне, станет, можно надеяться, очевидным. Изучение условий реализации изоморфных единиц, одна из которых является сложным словом, другая — словосочетанием, позволяет предполагать, что такие образования существуют в сознании отнюдь не в соответствии с их генетическими связями, а в ряду тех единиц, с которыми взаимодействуют в отрыве друг от друга. Каждое из параллельных образований воссоздается и воспринимается, по-видимому, с этой различающей их характеристикой как с опознавательным признаком. Во всяком случае, позиционная характеризованность сложного слова, бесспорно, играет важную роль в его раздельном однозначном осмыслении. В то же время не функции и окружение определяют природу сложного слова, а, наоборот, природа, категориальные свойства сложного слова предопределяют возможность его реализации в той или иной позиции.

Среди категориальных свойств сложного слова, в основном уже выявленных в соответствующих исследованиях<sup>24</sup>, существенным представляется полное отсутствие актуальной связи со словосочетаниями и наличие характеристик, свойственных любому производному слову вообще, сложному слову — в частности.

Каждый из компонентов сложного слова лишен грамматических отношений самостоятельных членов предложения, лексического и грамматического значений, логического ударения, непосредственной связи с какими бы то ни было значащими единицами, кроме их генетической связи между собой. Объединение компонентов, хотя оно может быть и произведено по модели, выражающей в иных случаях грамматические отношения самостоятельных членов предложения, обуславливает возникновение относительно новой самостоятельной лексической единицы на началах, сходных в принципе с объединением корневой и аффиксальной морфем в слове в словообразовательных целях. Хотя вновь образуемое лексическое значение<sup>25</sup> и мотивируется прежними лексическими значениями

<sup>24</sup> См., например: В. З. П а н ф и л о в, Сложные существительные в нивхском языке и их отличие от словосочетаний (К проблеме слова), ВЯ, 1958, 1, стр. 105; С. Н. М у р а т о в, указ. соч., стр. 43 и сл.; Ю. М. С е и д о в, Словосочетания в азербайджанском языке. Автореф. докт. диссерт., Баку, 1965, стр. 17—18.

объединяемых компонентов, сложное слово в состоянии стать его носителем постольку, поскольку это новое значение необратимо, возникая только в пределах данного сочетания компонентов. Разумеется, полная утрата компонентами прежнего значения не является обязательным условием для создания сложного слова. В большинстве случаев новое значение во многом соприкасается с прежними значениями компонентов сложного слова, иногда же охватывает значение одного из компонентов почти полностью. (В этом отношении сложное слово в принципе не отличается от остальных производных слов, в том числе и от слов агглютинативного происхождения, — доленое участие морфем в создании нового лексического значения и здесь в принципе может быть самым различным.) Существенно здесь лишь одно — чтобы компоненты не воспринимались в значении, в котором они выступают в других позициях. Это условие обеспечивается целым комплексом средств (например, новизной вновь создаваемого значения, своеобразием позиции, в которой выступает каждая из двух корневых морфем как компонент сложного слова, грамматическими и интонационными свойствами, лексико-грамматическими связями и назначением всего образования в целом, принадлежностью последнего к определенной словообразовательной модели), среди которых степень утраты лексического значения компонента сложного слова играет, правда, существенную, но не решающую роль. Решающими оказываются, как правило, признаки, свидетельствующие об отсутствии реальной связи со словосочетаниями, которые внешне сходны с данным сложным словом.

Будучи цельным, необратимым, лексическое значение сложного слова развивается на общем основании и часто обрастает производными лексическими значениями. Многие сложные слова обладают в результате двумя или более лексическими значениями: ср., например, татар. *очаяк* 1) «таган», 2) «тренога, треножник», 3) «подставка мотовила», 4) «мольберт»; *кисеп бетеру* 1) «изрезать (все)», 2) «вырубить, закончить рубку», 3) «изъезть» (о моли), 4) «распилить». Это служит веским частным отличительным признаком сложного слова (как известно, в словосочетании слово реализуется только в одном лексическом значении, если оно и обладает за его пределами рядом значений).

Существенным отличительным признаком сложного слова является отнесенность его лексического значения к той или иной части речи и функционирование сложного слова в формах, свойственных данной части речи, в соответствии со своим лексическим значением. Нередко по этому признаку сложное слово резко отличается от своего замыкающего компонента, при котором происходит формобразование: ср., например, башк. *бер кен* «на днях» и *кен* «день», *көнә* «дню», *көндәр* «дни»; *үзәра* «между собой» и *ара* «промежуток», *арада* «в промежутке», *йөзөжара* «проклятый; мошенник» и *жара* «черный», *жарараж* «чернее». Как видно из этих примеров, принадлежность сложного слова к той или иной части речи, его формобразование, пределы и мотивированность последнего зависят не от природы замыкающего компонента, а исключительно от собственного лексического значения. Сложное слово обладает своим собственным лексическим и грамматическим значением, своей формой в прямом смысле этого термина. Из рассмотренных свойств сложного слова вытекает невозможность замены его компонентов и перестановки их местами.

Одним из важных внешних признаков сложного слова является относительная стабильность интонационной градации ударных и неударных слогов, исключающая возможность смыслового подчеркивания какого бы то ни было компонента в зависимости от логической актуальности для данного высказывания: ср., например, башк. *кызыл туш* «красная грудь», и *кызылтуш* «зяблик», *кызылтушитен* «зяблика». По интонационному

членению сложные слова мало чем отличаются от многосложного «простого» слова: ср. башк. *бер нисэ* «несколько» и *берләшмэ* «объединение». В силу этого многие частопотребительные сложные слова при стечении определенных звуков на стыке своих компонентов претерпевают значительные фонетические изменения: ср. башк. *оло эсэй* > *олэсэй* «бабушка», *Аж изел* > *Ағизел* «Белая», диалектн. *көн бағыш* > *гомбағаш* «подсолнечник». Это служит их дополнительным отличительным признаком.

Перечисленные свойства сложных слов позволяют (за некоторым исключением<sup>25</sup>) отграничить их от словосочетаний и объединяют их в ряде моментов с производными словами агглютинативного строения. Эти признаки, равно как и тот значительный удельный вес, который сложные слова имеют в лексике современных тюркских языков, дают достаточные основания как для лексикографической разработки сложных слов наравне с другими словами<sup>26</sup>, так и для подлинно научного осмысления их языковой природы.

<sup>25</sup> Часть сложных слов типа башк. *кара һауыты* «чернильница», *бербыуы* матем. «одночлен», *һайлау алды* «предвыборный», составляющая в некоторых языках максимум 10% от всех сложных слов, с одинаковым основанием может быть охарактеризована и как сложное слово, и как словосочетание.

<sup>26</sup> Существующая паллиативная практика лексикографического освоения сложных слов едва ли может быть оправдана тем, что их компоненты пишутся отдельно. Ибо правописание носит здесь сугубо условный характер (исключая разве слитное написание, вызванное фонетическими инновациями на стыке компонентов сложного слова) и не отличается единообразием. Слова с одинаковым строением пишутся нередко двояко не только в разных языках, но даже в одном и том же языке: ср., например, азерб. *биряшлы* «годовалый», татар. *бервакыт* «однажды», *унике* «двенадцать», башк. *купкыр* матем. «многогранник», *кубак* зоол. «многоножка», с другой — азерб. *дөрд яшлы* «четырёхлетний», татар. *бер заман* «однажды; в одно прекрасное время», *егерме ике* «двадцать два», башк. *куп мейеш* «многогранник», *куп быуы* «многочлен». Иногда и компоненты словосочетаний оформляются слитно: ср., например, азерб. *габаргаарасы* «промежуток между ребрами».

Б. А. УСПЕНСКИЙ

## НИКОНОВСКАЯ СПРАВА И РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

(Из истории ударения русских собственных имен)

Yet nature is made better by no mean  
 But nature makes that mean; so, over that art  
 Which you say adds to nature, is an art  
 That nature makes...

This is an art  
 Which does mend nature, change it rather, but  
 The art itself is nature.

W. Shakespeare (*«The Winter's Tale», IV, 4*)

Несомненно, одна из центральных проблем в истории литературного языка — это общая проблема искусственного и естественного в языке, связанная, в частности, с исследованием конкретных процессов освоения языком тех или иных искусственно придуманных норм и канонов. В истории русского литературного языка своеобразие этой проблемы определяется известным дуализмом церковнославянского языка, в большой степени искусственного, и собственно русской речи. Представляется, в этой связи, что рассмотрение личных собственных имен может иметь ключевое значение для исследования истории русского литературного (и вообще нормированного) языка, поскольку ни в какой другой лексической сфере не проявилось так отчетливо и с такой последовательностью разграничение — и противопоставление — церковнославянских и русских форм. Хорошо известные свидетельства современников (прежде всего, Лудольфа) о сосуществовании и функциональном противопоставлении церковнославянского и русского языков в России XVII в. могут быть поняты так, что выбор церковнославянской или русской формы был отчасти обусловлен передаваемым содержанием<sup>1</sup> и, следовательно, одно и то же содержание не всегда возможно было выразить обоими средствами выражения. Между тем, как раз собственные имена характеризуются последовательным параллелизмом русских и церковнославянских форм, который делает возможным всякий раз соответствующее перекодирование, никак не затрагивающее содержание. Соответственно, можно думать, именно в лексическом слое собственных имен относительно рано должна была образоваться специальная русская норма, последовательно противопоставленная церковнославянской (канонической). С другой стороны, в данной ограниченной области можно с достаточной наглядностью проследить взаимоотношение русского и церковнославянского языков, в частности степень влияния последнего на первый в период становления русского литературного национального языка (со второй половины XVI в.). Иначе говоря, проблема сводится к рассмотрению — в исторической перспективе — соотношения между «каноническими» и «неканоническими» формами собственных имен.

<sup>1</sup> Ср.: B. U n b e g a u n, *La langue russe au XVI<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1935, стр. 6.

Само собой разумеется, что собственные имена принадлежат периферии языка; но как раз на периферии и могут особенно отчетливо выявляться те закономерности, которые в иных сферах не столь прозрачны. В данном случае это относится к противопоставлению церковнославянской и русской нормы произношения.

Общеизвестно, что каждое русское (личное) христианское имя имеет специальную каноническую форму, которая в большинстве случаев бывает противопоставлена литературной (или документальной) форме (например: канон. *Иоанн*, литер. *Иван* и т. п.). Помимо того, во многих случаях имена имеют еще и особую разговорную форму которая также достаточно нормирована в языке — в том смысле, что принадлежит определенной норме (определенному стилю) вообще русского языка, а не его диалектам. Ср. такие формы, как *Мáрья* (при литер. *Ма́рия*), *Наста́сья* (литер. *Анастаси́я*), *Катери́на* (литер. *Екатери́на*), *Лиза́вета* (литер. *Елизавета*), *Осип* (литер. *Иосиф*), *Фро́л* (литер. *Фло́р*) и т. п., которые отражают определенную норму русского языка, но норму не литературную, а разговорную (с возможной здесь более подробной стилистической дифференциацией).

Канонические формы имен принадлежат прежде всего церковнославянскому языку, и, строго говоря, могут подчиняться даже особым правилам церковнославянского произношения — в тех случаях, когда церковнославянское произношение противопоставлено русскому [ср. ц.-слав. (канон.) *Петр* и русск. литер. *Пе́тр*]. Но, в то же время, канонические формы имен имеют непосредственное отношение и к русскому языку — не только потому, что в известных контекстах принято употреблять именно каноническую форму (так при наименовании титулованных особ и лиц духовного звания, ср., например: князь *Се́ргий*, *Анна Иоанно́вна*, патриарх *Алекси́й*), но и потому, что в абсолютном большинстве случаев современные русские литературные и разговорные формы имен исторически восходят к архаическим каноническим формам, т. е. отражают ту или иную (из существовавших ранее) норму церковнославянского произношения. Это можно показать (и мы собираемся это сделать), не выходя за рамки рассмотрения акцентуационного материала. Существенно заметить в этой связи, что если в нарицательных именах ударения обусловлены обычно этимологическими рефлексам и лишь отчасти позднейшими нормами произношения, то в именах собственных вследствие их специфики, а также ввиду обычного отсутствия здесь непосредственных этимологических связей (как это характерно вообще для заимствованной лексики), ударение определяется главным образом н о р м о й произношения, имеющей более или менее условный характер, — а именно нормой, понятно, и должна в первую очередь интересовать исследователя литературного языка<sup>2</sup>. С другой стороны, ударение оказывается одним из самых устойчивых компонентов формы собственных имен и, следовательно, наиболее показательным признаком при прослеживании той или иной традиции произношения.

Эволюция формы канонических собственных имен в значительной мере носит искусственный характер, будучи обусловлена книжной správой XIV—XIX вв. При этом необходимо подчеркнуть, что исправления

<sup>2</sup> Ср. типологически очень обычный случай формальной противопоставленности собственных и нарицательных имен, которая может проявляться, в частности, в их ударении. Уже отсюда мало убедительны выводы А. В. Суперанской, которая пытается статистически установить тенденции ударения в тех или иных собственных именах, изучая ударение в нарицательных именах со сходным окончанием (не говоря о том, что и сами подсчеты здесь лишены доказательной силы из-за малых величин, с которыми по необходимости оперирует автор); см.: А. В. Суперанская, Ударение в собственных именах в современном русском языке, М., 1966.

в формах собственных имен прослеживаются с первых шагов sprawy. Уже в сочинениях южнославянских книжников конца XIV — начала XV в. обращается самое пристальное внимание на форму имен и, между прочим, на ударение в них<sup>3</sup>. Это внимание не ослабевает и в дальнейшем; особенно же сильно отразилась на формах имен книжная справа второй половины XVII в., вызванная реформами патриарха Никона. Как будет видно ниже, эти исправления отразились в конечном счете не только на церковнославянском, но и на русском литературном языке.

Большая часть новых канонических форм появилась в изданиях первоисправленного никоновского служебника (1655—1658 гг., в основном же в издании 1656 г.). Эти исправления отчасти были продолжены и после ухода Никона (особенно при патриархе Иоакиме); но необходимо заметить, что вся последующая справа в большой степени может рассматриваться как продолжение никоновской sprawy (достаточно показательно в этой связи, что уже в служебнике 1656 г. сообщаются такие формы имен, которые только в послениконовский период окончательно закрепляются в канонической норме).

Специальное внимание к каноническим формам собственных имен могло вызвать острую полемику относительно их написания и произношения. Особенно характерна в этом отношении полемическая старообрядческая и антистарообрядческая литература XVII—XVIII вв., непосредственно обусловленная никоновскими книжными реформами.

Достаточно сослаться на обличения попа Лазаря, писавшего, что новые канонические формы имен «есть святым похуление»<sup>4</sup>, и возражения Симеона Полоцкого на эти обличения в «Жезле правления»<sup>5</sup>; на аналогичные упреки справщика Савватия<sup>6</sup> или протопопа Аввакума, протестовавшего прежде всего против новой формы *Николай*, введенной при Никоне вместо старой *Никѡла*<sup>7</sup> (для нашей темы особенно знаменательно, что раздел о новых формах собственных имен Аввакум заключает обвинением, что никоноиане «вся с и л ы [т. е. ударения; разрядка наша. —

<sup>3</sup> См. соответствующие замечания у Константина Грамматика в его сочинении «О писменех», изданном И. Ягичем; см.: И. В. Ягич, Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке, СПб., 1896 (отд. отд. из «Исследований по русскому языку», I, СПб., 1885—1895), стр. 118, 120—121, 185, 189, 192.

<sup>4</sup> См.: «Попа Лазаря роспись вкратце...» в изд.: «Материалы для истории раскола за первое время его существования», под ред. Н. И. Субботина, т. IV, М., 1878, стр. 200.

<sup>5</sup> См.: С и м е о н П о л о ц к и й, Жезл правления, М., 1667, л. 149 об. (обличение и возобличение 69-е).

<sup>6</sup> См.: «Челобитная черница Савватия», в изд.: «Три челобитные: справщика Савватия, Саввы Романова, монахов Соловецкого монастыря», СПб., 1862, стр. 37.

<sup>7</sup> См.: «Русская историческая библиотека», 39, Л., 1927, стлб. 284; А. К. Борздин, Протопоп Аввакум, СПб., 1898, приложение, стр. 42. — Общепринятой канонической формой до раскола было *Никѡла* (так уже и в месяцеслове Остромирова евангелия), т. е. эта форма принадлежала церковнославянскому языку; отметим, что *Никола*, как и *Николай*, восходит непосредственно к греческому, но отражает не полную греческую форму *Νικόλαος*, а стяженную *Νικόλας*, т. е. представляет собой результат не русской, а греческой модификации формы *Νικόλαος*. Между тем, форма *Николай* также была известна, но употреблялась главным образом по отношению к иностранцам и вообще лицам неправославного вероисповедания (возможно, не без влияния польск. *Mikołaj*); это различие достаточно четко прослеживается в летописях и грамотах. Форма *Николай* и сейчас не распространена в старообрядческом обиходе (в качестве канонической эта форма вообще невозможна у старообрядцев-бесполовцев, тогда как у поповцев она встречается, но очень редко: *Николаѣм*, а не *Никѡлой* называется в календаре поповцев один из севастьянских мучеников, под 9 марта).

Замечательно, что звательная форма применительно к св. *Николѣ* — *Никѡлаѣ* (вместо ожидаемого *Никѡло*), причем так уже и в памятниках древнейшей поры (см., например, в Успенском кондакаре 1207 г., ГИМ, Усп. 9: *никѡлаѣ* в род. падеже, л. 36, но *никѡлаѣ* в зв. форме, л. 37 об.); эта же форма является звательной формой и от позднейшего имени *Николай* (вместо ожидаемого *Никѡлѣ*). Указанная форма не свидетельствует о древности формы *Николай* на славянской почве, а непосредственно отражает греч. зв. *Νικόλας* (ср. ниже, примеч. 54 и 47). Достоин внимания, с другой стороны, что в специальном наставлении («Кѡмо писати имена въ синодикѣ», помещен-

Б. У.] изменили на странная пословицы...»<sup>8</sup>; на споры Андрея Денисова и Феодосия Васильева о том, как должна произноситься каноническая форма имени «Иван» *Иоани* или же *Ивани*, как произносили в XVII в. в Соловецком монастыре и продолжали произносить в XVIII в. в Выговском общежитии<sup>9</sup>. Сюда же, наконец, должна быть отнесена и полемика относительно написания и произношения имени Христа (*Иисус* или *Иисусе*); как известно, этот вопрос стал одной из радикальных проблем русского раскола, стимулировавшей огромную полемическую литературу (включая сюда также известные сочинения, как «Розыск» Дмитрия Ростовского или «Поморские ответы»).

Понятно, что исправления в формах имен были обычно обусловлены стремлением приблизить церковнославянскую форму к соответствующему иноязычному прототипу (греческому, еврейскому или латинскому)<sup>10</sup> — но рассмотрение этих исправлений показывает, что едва ли не в большей степени дело идет о борьбе разных традиций канонического наименования, связанных с различными изводами церковнославянского языка (и, в частности, церковнославянского произношения); при этом та или иная традиция и может восприниматься в соответствующий период как носитель более правильного произношения. Иначе можно сказать, что результаты справы на деле определялись обычно не столько непосредственно греческой, латинской или еврейской формой соответствующего имени, сколько той или иной традицией, которая выполняла как бы роль посредника между исправляемой формой и ее иноязычным прототипом<sup>11</sup>. Понятно, например, что греческая форма латинских или еврейских имен практически имела для нас большее значение, чем сами латинские или еврейские прототипы. Но точно так же, в свою очередь, и уподобление греческим формам имен в процессе книжных исправлений часто происходило у нас не непосредственно, но сначала, в период так называемого второго южнославянского влияния, через болгаро-сербскую традицию произношения этих имен, а в период никоновских и послениконовских исправлений — как это будет видно из дальнейшего — через традицию Юго-

ном в качестве послесловия в печатных московских Псалтырях 20 IX 1645 и 6 XII 1645, где дается парадигма склонения имени «Никола», — указывается зательная форма *Никболо*, а не *Никбале*. Вероятно, форма *Никбале* употреблялась в отношении в святых, тогда как применительно к смертным употреблялась форма *Никбло*. Этот пример может служить иллюстрацией тех специальных дифференциаций в значении и употреблении, которую могли получать разные варианты одной и той же формы.

<sup>8</sup> См.: А. К. Бороздин, там же. Ср. соответствующее место в «Челобитной чернца Савватия» (указ. соч., стр. 39): «А что и просодии в новых книгах превратили по чужим пословицам (какими пословицы в Московском государстве николи не говаривали, и ныне не говорят, и книг по той речи не печатавали) и то недобре же».

<sup>9</sup> См. издание текстов в кн.: П. С. Смирнов, Из истории раскола первой половины XVIII века, СПб., 1908, стр. 020, 054—056. Любопытно отметить, что сторонником формы *Ивани*, а не *Иоани*, был и протопоп Аввакум, который считал последнюю форму никоновским повешеством; см. об этом в послании Аввакума «к неизвестным» (А. К. Бороздин, указ. соч., приложение, стр. 42).

<sup>10</sup> Ср. регулярно цитируемое в сочинениях второй половины XVII—XVIII вв. пятое орфографическое правило из «Грамматики» Мелетия Смотрницкого (М., 1648, л. 58 об.): «Опасно прочее блюдомо боуди: во греческих реченіях орфографіи греческой, в латинских латинстѣи хранимѣи быти, и во еврейских еврейстѣи» — причем надо сказать, что эта цитата может служить оправданием самых разных форм, в том числе и противостоящих друг другу (ср. ниже, стр. 93).

<sup>11</sup> Соответственно, оригинальные (иноязычные) формы имен могли восприниматься через призму той или иной традиции, которая могла обуславливать искаженное о них представление. Ср., например, указание в первом издании «Грамматики» Мелетия Смотрницкого (Евю, 1619, л. 3 об. тетради ж): «Мамантъ... ѿ Греческаго Μάμας / Μαμάτος». Но род падеж от греч. Μάμας звучит Μάμαντος, а не Μαμάντος; несомненно, на представление Смотрницкого о греческой форме повлияла каноническая форма *Мамант*, принятая в Юго-Западной Руси, тогда как в Московской Руси принята была форма *Мамант*, действительно соответствующая греческой форме (о различиях между каноническими формами Московской и Юго-Западной Руси см. специально ниже).

Западной Руси (которая, между прочим, в большой степени впитала в себя результаты второго южнославянского влияния).

Следует указать в этой связи, что во второй половине XVI—XVII вв. отчетливо выделяются две принципиально различающиеся между собой и в большой степени друг другу противопоставленные традиции канонического наименования — великорусская (Московской Руси, по сей день сохраняющаяся у старообрядцев) и южнозападная (Литовской, т. е. Юго-Западной Руси). Различие этих традиций проявляется прежде всего в ударении и собственных имен. Существование двух систем акцентировки собственных имен в полной мере отвечает наличию вообще двух специальных изводов церковнославянского языка в данный период, которое проявилось, в частности, в наличии двух специальных систем литургического произношения (включая сюда и ударение) в Московской и Литовской Руси<sup>12</sup>.

Мы попытаемся показать, что указанные традиции оставили значительный след в современном русском языке и в большой степени определили существующие сейчас различия между литературными и разговорными формами собственных имен.

Итак, на различных этапах книжной sprawy произношение и написание собственных имен периодически подвергалось исправлению. При этом едва ли не каждый период sprawy оставлял определенный след в языке; соответственно, современные формы имен распадаются на пласты, отражающие более или менее архаические нормы церковнославянского произношения. Иначе говоря, русские неканонические формы собственных имен нередко восходят к формам каноническим (церковнославянским) — отражая архаические формы канонических имен, не сохранившиеся в связи с книжными исправлениями в самой церковнославянской традиции. Особенно большое влияние имели канонические формы (разного периода) на русские литературные формы собственных имен, но значительный след оставили они и в формах разговорных.

Самый процесс разговорного опрощения церковнославянских форм, входящих их в русскую обиходную речь — достаточно очевиден, поскольку он происходит и на наших глазах. Еще совсем недавно, например, форма *Лев* [l'ev] воспринималась как специальная церковнославянская (каноническая) форма имени, тогда как противопоставленная ей русская форма звучала (во всяком случае в московском произношении) как *Лёв* [l'ov]. Сейчас церковнославянское произношение *Лев* прочно вошло в русский язык. Точно так же и другие формы имен отражают (как будет видно из нижеследующего рассмотрения) старые церковнославянские формы — с той, однако, разницей, что они могут отражать норму церковнославянского произношения, принятого в XVI—XVII вв., а иногда и более раннюю<sup>13</sup>.

Таким образом, зная эволюцию церковнославянских форм, мы можем не только оценить степень влияния того или иного извода церковнославянского языка на русский язык (в частности, извода, связанного со вторым южнославянским влиянием, извода Юго-Западной Руси и т. п.), но и производить стратификацию современных форм по их относительной архаичности.

<sup>12</sup> Ср.: Б. А. Успенский, Архаическая система церковнославянского произношения (Из истории литургического произношения в России), М., 1968, стр. 101—104.

<sup>13</sup> Не менее характерно в этой связи и то обстоятельство, что русские уменьшительные формы могут восходить непосредственно к канонической (церковнославянской) форме соответствующего имени, а не к его русскому (литературному или разговорному) варианту. Так, уменьшительные формы *Дима*, *Параша* отражают канон. *Димитрий*, *Параскева* (или архаич. *Парасковия*, при соответствующих литературных формах *Дмитрий*, *Прасковья*, *Коста* восходит к архаической церковнославянской форме *Костянтиноу*, нередкой в текстах XII—XVI вв., и т. п.

Нижеследующие иллюстрации (основывающиеся исключительно на рассмотрении ударений) призваны подтвердить сказанное выше и показать различные возможности влияния дониконовских канонических форм на современные русские формы. Говоря о дониконовской канонической норме Московской или Юго-Западной Руси, мы исходим из рассмотрения старопечатных месяцесловов и других изданий богослужебного характера<sup>14</sup> XVI—XVII вв.; понятно, что именно печатные, а не рукописные книги представляют преимущественный интерес в связи с нашей темой, поскольку в них в большей степени проявляется нормативная тенденция<sup>15</sup>. При оценке относительной архаичности той или иной формы мы привлекаем и наиболее интересные для нас памятники более раннего времени, прежде всего Чудовский Новый Завет (середина XIV в.)<sup>16</sup>, представляющий собой, как известно, едва ли не единственный памятник с последовательно поставленными ударениями в период, предшествующий южнославянскому влиянию, который содержит к тому же и древнейшие в России акцентованные святцы<sup>17</sup>.

**Женские имена на -ия.** М а р и я. История ударения в этом имени может служить наглядным примером тех процессов, о которых шла речь выше. В настоящее время форма с ударением на первом слоге (ср.: *Ма́рья*) однозначно трактуется как результат опрощения (разговорной модификации) литературной и канонической формы *Марья́*<sup>18</sup>; на самом же деле здесь имеет место сохранение старой канонической формы (которая приобрела иное функциональное значение).

Действительно, до раскола в Московской Руси имела место строгая дифференциация форм *Ма́рия* и *Марья́*: обе формы принадлежали церков-

<sup>14</sup> Менее показателен для характеристики «канонической нормы» тот материал, который можно извлечь из синодиков и специальных ономастиконов (см., например, толковые словари имен Максима Грека, Памвы Берияды и т. п.). В самом деле, формы имен, приводимые в синодиках и всякого рода поминальных записях, обычно не являются к а н о н и ч е с к и м и (церковнославянскими); в то же время, формы, сообщаемые в ономастиконах, не обязательно характеризуют н о р м у произношения.

<sup>15</sup> Следует оговориться, что канонические имена из старопечатных изданий, как правило, приводятся нами в унифицированной и упрощенной орфографии и притом в форме им. падежа; между тем, имена, взятые из рукописных источников, преимущественно даются в той форме, в которой они стоят в тексте. Обобщенные формы имен даются курсивом, тогда как при точном воспроизведении орфографии мы употребляем кириллицу. — При ссылаках на рукописи мы используем общепринятые обозначения книгохранилищ, а именно: ГБЛ—Гос. библиотека им. Ленина (отдел рукописей), ГПБ—Гос. Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина (отдел рукописей), ГИМ—Гос. Исторический музей (отдел рукописей), МГУ,— Научная библиотека Московского университета (отдел рукописей), ЦГАДА—Центральный Гос. Архив древних актов.

<sup>16</sup> См.: «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Труд святителя Алексия Митрополита Московского и всея Руси (Фототипическое издание Леонтия Митрополита Московского)», М., 1892.

<sup>17</sup> Об акцентуации в современных канонических формах можно судить по месяцесловам церковнославянской печати конца XIX—XX в. (см., например: «Месяцеслов», СПб., 1891 или идентичные ему святцы в кн. «Требник», М., 1956). В отношении современной литературной и разговорной нормы произношения мы пользовались «Словарем русских личных имен» Н. М. Петровского (М., 1966), хотя и не всегда соглашались с составителем словаря в оценке тех или иных форм; отчасти привлекались и некоторые другие источники.

<sup>18</sup> См., например, эту точку зрения в работах: А. Ваескльунд, *The names of women in medieval Novgorod*, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956, стр. 21; V. Kiparsky, *Über die Betonung der russischen Wörter auf -ia*, «Die Welt der Slaven», VIII, 31, 1963, стр. 242; также: А. В. Супера́нская указ. соч., стр. 69; В. А. Никонов, *Русская адаптация иноязычных личных имен*, сб. «Ономастика», М., 1969, стр. 64.

пославянскому языку, т. е. были каноническими<sup>19</sup>, но *Марíей* называли только Богородицу, тогда как форма *Мáрия* (*Мáрья*) употреблялась в отношении прочих святых (*Мáрии* Египетской, *Мáрии* Магдалины и др.). Поскольку ребенка не принято называть в память Богородицы или Христа личным каноническим именем в собственном смысле слова, т. е. иначе говоря, крестным именем, могло быть только *Мáрия*, а не *Марíя*.

Далее произошло уподобление форм, причем победила, как это часто бывает, форма иерархически высшая. В результате никоновской справки со второй половины XVII в. как Богородица, так и отдельные святые называются одинаково — именем *Марíя*. (Форма *Марíя*, применительно к наименованию отдельных святых, появляется уже в 1656 г. во втором издании первоисправленного никоновского служебника, тогда как в его первом издании 1655 г. фигурирует еще *Мáрия*; спорадическое колебание ударения в этом имени прослеживается, однако, в церковных книгах до XVIII в.). Старое ударение в имени *Марии* Египетской осталось, между тем, в названии церковного праздника: говорят «*Мáрьино* стояние» (не *Марíино*); ср. сохранение старой канонической формы *Никѡ́ла* (а не *Никѡ́лѣй*) в выражении «*Никѡ́лин* день». Подобные случаи сейчас расцениваются как коллоквиализмы, в действительности же здесь имеет место сохранение старого церковнославянского произношения.

Все сказанное выше о дифференциации форм *Марíя* — *Мáрия* относится исключительно к великорусской канонической традиции. Между тем, в традиции Юго-Западной Руси *Мáрия* (*Мáрья*) выступала как единственная каноническая форма, будучи употребляема без различия как в отношении Богородицы, так и в отношении отдельных святых.

Действительно, в книгах Юго-Западной Руси имя Богородицы — в тех несчастных случаях, когда оно дается в полном написании (не подтитлом)<sup>20</sup>, — показано с ударением на первом слоге (*Мáрия*), не отличаясь от имени *Марии* Египетской и других святых. См., например, эту форму в различных изданиях Нового Завета с Псалтырью (мы ссылаемся при этом на отдельную пагинацию Нового Завета): в острожском издании (Ивана Федорова) 1580 г., л. 169, в виленском издании около 1600 г., лл. 1, 2 об., 71 об., в издании Евю 1611 г., л. 5 об., в виленском издании 1623 г., л. 2, в киевском 1658 г., л. 117 об. Ту же форму находим и в острожской Псалтыри следованной 1598 г., л. 192, в виленском Полууставе 1622 г., лл. 283 об., 377 об., в киевском переводе Учительного евангелия 1637 г. (стр. 762, 863), в Третьяке Петра Могилы (Киев, 1646. л. 416), в кн. «Небо новое» Иоанникия Галытовского (Львов, 1655, л. 15), в острожском издании «Маргарита» 1595 г., лл. 185 об., 187, 189, 189 об., 192 об. (второй пагинации) (характерно, что при перепечатке «Маргарита» в Москве в 1641 г. эта форма последовательно была исправлена на *мáрiа*<sup>21</sup>).

Есть основания полагать, что в данном случае именно традиция Юго-Западной Руси оказывается более древней, т. е. что противопоставление *Мáрия* — *Марíя* представляет собой явление относительно новое, тогда

<sup>19</sup> Между тем, различие между церковнославянской и русской формой проявляется не в месте ударения, но в окончании дат. падежа: ср. ц.-слав. *Мáрии*, но русск. *Мáрьѣ*.

<sup>20</sup> Отсутствие акцентного знака в сокращенной форме (*мáрiа*, *мáрiа* в книгах Юго-Западной Руси — при том, что в великорусских текстах часто стоит *мáрiа*, *мáрiа* конечно, гораздо менее показательно).

<sup>21</sup> В некоторых случаях акцентовка *Мáрия* в имени Богородицы в книгах Юго-Западной Руси обуславливает даже форму *мáрiа мáрiа*, получающую ударение на первом слоге. См. подобную форму в острожском «Маргарите» 1595 г., л. 188, в острожской Псалтыри 1598 г., л. 229 об., в виленском Полууставе 1622 г., л. 343, в киевском Новом Завете с Псалтырью 1658 г., лл. 117 об., 118 и в других местах, а также иногда и в одноименном виленском издании 1623 г.

как раньше первая форма выступала в обоих значениях. В частности, на старое каноническое произношение *Мáрия* (при наименовании Богородицы), указывает, по-видимому, форма  $\text{м } \bar{\text{р}} \bar{\text{и}} \bar{\text{а}}$  ( $\text{м } \bar{\text{р}} \bar{\text{а}} \bar{\text{и}} \bar{\text{а}}$ ,  $\text{м } \bar{\text{р}} \bar{\text{а}} \bar{\text{а}}$ ), достаточно часто встречающаяся, наряду с  $\text{м } \bar{\text{р}} \bar{\text{и}} \bar{\text{а}}$  ( $\text{м } \bar{\text{р}} \bar{\text{и}} \bar{\text{а}}$ ,  $\text{м } \bar{\text{р}} \bar{\text{и}} \bar{\text{а}}$ ), в более ранних, в том числе неакцентованных текстах. См., например, эту форму в текстах XIV в.: в Чудовском Новом Завете, в Евангелии МГУ № 1367, в сборниках Троице-Сергиевой лавры и Чудова монастыря, частично изданных А. Поповым<sup>22</sup>, а также в Евангелии Никона Радонежского (80-х годов XIV в.) (ГБЛ, ф. 304, М. 8652).

Особенно показательно, что в последнем памятнике данная форма в ряде случаев и с п р а л е н а позднейшей рукой (там, где речь идет о деве Марии), см. на л. 98:  $\text{м } \bar{\text{р}} \bar{\text{и}} \bar{\text{а}}$ , причем и переправлено, по-видимому, из  $\bar{\text{а}}$ ; или на том же листе форму  $\text{м } \bar{\text{р}} \bar{\text{а}} \bar{\text{и}} \bar{\text{а}}$ , причем надстрочное  $\text{м}$  прибавлено опять-таки позже (теми же чернилами, что и предыдущее исправление).

Наиболее поздний из известных нам случаев употребления подобной формы (т. е. неакцентованной формы с ерем) имеем в Евангелии конца XV — начала XVI в. Посифо-Волоколамского монастыря (ГБЛ, ф. 113, № 42); ср. на л. 232:  $\text{м } \bar{\text{р}} \bar{\text{а}} \bar{\text{а}}$  (о Богородице), на л. 252:  $\text{м } \bar{\text{р}} \bar{\text{а}} \bar{\text{и}} \bar{\text{а}}$  магдаллини. Поскольку есть основания предполагать, как мы увидим ниже, что изменение ударения в имени Богородицы произошло где-то в конце XV в., можно ожидать, что это вообще один из последних случаев употребления в данном имени старого ударения — в тексте великорусского взвода.

Старая форма *Мáрья* применительно к Богородице может, однако, и до наших дней сохраняться в архаических текстах, не связанных с письменной церковной традицией. Ср., например, эту форму в заговоре, записанном в начале XX в. во Владимирской губернии: «Не я тебя заговариваю — утка да селезень, сам Христос да *Марья-Богородица*»<sup>23</sup>; здесь употреблена форма по меньшей мере четырехсотлетней давности.

Итак, существующее в современном русском языке противопоставление литературной формы *Мария* и разговорной *Мáрья* отражает дифференциацию церковнославянских форм XVI—XVII вв. При этом разговорная форма отражает более раннюю (дониконовскую), а литературная форма — позднейшую (послениконовскую) каноническую форму имени; последняя форма отразилась, с другой стороны, и в просторечной форме *Марéя*, которая воспринимается сейчас как архаическая<sup>24</sup>, но которая, как видно из предыдущего рассмотрения, едва ли могла появиться раньше XVIII в.

Со ф и я. Совершенно аналогичная дифференциация форм имела место и в отношении имен *Софíя* — *Сóфия* (*Сб́фия*). Крестным именем до раскола могла быть только *Сб́фия* — эта форма, тем самым, была канонической (церковнославянской) — только эта форма фигурирует в московских святцах первой половины XVII в., так же как и в месяцесловах Юго-Западной Руси. Между тем, противопоставленная по ударению форма (*Софíя*) выступает в значении «София Премудрость Божия»<sup>25</sup>.

Эта одинаковость противопоставлений в именах «Мария» и «София», по всей вероятности, отнюдь не случайна и может быть связана с распро-

<sup>22</sup> См.: А. Попов, Библиографические материалы, вып. II, III, «Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1880, кн. 3; вып. XX, там же, 1889, кн. 3.

<sup>23</sup> См.: А. С о б о л е в, Обряд прощания с Землей перед исповедью. Заговоры и духовные стихи, Владимир, 1914.

<sup>24</sup> См., например, подобную трактовку данной формы в работе Л. В а с и л ь е в а «Вологодское Евангелие XVI в.» (РФВ, 57, 1907, стр. 260—261, примеч.).

<sup>25</sup> Ср. восходящее именно к этому имени прилагательное *Софíйский* (в новгородском варианте *Соф́йский*) в названии киевского и новгородского соборов.

странным отождествлением Софии Премудрости с Богородицею (которое имеет еще византийские корни)<sup>26</sup>.

Так же, как и противопоставление *Марія* — *Мáрия*, противопоставление *Софія* — *Сѣфія* было характерно для великорусской, но, по-видимому, не для южнорусской традиции церковнославянского произношения, где в обоих значениях выступала форма *Сѣфія* (ср. в киевском Требнике 1681 г., л. [434 об.]: «Осѣщеніе Храма стѣи С ѿ ф і и же в Кіевѣ»).

При этом — опять-таки в полном соответствии с нашими выводами в отношении имени «Мария» — можно полагать, что традиция Юго-Западной Руси является в данном случае более архаической<sup>27</sup>, т. е. что противопоставление *Софія* — *Сѣфія* имеет относительно поздний характер (и возникло, вероятно, под влиянием греческой формы в результате дониконовских книжных исправлений). Мы можем сослаться в этой связи на старые (XIV—XV вв.) списки летописей, где регулярно употребляется предполагающая ударение на первом слоге форма *Софія* (в значении «Премудрость Божия» — там, где речь идет о Софии Киевской или Новгородской)<sup>28</sup>, которая может чередоваться с формой *Сѣфія*. Замечательно, что уже в списках новгородских летописей конца XV — начала XVI в. форма *Софія*, как правило, уже не встречается, а вместо нее находим форму *Сѣфія*<sup>29</sup> (чередующуюся опять-таки с *Софія*).

Таким образом, мы можем довольно точно определить время, когда возникло противопоставление *Сѣфія* (крестное имя) — *Софія* (в значении «Премудрость»): это конец (или во всяком случае вторая половина) XV в. Формальный параллелизм противопоставлений *Софія* — *Сѣфія* и *Марія* — *Мáрия*, так же как и упоминание отождествления Марии Богородицы и Софии Премудрости, позволяет думать, что оба противопоставления возникли более или менее одновременно.

Аналогично эволюции *Мáрия* > *Марія*, после раскола каноническое имя *Сѣфія* было заменено на *Софія* (в точности тогда же, когда *Мáрия* было заменено на *Марія*: ударение *Софія* появляется в никоновском служебнике 1656 г. при том, что в его служебнике 1655 г. стоит еще *Сѣфія*), и таким образом противопоставление *Софія* — *Сѣфія* исчезло: форма *Софія* осталась как единственная каноническая форма.

Однако в отличие от имени «Мария» это изменение канонической формы не повлияло на русскую литературную форму данного имени: современное литературное (но не каноническое) *Сѣфія* восходит к архаической канонической форме. Старая (дониконовская) каноническая форма осталась и в названии праздника — обычно говорят о дне «Веры, На-

<sup>26</sup> См. об этом отождествлении: А. Г о л у б ц о в, Соборные чиновники и особенности службы по ним, М., 1907, стр. 21, 27, 29—31. Показательно, в частности, что храмовые праздники в Софийских соборах совпадали с богородичными праздниками (см. там же, стр. 30).

<sup>27</sup> И, следовательно, необоснованно распространено мнение (см., например: В. К і р а г с к у, указ. соч., стр. 242; А. В а е с к л у н д, указ. соч., стр. 21) о том, что *Софія* — старая русская форма, между тем как *Сѣфія* рассматривается как результат передвижения ударения в народной речи: по данным письменных источников как раз форма *Сѣфія* представляет собой форму на русской почве относительно более старую.

<sup>28</sup> См. в Лаврентьевской, Ипатьевской, I Новгородской летописях по спискам этого времени: «Полное собрание русских летописей», I (СПб., 1846), стр. 65, 67—70, 93, 128, 137, 138, 164, 194, 201; II (СПб., 1843), стр. 49, 51, 57, 62, 85, 92, 75, 144; III (СПб., 1841), стр. 52—54, 57, 60, 62, 67—71, 74.

<sup>29</sup> См. эту форму в относящихся к этому времени академическом списке I Новгородской летописи, строевом списке IV Новгородской летописи, I Софийской летописи: там же, III, стр. 84, 86, 93, 94, 98, 99; IV (СПб., 1848), стр. 20, 83; V (СПб., 1851) стр. 138, 149; VI (СПб., 1853), стр. 33. Ср. характерное противопоставление в последней летописи (по списку конца XV в.): «Обедни слушал у святѣи *Софи*и» и через несколько строк: «родился сын от царевны *Софи*и» (там же, VI, стр. 33).

дежды, Любви и матери их *Сѣбѣи*» (не *Софѣи*, хотя встречается и эта последняя форма).

Прочие имена на *-иѣ*. Точно так же современные разговорные формы *Евѣбѣиѣ*, *Настѣиѣ* и литературная *Параскѣиѣ* указывают на старое каноническое произношение *Евѣбкіѣ*, *Анастѣиѣ*, *Параскѣиѣ*. Действительно, именно эти формы мы находим в месецесловах XVI — XVII вв. Юго-Западной Руси — при том, что в соответствующих по времени московских месецесловах показано ударение *Евѣокиѣ*, *Анастѣиѣ* (но иногда и *Анастѣиѣ*), *Параскѣиѣ*. Великорусское ударение *Евѣокиѣ*, *Анастѣиѣ* сохранилось в канонической норме (между тем, форма *Параскѣиѣ* была заменена здесь на форму *Параскѣѣѣ*, ср. греч. *Παράσκευή*) и в литературной речи.

То обстоятельство, что южно-западные формы *Евѣбкіѣ*, *Анастѣиѣ*, *Параскѣиѣ* отразились в великорусской разговорной речи, позволяет предположить, что эти формы являются более архаичными, чем соответствующие великорусские канонические формы, т. е. что в свое время они были приняты и в Московской Руси (ср. в этой связи форму *ѣвѣдѣкѣѣ* в новгородском синодике XIV—XV в., ЦГАДА, ф. 381, № 141, л. 140) и лишь впоследствии были заменены на формы с ударным окончанием (вероятно, в силу тех же процессов, которые обусловили передвижение ударения в именах «Мария» и «София», т. е. в связи с приближением к греческому произношению и по аналогии с другими именами этого типа).

Вообще, если для великорусской традиции (которая в данном случае сохранилась по преимуществу и в современной канонической норме) более характерно ударение на окончании в женских именах на *-иѣ*, то для традиции Юго-Западной Руси характерно ударение в соответствующих формах не на окончании. Ср. великорусские канонические формы *Пеллагіѣѣ*, *Клавдіѣѣ*, *Лидіѣѣ*<sup>30</sup>, *Евпраксіѣѣ*, *Евламніѣѣ*, *Лукіѣѣ*, *Агніѣѣ*, *Хионіѣѣ* и т. п. при соответствующих южнозападнорусских *Пеллагіѣ*, *Клавдіѣѣ*, *Лидіѣѣ*, *Евпраксіѣѣ*, *Евламніѣѣ*, *Лѣцѣѣѣ*, *Хибніѣѣ*.

Надо сказать, что это различие имеет достаточно общий характер, распространяясь и на неличные собственные имена на *-иѣ* (в частности, географические названия), а также и на некоторые нарицательные имена с этим окончанием. Так, если для московских изданий XVI—XVII вв. характерна форма *ρῥεῖα* — *ρωρεῖα* (последняя форма — преимущественно после раскола), то в изданиях Юго-Западной Руси мы встречаем обычно *ρῶρεῖα*. Аналогично, современное (литературное) ударение *Азіѣѣ* соответствует форме *ἀσία* в старых южно-западных книгах, при великорусской форме *ἀσία* [ср., например, московское издание Апостола 1644 г., л. 39, и, с другой стороны, соответствующие места во львовском Апостоле 1639 г., л. 32, или в киевском 1630 г.; ср. также ударение *сиріѣѣ*, *итѣлліѣѣ*, *писидіѣѣ*, *памфіліѣѣ*, *йконіѣѣ*, *фригіѣѣ*, *финикіѣѣ*, *самаріѣѣ*, *антиохіѣѣ* (в вин. падеже) и т. п. в московском издании, лл. 29, 29 об., 31 об., 32, но, соответственно, *сиріѣѣ*, *итѣлліѣѣ*, *писидіѣѣ*, *памеѣлліѣѣ* (памфіліѣѣ), *йкѣнтіѣѣ*, *фрѣггіѣѣ*, *финікіѣѣ*, *самаріѣѣ*, *антиѣохіѣѣ* в южно-западных изданиях]. Ср. еще южнозападнорусское ударение *мѣсѣѣѣ* [например, в кн. «Мѣсѣѣѣ правдивый» Иоанникия Галатянского (Киев, 1669) и в других текстах] при великорусской форме *месѣѣѣ*.

Великорусские формы с ударным окончанием *-иѣѣѣ*, отвечающие, между прочим, греческому произношению соответствующих имен, остались (за единичными исключениями) в канонической традиции. Эти формы отразились и в просторечных формах на *-ѣѣѣ*. Ср. *Марѣѣѣѣ*, *Софѣѣѣѣ*, *Клавдѣѣѣѣ*,

<sup>30</sup> Ср., между прочим, такую же акцентовку данных имен и в Чудовском Новом Завете: *лидіѣѣ* (л. 69 об.) *лидіѣѣѣ* (в дат. падеже, л. 70 об.) *клавдіѣѣ* (т. е. «Клавдіѣѣ»), л. 140).

Агнѣя, Евдокѣя, Евпраксѣя, Зиновѣя, Сиклитѣя (от Сигклитикиѣя), Лампѣя (от Евлампіѣя); форма Пелагѣя при этом вошла в литературную норму.

Между тем, современные русские литературные формы, противопоставленные по своему ударению современным каноническим (ср. литер. *Клавдія*, *Лидія*, *Евпраксія*, *Евлампія*, *Хибнія*, *Зинбвія*, *Юлианія* при канонических *Кладіѣя*, *Лидіѣя*, *Евпраксіѣя*, *Евлампіѣя*, *Зиновіѣя*, *Иулианіѣя*) также восходят к старой канонической традиции — но традиции Юго-Западной Руси.

Ниже мы убедимся, что этот случай, т. е. обусловленность современных литературных форм старой южно-западной канонической традицией, достаточно характерен и для других имен (с иными окончаниями).

Мужские имена на *-ий*. Если современные литературные формы имен, оканчивающихся на *-ий*, всегда имеют ударение на предпоследнем слоге, то их канонические варианты достаточно часто имеют ударение на окончании. В ряде случаев противопоставление канонической и литературной формы вообще создается именно местом ударения, ср. литер. *Клавдій* — совр. канон. *Кладвіѣя* и т. п. Ударение на окончании в именах такого рода отражает великорусскую каноническую традицию, которая еще в большей степени, чем сейчас, проявляется в XVI—XVII вв. Действительно, очень значительная часть имен на *-ий* в московских месяцесловах XVII в. имеет ударное окончание. Ср.: *Сав(е)атій*, *Фотій*, *Мокій*, *Амплій*, *Гордій*, *Евтихій*, *Евсихій*, *Авдій*, *Мелетій*, *Конрій*, *Патрикій*, *Стахий*, *Ерміѣя*, *Левкій*, *Евдоксій*, *Евсегній*, *Кел(е)сій*, *Помній*, *Клавдій*, *Паусій*, *Ираклій*, *Ириній*, *Иеремій*, *Малахій*, *Помлій*, *Фалелій*, *Исихій*, *Феоклій*, *Феопреній*, *Макровій*, *Тивуртій*, *Фармуфій*, *Пуплій* и т. п.

Старые великорусские канонические формы с ударным окончанием (*-ій*) отразились в разговорных (просторечных) вариантах имен на *-ѣй*, ср. формы *Стахѣй*, *Савватѣй*, *Амплѣй*, *Клавдѣй*, *Фотѣй*, *Авдѣй*, *Гордѣй*, *Мокѣй*, *Ермѣй*, *Патрикѣй*, *Евтифѣй* (от *Евтихій*), *Малафѣй* (от *Малахій*), *Евстигнѣй*, *Левкѣй* и т. п.

Вообще, если русская форма имеет окончание *-ѣй* (под ударением), а соответствующий церковнославянский вариант — неударное окончание *-ий*, то, кажется, с известной вероятностью можно предполагать, что в церковнославянской форме имел место сдвиг ударения, т. е. что в свое время каноническая форма данного имени имела ударение на окончании<sup>31</sup>. Так, мы имеем, например, русскую (литературную) форму *Сергѣй* при церковнославянском варианте *Сѣргій*, причем последняя форма представлена и в великорусских изданиях XVI—XVII вв. (и, соответственно, у старообрядцев). Однако в свое время существовала каноническая форма *Сергій*, причем, можно думать, как раз она и представляет собой относительно более старую форму. Именно такое ударение показано в Чудовском Новом Завете: см. форму *сѣргіѣ* (род. падеж), л. 166 об., *сѣргіѣмѣ* (твор. падеж), л. 67; ср. еще ударение *сѣргій* в рукописном «Инокеском требнике» конца XVI — начала XVII в. (МГУ, № 1309, л. 4). Форма *Сергійѣ* встречается и в старых печатных месяцесловах Юго-Западной Руси; см. эту форму в святцах виленских изданий Нового Завета с Псалтырью около 1600 и 1623 гг. (старая каноническая форма *Сергій* обусловила, надо думать, и современное украинское *Сергій*). Точно так же современная разговорная форма *Федосѣй*, по-видимому, предполагает существование в прошлом канонической формы *Федосій*. Ср., в самом деле, подобное уда-

<sup>31</sup> Ср. в этой связи: P. N ü b n e r, Zur Lautgestalt griechischer Heiligennamen im Russischen seit dem 11. Jahrhundert, Bonn, 1966, стр. 245.— Разумеется, следует отвлечься при этом от возможных случаев аналогии, а также от случаев типа разг. *Василѣя*, которое может восходить к греч. Βασίλειος, тогда как канон. и литер. *Василій* отражает греч. Βασίλειος.

рение для второй половины XV в. в Евангелии МГУ, № 1304, л. 349 об.:  $\theta\epsilon\omega\sigma\iota\delta$ , в род. падеже<sup>32</sup>.

Надо сказать, что на несоответствие ударения в разговорных (просторечных) и литературных вариантах имен на *-ий* в свое время обращал внимание Л. Васильев<sup>33</sup>, приводя примеры: *Амплий* — *Амплэй*, *Авдий* — *Авдэй*, *Гордий* — *Гордэй*, *Ермий* — *Еремэй*, *Левкий* — *Левкэй*, *Мокий* — *Мокэй*, *Сергий* — *Сергэй*, *Стахий* — *Стэхэй*, *Евсигний* — *Евстигнэй*, *Евтихий* — *Естифэй* (sic!), *Саватий* — *Саватэй*, *Феодосий* — *Федосэй* (и ссылаясь также на ударение в фамилиях: *Авдеев*, *Гордеев*, *Левкеев*, *Мокеев*, *Стэхеев*, *Саватеев*, *Федосеев*); при этом Васильев рассматривает эти случаи как примеры переноса ударения с предпоследнего слога на последний в народных формах личных имен, т. е. как случаи разговорного видоизменения этих имен в народной речи. Васильев возражает в данном случае Н. В. Шлякову, который высказывал мнение, что в личных именах заметна тенденция к неподвижности ударения, как бы само имя ни изменялось в народных устах<sup>34</sup>. Как видим, в общем правым оказывается скорее Шляков, так как все приведенные Васильевым примеры доказывают как раз с о х р а н е н и е старого ударения при разговорном видоизменении — но ударения, восходящего к иной традиции, нежели та, что обусловила соответствующие литературные формы<sup>35</sup>.

Если русские просторечные формы на *-ей* восходят к старым каноническим формам великорусской традиции, то русские литературные формы также отражают старую каноническую традицию, но традицию произношения не Московской, а Литовской (Юго-Западной Руси). Действительно, в южнозападных русских месяцесловах XVI—XVII вв. мы обычно встречаем формы имен на *-ий* с ударением на предпоследнем слоге в тех случаях, когда в соответствующих московских месяцесловах показано ударение на окончании — т. е., иначе говоря, встречаем формы *Авдий*, *Гордий*, *Мокий*, *Стахий*, *Саватий*, *Фотий*, *Мелетий*, *Патрикий*, *Амплий*, *Левкий*, *Кельсий* (*Келесий*), *Евсегний* (*Евсегений*), *Евтихий*, *Евсигий*, *Евдоксий* и т. п., соответствующие современным литературным формам, но противопоставленные по ударению старым (а в значительной степени и современным) каноническим великорусским формам.

Замечательно при этом, что в украинском и белорусском языках формы данных имен имеют тем не менее ударение на окончании: ср. укр. *Гордій*, *Евстигій*, *Іриній*, *Овдій*, *Олексій*, *Сергій* или белорусск. *Аўд-*

<sup>32</sup> Необходимо подчеркнуть, что сказанное относится исключительно к формам с ударением на окончании *-ей* (< *-ий*). В памятниках русского языка (в летописях, грамотах) встречаются формы личных имен на *-ей* типа *Григорей*, *Игнатей*, *Прокофей* и т. п., нередко чередующиеся с формами тех же имен на *-и*, ср. *Григоры*, *Игнаты* и т. п., и в частности, совпадающие с этими последними формами в косвенных падежах (*Григорья*, *Игнатья* и т. п.; ср.: В. U n b e g a n, указ. соч., стр. 254—256). Однако данные формы появлялись в том случае, когда окончание было неударным — при том, что под ударением обычно было (особенно с XV в.) *-ий*, а не *-ей*. См. об этом: Л. В а с и л ь е в, К истории звука *ѣ* в московском говоре в XIV—XVII веках, ИОРЯС, X, 1905, кн. 2, стр. 219—224; е г о же, Вологодское Евангелие..., стр. 260—261, примеч.; Р. Н ü b n e r, указ. соч., стр. 65—89; А. В а с е к л u n d, Personal names in medieval Velikij Novgorod, Stockholm, 1959, стр. 66.

<sup>33</sup> См.: В. Л., К вопросу о народных формах личных имен, ИОРЯС, II, 1897, кн. 4, стр. 1138—1140.

<sup>34</sup> См. заметку Н. В. Шлякова «Веденей» в РФВ, 1897, 1—2, стр. 114—116. Шляков пишет, что «исключение представляет разве только имя *Марья* при месяцесловном *Марѣа* (зв. *Марѣе*) и, кроме того, «*Марей*», кажется, *Марк*».

<sup>35</sup> Сюда же относится, как можно видеть из вышестоящего рассмотрения, и форма *Марья*, которую Шляков считает исключением, а также, по-видимому, и форма *Марей*, если считать ее соответствующей не имени «Марк», а имени «Марий» (ср. акцентовку *ма́рий* в Прологе на сентябрь — февраль, М., 1642, л. 717).

*збѣй, Макеѣй, Гордзѣй, Савасцѣй, Стахѣй, Фядасѣй, Аникѣй, Гурѣй, Анупрѣй* и т. п. — причем такие же формы отмечаются здесь и в документах XVII—XVIII вв.<sup>36</sup> (не испытавших влияния церковной традиции произношения), т. е. в то время, когда в церковном произношении соответствующие имена звучали с иным ударением.

Из этого следует, прежде всего, что формы на *-ий* с ударением не на окончании (т. е. формы типа *Гордѣй, Мокѣй* и т. п.) должны были восприниматься в Юго-Западной Руси как специальные канонические формы, противопоставленные по своему произношению разговорным вариантам соответствующих имен. Далее, с вероятностью можно предположить, что формы с ударением на окончании, сохранившиеся в великорусской канонической традиции и отразившиеся в украинско-белорусской разговорной речи, относительно более архаичны, тогда как специфические канонические формы Юго-Западной Руси представляют собой формы относительно более новые, обусловленные, вероятно, уподоблением греческим формам (им. падежа) соответствующих имен — скорее всего, в результате второго южнославянского влияния.

Укажем в этой связи, что в Чудовском Новом Завете показаны формы (род. падежа) *димитріѣ, ергіѣ* (л. 166 об.), *дмеліѣ, стахѣѣ* (л. 107), *іоуліѣ, ерміѣ* (л. 107 об.), *клякдѣй ~ клякдѣй* (им. и предл. падежи, л. 71, 66 об.), хотя там же встречается и *димитрій* (л. 72 об.), *клякдѣи* (л. 76). Ср. еще форму *генадѣи* (предл. падеж) в записи писца в Геннадиевской библии 1499 г. (ГИМ, Син. 915, л. 1), формы *игнатіѣ, еѣѣсіѣ* (род. падеж) в свяцах Евангелия МГУ № 1304 второй половины XV в. (л. 349—349 об.) (Между тем, формы этих же имен с ударением не на окончании, которые можно встретить в великорусских текстах XV — начала XVI вв., по-видимому, объясняются южнославянским влиянием.)

Наконец, о древности ударения на окончании свидетельствуют и формы с аканьем, типа *Памѣи, Анапалѣи, Патракѣи*, нередкие в текстах XV—XVII вв.<sup>37</sup>, ср. также случаи типа *дзмтрѣѣ* в новгородском синодике XIV—XV вв. (ЦГАДА, ф. 381, № 141, л. 19 об.). Об этом же говорит, как будто, и краткий восходящий акцент в серб.-хорв. формах типа *Anastāsije, Tanāsije, Timòtije*, предполагающий, как известно, передвижение ударения.

**Ударение в именах на *-ил*.** В настоящее время имена собственные, оканчивающиеся на *-ил*, имеют в русском литературном языке ударение на окончании (ср. *Михаѣл, Самуѣл* и т. п.), а формы с ударением на предпоследнем слоге (*Михаѣло, Самуѣло*) воспринимаются как просторечные. Обычно считается при этом, что ударение в просторечных формах обусловлено разговорным видоизменением соответствующих литературных форм<sup>38</sup>; между тем, подобные формы непосредственно отражают старые великорусские канонические формы.

Действительно, до раскола в богослужебных текстах Московской Руси в качестве канонических имен употреблялись исключительно формы *Михаѣл, Самуѣл, Исмаѣл, Мисаѣл, Мануѣл* (и, соответственно, *Еммануѣл, Рафаѣл, Ибиль, Урѣл, Иезекиѣл, Салафѣл, Нафанѣл, Фифѣл* и т. п. Единственными исключениями являются имена *Гавриѣл* и *Даниѣл*, которые в месяцесловах XVII в. (также и в старообрядческой традиции) имеют обычно ударение на окончании; однако в старопечатных москов-

<sup>36</sup> См., например: М. В. Б і р љ а, *Беларуская антрапанімя*, Мінск, 1966, стр. 7, 52, 125.

<sup>37</sup> См.: Р. Н ѳ б е г, указ. соч., стр. 76, 91, 114.

<sup>38</sup> См., например: А. В. С у п е р а н с к а я, указ. соч., стр. 66; В. А. Н и к о в о в, указ. соч., стр. 67.

ских книгах (особенно нософской справы) можно встретить и ударение *Гаэрийл, Данийл* (см. эти формы, например, в Кирилловой книге, М., 1644, л. 52 об., 63 об., 109, 150, в Прологе на март — август, М., 1643, л. 137, 257, в Триоди цветной, М., 1648, л. 188).

Перенос ударения на окончание *-ил* в канонических формах имен произошел в результате никоновских и послениконовских книжных исправлений (хотя в отдельных канонических формах и сохранилось старое ударение). Прямые указания на этот процесс имеются в грамматических сочинениях конца XVII в. Так, в сочинении «*У исправленій впрежде печатаных книгахъ минаехъ...*» говорится: «Грамматіка учить въ правилѣ плато о ороографіи сице: опасно прочее блюдомо буди, въ греческѣ реченихъ ороографіи греческой, в латинскѣ латинстѣй хранимѣй быти, и въ еврейскихъ еврейстѣй: *икω... êммануїл* и прочая еврейская бо имена кончащаася вса на *илз*, просодією наладаніе гласа на кончаемомъ словѣ пріемлю, *икω данїилз, мїхайлз, габрїилз, мїсайлз, їсрайлз, рафайлз, ўрїилз їшїл*»<sup>39</sup>. Точно так же в рукописном славяно-греческом букваре «*Παίδων Προλαϊδεία*. Детѣй преднаказаніе», приписываемом братьям Лихудам (ГПБ, Соф. 1208), указывается: «еще опасно на *ѹчти дѣтице знати, *икω* имена еврейская вса кончащаася на *илз* пріемлю тонъ, варію, полагаему на кончаемомъ словѣ, *икω êммануїл, їсрайл, рафайл, ўрїилз, мїсайлз, їшїл* и прочая. Зане всѣхъ сихъ въ окончаніи лежаще, *ил*, являетъ има бжїе, не сице же пишемо и читаемо злѣ и растлѣно бѣдетъ, и не тожде знаменованіе рекше толкованіе возиметь» (л. 72).*

Старое великорусское ударение в именах на *-ил* осталось в отчествах (говорят *Михайлович, Самбйлович, Измайлович*, а не *Михайлович, Самулович, Измайлович*, хотя в отношении менее употребительных имен подобные формы возможны<sup>40</sup>), в фамилиях (*Михайлов, Самбйлов, Измайлов, Мануїлов*), наконец, как уже говорилось, и в некоторых просторечных формах: *Михайло ~ Михайла, Самбйло ~ Самбйла, Мануїло, Ивбйло* (от *Ибыль*) и т. п.

Между тем, современные литературные формы соответствующих имен (с ударением на окончании) отражают церковное произношение Юго-Западной Руси. Действительно, типичными южно-западными каноническими формами в XVI—XVII вв. являются *Михайл, Мануїл* (ср. также *Ежмануїл, Самуїл, Иоїль, Исмаїл, Мисаїл, Иезекиїл* и т. п.<sup>41</sup>,

<sup>39</sup> См.: К. Никольский, Материалы для истории исправления богослужбных книг, СПб., 1891, стр. 81. Замечательно, что данное место почти дословно повторяет цитированное выше (см. примеч. 10) правило из «Грамматикки» Мелетия Смотрицкого (1648 г.), на которую и ссылается анонимный автор данного сочинения, — но приводимые при этом примеры могут быть прямо противоположны по ударению примерам Смотрицкого: в самом деле, у Смотрицкого в качестве иллюстрации к настоящему правилу приводится ударение *мнхїилл*!

<sup>40</sup> В словаре Н. А. Петровского, правда, указываются, в качестве литературной нормы произношения формы *Михайлович* (наряду с *Михайлович*), *Самулович, Измайлович*, и т. п., но мы не можем в данном случае согласиться с составителем словаря. В то же время в церковнославянской (послениконовской) форме отчества ударение именно *Михайлович*, ср.: великий князь *Николїй Михайлович*, «великая княгиня *Анастасїа Михайловна*» (ср. выше об употреблении церковнославянских форм применительно к титулованным особам).

<sup>41</sup> Особенно показателны в этом отношении случаи и с п р а в л е н и я ударения: так, например, в святцах киевского Требника 1652 г. неправильно поставленный знак ударения над *Ѣ* в форме *самѢла* (под 20 августа) зачеркнут — во всех известных нам экземплярах требника — и ударение поставлено над буквой *и*.

противопоставленные великорусским каноническим формам того же периода, но соответствующие современному русскому литературному произношению.

Кажется, единственный случай, когда в литературном языке осталось старое великорусское ударение, представлен в форме *Израїль*<sup>42</sup> (замечательно, что форма *Израїль* воспринимается при этом как вульгарная).

Достоин внимания, что современные украинские и белорусские формы *Михайло*, *Мануйло* ~ *Манѳило*, *Самійло* ~ *Самбіло*, *Езакіиль* не соответствуют по ударению старым каноническим формам Юго-Западной Руси, но отвечают великорусским каноническим формам (см. выше, стр. 91, аналогичную ситуацию с именами на *-ий*). Не приходится объяснять это как позднейшее великорусское влияние, поскольку подобные формы бытовали в качестве неканонических, разговорных форм в Юго-Западной Руси и в XVI—XVII вв.<sup>43</sup> будучи противопоставлены церковным формам соответствующих имен, т. е. формам с ударением на *-ил* (последние должны были восприниматься, таким образом, как специальные канонические формы). Уже отсюда правомерно предположить, что великорусские донокровские формы имен на *-ил* являются более архаическими, нежели соответствующие формы Юго-Западной Руси<sup>44</sup>. Ср. в Чудовском Новом Завете отличающиеся от греческого ударения *ѣммануїлѣ* (л. 3 об.), *набандїлѣ* (л. 41 об.), в род. падеже *нафандїлѣ* (л. 41 об.), *самоуїлѣ* (л. 67 об.), *гамалїлѣ* (л. 74 об.), *салауїлѣ* (л. 3 об.), в твор. падеже *їуїлѣ* (л. 59 об.) — но, однако, там же *михїлѣ* ~ *михїлѣ* (лл. 92, 154), *идоднїлѣ* (л. 52); считаем возможным предположить, что последние формы здесь могут трактоваться как грецизмы<sup>45</sup> (характерно при этом, что старое ударение может сохраняться в относительно редких формах или в именах, не связанных с названием людей, — ср. в этой связи архаическое ударение в совр. *Израїль*).

Появление форм с ударением на *-ил* в церковном произношении Юго-Западной Руси можно приписать второму южнославянскому влиянию; действительно, подобные формы достаточно типичны как для южнославян-

<sup>42</sup> Это можно поставить, однако, в связь с тем, что ударение *Израїль* нередко показано и в книгах Юго-Западной Руси (в противоположность ударению в личных именах на *-ил* в этих книгах): см. эту форму, например, в разных изданиях Нового Завета с Псалтырью (Киев, 1658 г., Вильна около 1600 г. и 1623 г.), в Учительном Евангелии, Киев, 1637, но *Ісраїлѣ* у Беринды (см. изд.: «Лексикон словенороский Памви Беринди», Київ, 1961, стр. 212). Ср. любопытное замечание Крижанича о том, что «Билорѣсїанї пишѣт *Ізраїлѣ*», тогда как по мнению Крижанича надо говорить «*Ізраїлѣ*», а не «*Ізраїлѣ*» (см. «Грамаїтично заказанїе об руском језїку пона Јѣрка Крижанїца», М., 1859, стр. 152).

<sup>43</sup> См. примеры (со ссылками на белорусские административные записи XVI—XVII вв. или на польскую транслитерацию украинских имен XVII в.) в работах: М. В. Бирюла, указ. соч., стр. 92, 113, 121, 144; А. М. Залесский, Спостереження над українськими прїзвищами XVII в., «Дослїдження і матеріали з української мови», VI, Київ, 1964, стр. 135. Форма *Михайло* отмечается в украинских документах с 1368 г.; см.: В. Симонович, Українські іменки чоловічого роду на *-о* в історично-розвитку і освітленні, «Праці Українського високого педагогічного інститута ім. М. Драгоманова у Празі. Науковий збірник», I, Прага, 1929, стр. 341—342, ср.: А. Ваєскіупі, Personal names..., стр. 67.

<sup>44</sup> Отметим в этой связи, что наиболее вероятное объяснение образования форм *Михайло*, *Мануйло* и т. п. из *Михаил*, *Мануил*, предложенное Унбегауном (В. Унбегауп, указ. соч. стр. 59), становится верным только при условии, что в именах *Михаил*, *Мануил* и т. п. предполагается парокситонное ударение.

<sup>45</sup> См. вообще о грецизмах в этом памятнике (особенно в случае собственных имен): А. И. Соболевский, Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV—XV веках, СПб., 1894, стр. 25; Г. Воскресенский, Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка, «Чтения в Имп. Обществе Истории и Древностей Российских...», 1896, кн. 1, стр. 276.

ских текстов соответствующего периода, так и для русских (в том числе и великорусских) текстов южнославянской редакции. Тем самым, и современные литературные формы могут рассматриваться как продолжение южнославянского влияния, причем посредником между южнославянским и русским литературным произношением выступает каноническая традиция Литовской Руси.

Итак, как и в предыдущем случае, современные русские разговорные формы собственных имен отражают великорусскую каноническую норму произношения, а литературные формы — норму произношения Юго-Западной Руси.

Ударение на флексии в парадигме склонения. Различие между великорусским и южнозападнорусским изводами церковнославянского языка могло проявляться не только в формах им. падежа, но и в парадигме склонения. Так, в отличие от современной нормы произношения (как канонической, так и литературной), в дониконовской великорусской канонической традиции имена «Флор» и «Лавр» имели ударение на флексии <sup>46</sup>: ср., например, в род. падеже *Флорá, Лаврá*, в дат. *Флорú, Лаврú*, и т. п. <sup>47</sup> Иногда здесь встречается даже форма им. падежа л а в ё р з (соответствующая современной разговорной форме *Лавёр*): см. эту форму в «Грамматике» Мелетия Смотрицкого, М., 1648, л. 368, или в рукописном служебнике троцкого архимандрита Дионисия, 30-х годов XVII в. (ГБЛ, ф. 173 № 183).

Между тем в аналогичных по времени месяцесловах Юго-Западной Руси данные формы всегда имеют соответствующее современной норме произношения ударение на основе: *Флбра* и *Лáвра*, причем можно думать, что эти формы принадлежали специально церковному произношению, тогда как неканонические формы данных имен и здесь могли склоняться с ударением на флексии <sup>48</sup>.

В результате никоновской справки каноническими формами род. падежа становятся *Флбра* и *Лáвра* (см. эти формы уже в издании 1657 г. первоисправленного никоновского служебника). Церковное произношение Юго-Западной Руси обусловило и литературные формы данных имен. Между тем, великорусское церковное произношение, отчасти сохраняющееся в разговорной речи, отразилось в фамилиях *Фролба*, *Лаврбá* <sup>49</sup>.

<sup>46</sup> Таким образом, не соответствует действительности точка зрения Хюбнера (P. Hübnеr, указ. соч., стр. 254), который считает, что ударение на флексии в данных именах было характерно в прошлом для разговорной речи, противопоставленной церковному произношению.

<sup>47</sup> Отметим, однако, некоторое колебание ударения в зв. форме имени «Лавр». Старообрядцы произносят в зв. форме *Флорé* и *Лаврé* (см. эти формы в старообрядческом «Большом каноннике», М., 1909, л. 409; характерно, что ударение в зв. форме этих имен несколько лет назад было предметом специальной дискуссии в Рижской Гребенщиковской старообрядческой общине, которая окончилась в пользу указанного произношения). Однако в старопечатных книгах мы встречаем в зв. форме только ударение *Лáвре* (см. л á в р а й ф л о р é в августовской Минее, М., 1630 г., л. 322, или М., 1646 г., л. 318—318 об.), т. е. «Лавр» склоняется здесь так же, как «Петр»: *Лаврá, Петрá* в род. падеже, но *Лáвре, Пётре* в зв. форме (о зв. форме имени «Петр» см. примеч. 54).

<sup>48</sup> Ср. формы *Лавёр, Лаврú, Лаврбáвич, Фролбú* в старых белорусских записях, цитированных у М. В. Бирюлы (указ. соч., стр. 104, 169).

<sup>49</sup> В. А. Ицкович в своей статье «Ударение в фамилиях в русском языке» («Вопросы культуры речи», IV, М., 1963, стр. 59), рассматривая ударение *Фролба* как регулярное, ударение *Лаврбá* трактует как исключительный случай, полагая, что оно образовано от слова с неподвижным ударением: *лавр, лáвра, лáвры, лáвров*. Очевидно, однако, что эта фамилия образована от имени собственного, причем в его архаической форме (*Лаврá*), но даже если бы она была образована от нарицательного имени, то и в этом случае ее форма была бы оправдана, поскольку в XVIII в. говорили *лавр — лаврá*, откуда прилагательное *лаврбáвий* (см. об. этом: В. Кипарский, О колебаниях ударения в русском литературном языке, I, Хельсинки, 1950, стр. 92—93).

Можно полагать, что ударение на флексии в данных именах (*Флора́, Лавра́*) представляет собой достаточно древнее явление, которое в свое время могло распространяться на целый ряд имен. Так, в Чудовском Новом Завете мы наблюдаем иногда подобное ударение в формах от имени «Павел». Ср. пака̀л (род.), л. 99, пака̀лѣкы, л. 75 об., пака̀лѣк, л. 127 об., наконец, пака̀лѣз, л. 71 об. (ср. даже пака̀лѣзѣ, л. 67 — при греч. Παῦλος, лат. *Paulus*). Спорадически ударение на флексии может быть отмечено в памятниках XIV—XV вв. и в других именах, ср. сѣмѣѡнѣ ~ сѣмѣѡнѣ (вин.), χαριτωνѣ (род.), φιλίππѣ (зв.) в Чудовском Новом Завете, лл. 65—65 об., 166 об., 49, κσενεφοντѣ (род.) в Евангелии Никона Радонежского (ГБЛ, ф. 304, М. 8652), л. 8 об., ѡдрѣѡбѣ, ματθεῶκι в Геннадиевской библии (ГИМ, Син. 915), лл. 753 об., 782 об., а также миχѣѡ, прокопѣѡ, ѡнгѣѡ там же, лл. 906, 773, 636, если считать, что знак «вария» здесь указывает на ударение. С другой стороны, в ряде случаев ударение на флексии с большей или меньшей вероятностью может быть предположено для известного периода в прошлом на основании современных фамилий и отыменных названий<sup>50</sup> (ср.: *Иванѡв, Титѡв, Исакѡв, Кирьякѡв, Алтухѡв, Естухѡв*<sup>51</sup>, предполагающие ударение род. падежа: *Иванѣ, Титѣ, Исакѣ, Кирьякѣ, Естухѣ*<sup>52</sup>).

Если ударение на флексии может быть расценено как явление архаическое, то ударение на основе в ряде случаев (в том числе в склонении имен «Флор» и «Лавр») можно связать со вторым южнославянским влиянием: действительно, в результате последнего в русских текстах появляются болгаро-сербские формы имен с ударением на основе в тех случаях, когда соответствующие имена ранее имели ударение на флексии. Наиболее показательна в этом отношении история склонения имени «Петр», которое до южнославянского влияния имело ударение на флексии<sup>53</sup> [ср. в Чудовском Новом Завете формы петрѣ, петроу (петроу), петрѣ, петрѣкѣ<sup>54</sup> на лл. 65, 66 об., 83, 122 и др.]. С конца XIV и примерно до середины XVI в. мы встречаем, однако, формы пѣтрѣ, пѣтроу и т. п., соответствующие болгарскому и сербскому произношению (см. их, между прочим, и в Псалтыри митрополита Киприана, ГБЛ, ф. 173, № 142, л. 213 и др.); подобные формы появляются уже в Евангелии конца XIV в. ГПБ, Q. п. 1.2 (лл. 185, 188 об.) и являются типичными вообще для русских текстов указанного

<sup>50</sup> Ср.: А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, Л., 1925, стр. 138.

<sup>51</sup> См. эти формы, например, в словаре: М. В. Велсон, Dictionary of Russian personal names. With a guide to stress and morphology, Philadelphia, 1964. — Ср. характерное чередование ударения в старых белорусских текстах: *Ісакѡу* и *Ісакѡу, Айтѡу* и *Алтухѡу* (см.: М. В. Биряля, указ. соч., стр. 68, 90).

<sup>52</sup> В некоторых случаях подобное ударение прослеживается в старых синодиках: ср. тѣѡ в синодике XVI в. ГИМ, Епарх. 414, л. 65 об. (ср.: Р. Нибег, указ. соч., стр. 256), ѡсѣкѣ в новгородском синодике XIV—XV в., ЦГАДА, ф. 381, № 141, л. 83, хотя нельзя быть вполне уверенным, что акцентные знаки указывают здесь на ударение.

<sup>53</sup> Ср. архаическую акцентовку в названии церковного праздника: *Петровѣ* дни (род.), *Петровѣ* дни (дат.), о *Петровѣ* дни (предл.).

<sup>54</sup> Однако в пѣтрѣ в зв. форме, как в Чудовском Новом Завете (л. 66), так и во все последующие эпохи, включая и современное церковнославянское произношение. Полагаем, что указанная форма непосредственно отражает греч. зв. Пѣтрѡс — в точности также же, как зв. *Никѡлас* восходит прямо к греч. зв. форме Νικόλαος (см. выше, примеч. 7). Таким образом, зв. форма в силу своего значения и функционирования может непосредственно соотноситься с соответствующей греч. формой, а не подчиняться общему принципу образования парадигмы. Соответственно, эта форма обладает относительной независимостью в парадигме, на ней не отражаются обычно изменения, претерпеваемые (в связи с книжной справой) другими формами того же имени.

периода. В XVI в., однако, каноническое произношение снова возвращается к ударению на флексии, т. е. к норме XIV в.: *Петрѣ, Петру* и т. п. По всей вероятности, аналогичную эволюцию испытали и имена «Флор» и «Лавр» — с той, однако, разницей, что здесь произошла дифференциация норм Московской и Юго-Западной Руси: если в Московской Руси в XVI в. вернулись к старому русскому произношению, то в канонической норме Юго-Западной Руси остались южнославянские формы, которые в дальнейшем (после никоновских реформ) оказали влияние на общерусское церковное и литературное произношение.

Точно так же еще и в наше время могут быть прослежены рефлексии южнославянского влияния на канонические формы имени «Петр» в Юго-Западной Руси (*Пётра* и т. п.): по любопытному свидетельству И. Огиенко в восточнорусских говорах принято говорить «на *Пётра* и *Павла*», если имеется в виду церковный праздник, но когда речь идет о людях говорят: «пшов до *Петрѣ*, бачив *Павлѣ*»<sup>55</sup>. Следовательно, формы *Пётра*, *Павла* воспринимаются здесь именно как канонические формы, будучи противопоставлены по ударению формам просторечным; при этом первые обусловлены, по-видимому, южнославянским влиянием, а вторые соответствуют каноническим формам более раннего времени (ср., действительно, точно такие же формы в Чудовском Новом Завете).

**Прочие имена. Некоторые обобщения.** Мы могли более или менее подробно рассмотреть лишь несколько наиболее характерных примеров, которые демонстрируют различные возможности соотношения старых церковнославянских и современных литературных форм имен. Но те же выводы могли бы быть получены и из рассмотрения других имен (см. приводимые ниже сопоставления): в абсолютном большинстве случаев русские литературные формы имен восходят к соответствующим каноническим формам XVI—XVII вв., причем в значительной степени то же утверждение может быть распространено и на разговорные формы имен. При этом разница в произношении литературных и разговорных форм нередко отражает соответствующие различия в церковном произношении Московской и Юго-Западной Руси.

В свою очередь, поскольку старые канонические формы имен могут быть обусловлены вторым южнославянским влиянием, постольку можно говорить о продолжении этого влияния и в современном русском языке<sup>56</sup>.

Необходимо отметить, с другой стороны, что целый ряд церковнославянских форм — отразившихся и в русском языке — обнаруживают следы искусственного происхождения. Примером может служить дониконовская великорусская форма *Аввакум*, встречающаяся и в книгах Юго-Западной Руси (ср. белорусск. *Вбкум*, *Ббкум*, наряду с *Бокун*, отражающей ударение *Аввакум*); ср., с другой стороны, совр. серб.-хорв. *Авакич*, *Авакик* с тоном, предполагающим передвижение ударения с предпоследнего слога. Можно полагать, что старое ударение *Аввакум* (не соответствующее ни греч. Ἀββακούβη, ни евр. *hābāqūkūk*, *habbāqūk*) обусловлено грамматическим переосмыслением (реэтимологизацией) данного имени, где оно было разложено на компоненты, соответствующие арамейским формам, известным греко-славянским книжникам по евангельскому тексту. Так, первый компонент данного имени был, по-видимому, отождествлен с греческой (арамейского происхождения) формой ἄββᾶ, т. е. «отец» (которая про-

<sup>55</sup> См.: И. Огиенко, Наголос, яко метод означения місця виходу стародрукованих книжок, «Записки наукового товариства імені Шевченка», 136—137, Львів, 1925, стр. 199. — Ср. прямо противоположное по своему принципу противопоставление в великорусском произношении: в род. падеже *Покровѣ*, *Петровѣ* (о празднике), но *покрѣва* (имя нарицательное), *Петрѣва* (о человеке).

<sup>56</sup> Отражение второго южнославянского влияния в дониконовских канонических формах и в современных русских формах имен, так же как и возможность объяснения из греческого тех или иных акцентных различий, специально рассматривается в нашей книге «Из истории русских канонических имен» (м., 1969).

тивостоят в языке грецизированной форме  $\alpha\beta\beta\alpha\varsigma$ , откуда слав. *авва*), см. эту форму в греческом тексте Евангелия: 'Αββὰ ἰ Πατήρ, т. е. «авва отец» (Марк, XIV, 36; Римл., VIII, 15; Галат. IV, 6); между тем, второй компонент мог быть соотнесен с известной арамейской фразой в евангельском тексте (Марк, V, 41) «ταββα κῦμι», т. е. «девица встань» (причем в старых славянских и греческих списках последнее арамейское слово встречается и в форме *кумъ*<sup>57</sup>). См., действительно, именно такое осмысление данного имени (не соответствующее его действительной этимологии) в словаре Берында<sup>58</sup>:

«Авва бо отецъ. Кѣмъ же встанѣи. Имя прѣнаж или у Максима Грека в его списке имени с толкованѣм, см. по списку XVI в. [ГБЛ, ф. 173, № 21 (35)], л. 119: «Авваκ<sup>М</sup> еврѣиска пословица. Токѣстѣ ѡ ѡбъ востанѣю». Такое же толкование встречаем и в списках сочинений «Рѣчь жидовскаго языка» [см. по списку конца XIV в., ГБЛ, Троиц. 2 (2027), л. 150 об.: Аввакумъ ѡ ѡбъ встанѣи] и «А се имена жидовская русскы тълкована» (см. по списку XIII в., ГИМ, Син. 132: Аввакоу<sup>М</sup> ѡ ѡбъ вставладѣи)<sup>59</sup>, а также и в старых греческих ономастиконах<sup>60</sup>. Итак, данное осмысление произошло, по-видимому, на греческой почве, но отразилось оно на славянской форме.

Не менее показательны в этом же отношении и имена, начинающиеся на *Фео-*, которые в докиновской великорусской традиции часто имеют ударение на этом сочетании: ср. здесь *Фебфан*, *Фебфила*, *Фебеност*, *Фебфония* при соответствующих южно-западных канонических формах *Феофан*, *Феофила*, *Феогибст*, \**Феофония*. Если южно-западные формы определили современное литературное и (за исключением «Феофила») послениковское церковнославянское произношение данных имен, то великорусские канонические формы отразились в разговорной речи (ср. разг. *Фобфан*, откуда имя нарицательное *фобфан*<sup>61</sup> и фамилия *Фобфанов*). Это же явление (т. е. ударение на *Фео-*) в еще большей степени характерно для южнославянских текстов и русских текстов южнославянской редакции XV—XVI вв. (южнославянской традицией обусловлены, надо думать, и цитируемые великорусские докиновские формы); ср., помимо уже приведенных форм, обычное здесь ударение *Фебдула*, *Фебктист*, *Фебфилакт*, *Фебдосий* и т. п. (ср., в частности, подобные формы в Псалтыри митрополита Кириана, ГБЛ, ф. 173, № 142, лл. 192, 237 об., 242 об.).

При этом подобное ударение совсем не всегда соответствует греческому произношению соответствующих имен. Так, если слав. *Феддор*, *Фебфила*, *Фебгист*, *Фебктист* и т. п. соответствуют по ударению греч. *Феддорос*, *Фебфилос*, *Фебгностос*, *Фебктостос*, причем из ударения в греческих косвенных формах можно объяснить и акцентовку *Феофила*, *Феогибст*, *Феоктист*, — то ударение *Фебфан*, *Фебфилакт*, *Фебдосий* невыводимо из греч. *Феофанης*, *Фебφιλᾶτος*, *Фебδιστος*.

Можно предположить, что ударение на этом сочетании обусловлено тем, что *фео* означает по-гречески «бог», и, соответственно, данные формы представляют собой искусственные псевдокоррективы книжного происхождения, т. е. результат искусственного грамматического осмысления греческой формы южнославянскими книжниками. Любопытно сопоставить это явление с цитируемым выше (см. стр. 93) требованием из букваря конца XVII в. ставить ударение на слог *-ил* в именах с этим окончанием, поскольку *ил* означает «бог» по-еврейски. Ср. в этой связи и характерное южнославянское ударение на сочетании *Дис-* в именах, начинающихся таким образом, объясняемое, думается, аналогичным значением данного сочетания. Ср. обычные здесь ударения *Дибнисий*, *Дибмидий* (например, в Псалтыри Кириана, лл. 200—201, 244, 261, и в других памятниках) при греч. *Διονύσιος*, *Διωμαΐδης*.

Мы видим, что искусственные по своему происхождению формы могут отражаться не только в литературной, но и в разговорной речи (ср. разг. *Абакум*, *Фобфан* и т. п.).

<sup>57</sup> См.: Г. Воскресенский, указ. соч., стр. 248; P. de Lagarde, *Onomastica sacra*, Gottingae, 1887, стр. 223 (№ 19978).

<sup>58</sup> См.: «Лексикон словенороский Памви Беринди», Київ, 1961, стр. 171 (Берында ссылается при этом на Максима Грека).

<sup>59</sup> Оба источника цитирую по изданию: Л. С. Ковтун, *Русская лексикография эпохи Средневековья*, М. — Л., 1963, стр. 420 и 415.

<sup>60</sup> См. тексты, изданные де Лагардом (P. de Lagarde, указ. соч.): 'Αμβακοῦρ πατήρ ἐυφύριον (стр. 203, № 173<sup>66a-67</sup>); 'Αμβακοῦρ πατήρ ἐυφύριστος (стр. 224, № 200<sup>14-15</sup>).

<sup>61</sup> Ср., однако, произношение имени собственного *Фофан* (см.: Н. А. Петровск и й, указ. соч., стр. 220) и имени нарицательного *фобфан*, (см.: М. Р. Фасмер, *Греко-славянские этюды*, III, СПб., 1909, стр. 215), восходящее к южно-западной канонической форме *Феофан*.

Рассмотрим возможные типы соответствия современных литературных форм собственных имен каноническим формам (дониконовским и послениконовским)<sup>62</sup>.

В наиболее характерном случае современные русские литературные формы отражают дониконовские канонические формы Юго-Западной Руси (противопоставленные великорусским каноническим формам); этот случай представлен особенно наглядно тогда, когда соответствующие разговорные формы тех же имен отражают, напротив, великорусские канонические формы.

Необходимо заметить, с другой стороны, что и современные канонические формы имен также в значительной степени продолжают норму произношения Юго-Западной, а не Московской Руси: действительно, никоновская и послениконовская справа собственных имен в целом ряде случаев свелась к замене старых великорусских канонических форм на южно-западные формы (особенно в тех случаях, когда такая замена могла быть оправдана греческим произношением соответствующих имен). (Можно объяснить это тем, что книжная справа второй половины XVII в. в большой степени производилась по киевским и другим южнoзападнорусским книгам<sup>63</sup>). Ср. следующие примеры, где литературное произношение соответствует как дониконовской норме Юго-Западной Руси, так и послениконовской норме:

Доникон. канон. форма Моск. Руси	Доникон. канон. форма Юго-Зап. Руси	Совр. канон. форма	Совр. литер. форма	Разг. форма
Сав(в)атій	Сав(в)атій	Савватій	Саватій	Савватей
Фотій	Фотій	Фотій	Фотій	Фотей
Евтихій	Евтїхий	Евтїхий	Евтїхий	Евтифей
Евпсихій	Евпсїхий	Евпсїхий	Евпсїхий	
Патрикій	Патрїкий	Патрїкий	Патрїкий	Патрикей
Мелетій	Мелетїй	Мелетїй	Мелетїй	Мелетей
Пайсій	Пайсїй	Пайсїй	Пайсїй	
Ирїний	*Ирїний	Ирїний	Ирїний	
Ираклїй	*Ираклїй	Ираклїй	Ираклїй	
Копрїй	*Копрїй	Копрїй	Копрїй	

<sup>62</sup> В приводимых далее соответствиях при ссылке на каноническую норму Юго-Западной Руси, мы приводим типичные формы, в частности, отвлекаемся от случаев интерференции великорусских форм в южнoзападнорусских изданиях. Иногда наряду со специфической южно-западной канонической формой в скобках указывается вариант, соответствующий великорусской форме; это значит, что оба варианта достаточно характерны для южнoзападнорусских старопечатных книг. Наконец, в нескольких случаях то или иное имя вообще не встречалось нам в изданиях Юго-Западной Руси, и мы даем гипотетическую форму; такие случаи помечены астериском.

<sup>63</sup> В этом отношении очень показателен, между прочим, хранившийся в собрании Типографской библиотеки (ЦГАДА, ф. 381, № 14) правленый (так называемый «кочынный») экземпляр печатного московского Апостола 1671 г. (сама справа производилась в 1679 г.), исправления в котором часто снабжены на полях пометой: *киевск.* (т. е. ссылкой на соответствующее киевское издание). Замечательно, что подобная ссылка имеется и в том случае, когда исправление носит не содержательный, а чисто формальный (орфографический, фонетический, грамматический) характер — в частности, ее можно встретить и при изменениях в орфографии собственных имен.

Зависимость никоновской и послениконовской справа от книг «литовской печати», с другой стороны, была достаточно очевидна для противников новых реформ. Так, ссылкой справщик Савватий писал в своей челобитной (1862 г.): «Нрав по грехом таков у нынешних московских грамматиков, что новое не объявится — за тем и пошлѣ, а старое свое доброе покинув... печатают от литовския печати взяв. А прежде сего на Москве литовския печати непотребныя речи правила, а ныне опять за то же принялися; забыли то, яко инѣ литовския печати книги на Москве и огню предавали» («Челобитная чернца Савватия», в изд. «Три челобитные...», СПб., 1862, стр. 44).

Парасковія	Параскѣвия	Параскѣва	Праскѣвья	Парасковѣя
Мастридія	*Мастрїдія	Мастрїдія	Мастрїдія	
Феофанія	*Феофанія	Феофанія	Феофанія	
Михаїл	Михайл	Михайл	Михайл	Михаїло
Самуїл	Самуїл	Самуїл	Самуїл	Самбїло
Иойль	Иойль	Иойль	Иойль	Ивбїло
Мисаїл	Мисаїл	Мисаїл	Мисаїл	
Иезекїиль	Иезекїиль	Иезекїиль	Иезекїиль	
Фифаїл	*Фифаїл	Фифаїл	Фифаїл	
Соломон (Саламан)	Соломон (Саламан)	Саламан	Соломон	
Феофан	Феофан	Феофан	Феофан	Фофан (но и Фофан)
Феогност	*Феогност	Феогност	Феогност	
Аввакум	Аввакум (Аввакум)	Аввакум	Аввакум	Абакум
Виктор	Виктор	Виктор	Виктор	
Кондрат	Кондрат	Кондрат	Кондрат	
Орест	Орест	Орест	Орест	
Тарх	Тарах	Тарах	Тарах	
Евпл	Евпл	Евпл	Евпл	
Флора	Флора	Флора	Флора	Фрола } род.
Лавра	Лавра	Лавра	Лавра	Лавра } пад.

Соответственно, в приведенных случаях в принципе можно предполагать влияние на литературное произношение и позднейшей (послениконовской) канонической нормы, которая могла выступать в качестве посредника между старым литургическим произношением Юго-Западной Руси и современной русской литературной речью. Однако имеется достаточно большое количество примеров, когда мы должны констатировать не посредственное влияние южно-западного церковного произношения на литературный язык, т. е. таких случаев, когда современная литературная норма отвечает дониконовской южно-западной, а не великорусской традиции при том, что в канонических формах соответствующих имен осталось великорусское ударение (тем самым литературные формы собственных имен оказываются в этих случаях противопоставленными по своему ударению современным каноническим формам). Ср.:

Доникон. канон. форма Моск. Русн	Доникон. канон. форма Юго-Зап. Русн	Совр. канон. форма	Литер. форма	Разг. форма
Зиновія	Зинѣвия	Зиновія	Зинѣвия	Зиновѣя
Клавдія	Клѣвдія	Клавдія	Клѣвдія	Клавдѣя
Евпраксія	Евпрѣксія	Евпраксія	Евпрѣксія	Евпраксѣя (но и Апрѣксія)
Евлампія	Евлѣмпія	Евлампія	Евлѣмпія	Лампѣя
Агнія	*Агнія	Агнія	Агнія	Агнѣя
Лидія	Лїдія	Лидія	Лїдія	
Хионія	Хиѣнія	Хионія	Хиѣнія	
Иулианія (Улиана)	*Иулиѣнія	Иулианія	Юлиѣнія	Улѣяна
Соломонія	Соломонія	Соломонія	Соломонія	
Гордій	Гѣрдій	Гордій	Гѣрдій	Гордѣй

Мокій	Мѡкий	Мокій	Мѡкий	Мокѣй
Авдій	Аѡдйй	Авдій	Аѡдйй	Авдѣй
Амплій	Ампльйй	Амплій	Ампльйй	Амплѣй
Левкій	Лѣвкйй	Левкій	Лѣвкйй	Левкѣй
Клавдій	*Клѡвдйй	Клавдій	Клѡвдйй	Клавдѣй
Стахий	Стѡхйй	Стахий	Стѡхйй	Стахѣй
Малахий	Малѡхйй	Малахія	Малѡхйя	Малафѣй
Евсегній	Евсѣгнйй	Евсигній	Евсѣгнйй	Евстигнѣй
Помпій	*Пѡмпйй	Помпій	Пѡмпйй	Помпѣй
Ермий	Ермйй	Ермий	Ермйй	Ермѣй
Евдоксий	Евдѡксйй	Евдоксий	Евдѡксйй	
Кельсий	Кѣльсйй	Кельсий	Кѣльсйй	
Мануил	Мануѣл	Мануѣл	Мануѣл	Манѡѣло
Измаѣл	Исмѡѣл	Измаѣл	Измаѣл	Измаѣло
(Исмѡѣл)				
Нафанѣил	Нафанѡѣл	Нафанѣил	Нафанѡѣл	
Климент	Климѣнт	Климент	Климѣнт	
Иов	Иѡв (Иѡв)	Иов	Иѡв	
Феѡфил	Фѣѡфѣл	Феѡфил	Фѣѡфѣл	
Онисѣфор	Онисѣфѡр	Онисѣфор	Онисѣфѡр	Анцѣфѡр

Гораздо менее характерен случай, когда современное литературное произношение отражает старые великорусские (а не противопоставленные им южно-западные) канонические формы. Поскольку канонические формы соответствующих имен при этом также обычно следуют великорусской традиции (за исключением имен «Мирон» и «Пантелеимон»), можно думать, что литературное произношение в данном случае испытало влияние позднейшей (послениконовской) канонической нормы<sup>64</sup>. Ср. относящиеся сюда примеры:

Доникон. канон. форма Моск. Руси	Доникон. канон. форма Юго-Зап. Руси	Совр. канон. форма	Литер. форма	Разг. форма
Евдокія	Евдѡкйя	Евдокія	Евдокія	Авдѡтъя Евдѡкѣя
Анастасія	Анастѡсйя	Анастасія	Анастасія	Настѡсъя
Пелагій	Пелѡгйя	Пелагій	Пелагѣя	
Лукія	Лѣцйя	Лукія	Лукѣя	
Марія (Богородица)	Мѡрйя	Марія	Марѣя	
Софія (Премудрость)	Сѡфйя	Софія	Софѣя	
Мамант	Мамѡнт	Мамант	Мамѡнт	
Максим	Мѡксйм	Максим	Максѣм	
Онѣсим	Онисѣйм	Онѣсим	Онѣсйм	
Прѡхор	Прѡхѡр	Прѡхор	Прѡхѡр	
Никѣфор	Никѣфѡр	Никѣфор	Никѣфор	

<sup>64</sup> Показательно, с другой стороны, что южно-западная норма нередко имеет в этом случае варианты, соответствующие великорусской традиции (ср. «Максим», «Онѣсим», «Прѡхор», «Никѣфор», «Кѡзма»); соответственно можно считать тогда, что литературное произношение отразило южно-западные формы (аналогично рассмотренным выше примерам), но формы не специфические, а совпадающие с великорусскими.

Козма́	Кѡзма (Козма́)	Косма́	Кузьма́	
Трифѡн	Трифѡн	Трифѡн	Трифѡн	Трифѡн
Мирѡн	Мирѡн	Мирѡн	Мирѡн	
Пантелѣймон	Пантелѣймѡн	Пантелѣймѡн	Пантелѣймѡн	Пантелѣймѡн <sup>65</sup>

Естественно, что и разговорная форма имени обычно также отвечает при этом великорусской традиции произношения, часто вообще не отличаясь от литературной формы (причем в отличие от литературного произношения здесь правомерно предполагать непосредственное влияние старых великорусских канонических форм на разговорную норму — не через позднейшую каноническую норму). Если же, однако, разговорная форма соответствует старому церковному произношению Юго-Западной Руси (т. е. имеет место случай, прямо противоположный описанному выше, когда литературная форма отражает южно-западную, а разговорная — великорусскую каноническую форму), то с известной вероятностью можно предполагать, что южно-западная каноническая форма в свое время была представлена и в Московской Руси. Ср. разг. *Евдѣтя*, *Настѣся*, *Трифѡн*, соответствующие старым южно-западным каноническим формам *Евдѣкья*, *Анастѣся*, *Трифѡн*, а не великорусским *Евдокия*, *Анастѣя*, *Трифѡн*, которые остались и в литературном произношении.

Наконец в ряде случаев современное литературное произношение продолжает общую для Московской и Юго-Западной Руси дониконовскую норму, отличающуюся от современной канонической нормы; разговорные формы при этом не отличаются по ударению от литературных. Надо сказать, вообще, что в тех (относительно редких) случаях, когда в результате книжных исправлений появилась новая каноническая форма (не продолжающая ни ту, ни другую из дониконовских традиций) великорусская и южно-западная канонические формы обычно совпадают в произношении. Ср.:

Доникон. канон. форма Моск. Руси	Доникон. канон. форма Юго-Зап. Руси	Совр. канон. форма	Литер. форма
Сѡфѣя (крестное имя)	Сѡфѣя	Софѣя	Сѡфѣя
Артѣмѡн	Артѣмѡн	Артѣмон	Артѣмѡн
Капитѡн	Капитѡн	Капитѡн	Капитѡн
Мемнѡн	Мемнѡн	Мѣмнѡн	Мемнѡн
Иассѡн	Иассѡн	Иѣссѡн	Яссѡн
Андрѡник	Андрѡник	Андрѡник	Андрѡник
Агафѡник	Агафѡник	Агафѡник	Агафѡник
Кал(л)ѣн(н)ик	Кал(л)ѣн(н)ик	Каллиник	Каллиник
Клеѡник	Клеѡник	Клеѡник	Клеѡник
Стратѡник	Стратѡник	Стратѡник	Стратѡник
Флегѡнт	Флегѡнт	Флѣгѡнт	Флегѡнт
Айфѣла	Айфѣла	Айфѣла	Айфѣла } {род. пад.

<sup>65</sup> Иногда считают, что в литературной речи допустимо как произношение *Пантелѣймѡн* (соответствующее дониконовской великорусской норме), так и *Пантелѣймѡн* (соответствующее старой южно-западной норме); см. И. И. Огиенко, Об ударении в собственных именах исторических лиц, писателей, деятелей и т. п., Киев, 1912, стр. 72 (характерно, что украинский ученый может считать допустимым в литературном языке произношение, соответствующее старой канонической форме Юго-Западной Руси), ср. также А. В. Суперайская, указ соч., стр. 63. Трудно согласиться с Н. А. Петровским, который приводит в качестве литературной форму *Пантелѣймѡн* (указ. соч., стр. 174); эта форма является канонической, но едва ли присуща литературному произношению.

Характерно, что в тех случаях, когда никоновская справа не продолжила ни великорусскую, ни южно-западную каноническую норму, новые канонические формы обычно не оказывали влияния на литературное произношение. Можно привести лишь единичные примеры, когда литературная форма обусловлена новой канонической формой, причем старая каноническая форма сохранилась в этих случаях в разговорной форме имени. Ср.:

Доникон. канон. форма Моск. Руси	Доникон. канон. форма Юго-Зап. Руси	Совр. канон. форма	Литер. форма	Разг. форма
Мáрия (крестное имя)	Мáрия	Марíя	Марíя	Мáрья
Никóла	Никóла	Никола́й	Никола́й	Никóла

\*

В итоге представляется возможным утверждать, что русские литературные формы собственных имен преимущественно отражают литургическое произношение Юго-Западной Руси. Действительно, если рассмотреть только явные случаи влияния дониконовских канонических форм на современное литературное произношение, т. е. отвлечься от тех случаев, когда последнее может быть обусловлено позднейшей канонической нормой<sup>66</sup>, так же как и от случаев, когда великорусские и южно-западные формы вообще не различались между собой, то окажется, что случаи отражения в литературном произношении старой великорусской нормы крайне редки (ср.: *Мирóн*, *Пантелéймон*) — при достаточно большом количестве примеров, когда литературный язык отражает южно-западные канонические формы.

Это влияние южно-западного церковного произношения на литературный язык естественно поставить в связь с наплывом в Москву украинского и белорусского духовенства во второй половине XVII—XVIII вв. Мы видели, что южно-западная норма церковного произношения, отчасти отразившись на церковнославянском языке позднейшей редакции, могла оказывать и непосредственное влияние на русский литературный язык. Можно объяснить это тем, что в XVII—XVIII вв., в связи с упомянутым наплывом южно-западного духовенства, в великорусских церквях звучали южно-западные ударения — безотносительно к тому, соответствовали или нет эти ударения новоисправленным текстам<sup>67</sup>.

Естественно полагать, что влияние церковного произношения Юго-Западной Руси на русский литературный язык сказалось не только на форме собственных имен; между тем, рассмотрение последних позволяет оценить степень этого влияния.

<sup>66</sup> Влияние поздней канонической нормы на литературный язык было возможно, в частности, во второй половине XIX — начале XX вв: именно с этого времени становится употребительной, например, форма *Георгий* (см.: В. О. Унбегаун, Le nom de Georges en russe, «Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves», VI, Bruxelles, 1938). Точно так же в начале XX в. московские интеллигенты могли говорить *Иоанн* вместо *Иван* (см.: В. К а т а е в, Трава забвенья, «Новый мир», 1967, 3, стр. 24); ср. в этой связи сказанное выше, стр. 84, о вытеснении приблизительно в это же время формы *Лéв* произношением *Лев*. Как справедливо замечает Унбегаун, *Авдотья* Панаева, живя она лет на 50—60 позже, называла бы себя *Евдокией* (В. О. Унбегаун, указ. соч., стр. 328, примеч. 2).

<sup>67</sup> Характерно, с другой стороны, что в приниконовских изданиях мы встречаем такие формы, отвечающие произношению Юго-Западной Руси, как *Исмайл* (см. в Требнике, М., 1658), *Июль* (в Служебнике, М., 1656), которые в дальнейшем либо вообще не закрепились в канонической норме (ср. совр. канон. *Исмаил*), либо вошли в нее значительно позже (ср. канон. *Ибиль* в месяцесловах до 1891 г.).

К. М. ЛЮБИМОВ

## ОБ ОДНОЙ ГРУППЕ СЛОВСОЧЕТАНИЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ (На материале турецкого языка)

Среди большого многообразия так называемых парных слов<sup>1</sup>, или иначе парных словосочетаний имен<sup>2</sup>, имеется группа словосочетаний типа *ana baba* «мать и отец», *kari koca* «жена и муж»<sup>3</sup>, *koçun keçi* «овцы и козы», *el ayak* «руки и ноги», *kitap defter* «книги и тетради». Как в турецких словосочетаниях, так и в русских переводах оба слова синтаксически равноправны и морфологически однородны; они одинаково дополняют друг друга и составляют в конкретной ситуации некую привычную пару.

Пара подобных слов, составляющая словосочетание без сочинительного союза<sup>4</sup>, принимается многими исследователями турецкого и других тюркских языков за одно «парное слово», которое выражает одно понятие и поэтому должно переводиться, как правило, одним русским словом-соответствием. Так *ana baba* «мать и отец» принимается за одно слово со значением «родители», *kari koca* «жена и муж» наделяется значением «супруги», *el ayak* «руки и ноги» — значением «конечности» и т. д. Некоторые «парные слова» переводятся на русский язык несколькими словами, которые выражают опять-таки одно собирательное понятие, например, *koçun keçi* «мелкий рогатый скот» (дословно «овцы и козы»), *gece gündüz* «круглые сутки» (дословно «ночь и день»).

Если же подобным «парным словам» невозможно подобрать русского соответствия в виде одного слова или группы слов с общим собирательным значением, то они исключаются из категории «парных слов» без каких-либо объяснений; так, *baba oğul* «отец и сын», *biçak çatal* «нож и вилка», *kâğıt kaleм* «бумага и ручка», *kitap gazete* «книги и газеты», *tavuk ördek* «куры и утки» *ekmek su* «хлеб и вода» не включаются в число «парных слов».

Возникает вопрос: какими критериями пользуются исследователи тюркских языков, относя или не относя к «парным словам» подобные словосочетания? По нашему мнению, таких критериев нет и выявить их невозможно. Подбор русских слов-соответствий не может считаться научным обоснованием природы «парных слов».

Пытаясь прояснить природу подобных словосочетаний, прежде всего надо установить, что понимают тюркологи под термином «парные слова» — два слова, составляющие пару, или две части, составляющие слово? В отличие от западноевропейских языков, где парные слова характеризуются как «два слова в составе фразеологической единицы с соотносенным значением и ярко выраженным звуковым подобием, например: лат. *volens nolens*»<sup>5</sup>,

<sup>1</sup> В. А. Гордлевский, Избранные сочинения, II, М., 1964, стр. 63.

<sup>2</sup> Н. К. Дмитриев, О парных словосочетаниях в башкирском языке, «Иzv. АН СССР», VII серия, Отделение гуманитарных наук, 1930, 7; см. также его «Граматику башкирского языка» (М — Л., 1948, стр. 74—75).

<sup>3</sup> В русском языке обычное сочетание *отец и мать, муж и жена*.

<sup>4</sup> Заметим попутно, что некоторые понятия русской действительности, выраженные двумя словами с сочинительным союзом, на турецком языке передаются точно такими же «парными словами»: *серп и молот* как *orak çekiç* (бук.: «серп и молот»).

<sup>5</sup> О. С. А х м а н о в а, Словарь лингвистических терминов, М., 1966, стр. 312.

в тюркских языках «под парными словами понимается однородное логическое целое», выражающее «одно понятие» без соединительного союза «между частями» (В. А. Гордлевский), или «два составных элемента, которые объединяются в нечто целое» (Н. К. Дмитриев).

Следовательно, и В. А. Гордлевский, и Н. К. Дмитриев считают, что в тюркских языках два знаменательных слова, сливаясь в подобную пару, теряют свои основные значения и превращаются в части нового слова с иным более сложным значением, соответствующим одному понятию. А. Н. Кононов рассматривает подобные словосочетания в ряду типов «сложных существительных»<sup>6</sup>, тем самым он признает, что «парные слова» есть не что иное, как сложные слова. Р. А. Аганин, специально занимавшийся исследованием повторов и парных словосочетаний, называет подобные словосочетания «однородными парными сочетаниями»<sup>7</sup>. Но суть дела остается одной и той же: все упомянутые авторы считают подобные словосочетания словами, состоящими из двух элементов.

Теперь посмотрим, как ведут себя «парные слова» при падежном склонении и при possessивном спряжении. Оба компонента их регулярно участвуют в так называемом possessивном спряжении<sup>8</sup>, например: *Anan baban var mı?* «У тебя есть мать и отец?»; *Anam babam yok* «У меня нет ни матери, ни отца»; *Anası babası yoktur* «У него нет ни матери, ни отца»<sup>9</sup>; *Ahmedin koynu keçisi var* «у Ахмеда есть и овцы, и козы»; *Elim ayağım işim müştür* «У меня озябли руки и ноги»; *Yusufun evi toprağı var* «У Юсуфа есть и дом, и земля». При падежном склонении каждый компонент словосочетания также получает соответствующий показатель<sup>10</sup>: *Kâğıdı kalemi bana veriniz* «Подайте мне бумагу и ручку».

Каждый элемент подобного словосочетания независимо от того, снабжен он какими-либо аффиксами или нет, несет на себе самостоятельное ударение<sup>11</sup>.

Турецкий язык, как и все тюркские языки, по природе своей бессоюзный язык. В нем нет своих ни сочинительных, ни подчинительных союзов. Имеющиеся в небольшом количестве союзы заимствованы из арабского и персидского языков в довольно позднее время. Специфическая особенность турецкого языка — сочетаемость слов и предложений особыми способами, которые исключают необходимость применения тех или иных союзов. Пары слов, как правило, сочетаются простым перечислением (*baba oğul* «отец и сын»), иногда могут сочетаться через посредство послелога *ile* (*baba ile oğul* «отец с сыном»). В настоящее время встречаются и словосочетания с сочинительным союзом, заимствованным из арабского языка (*baba ve oğul* «отец и сын»). Однако словосочетания типа *baba oğul* «отец и сын» являются и в настоящее время естественными и нормальными. Их следует считать свободными словосочетаниями.

<sup>6</sup> А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, М. — Л., 1956, стр. 124.

<sup>7</sup> Р. А. Аганин, Повторы и однородные парные сочетания в современном турецком языке, М., 1959.

<sup>8</sup> См.: В. А. Гордлевский, указ. соч., стр. 64; см. также стр. 124.

<sup>9</sup> Заметим, что у турок нет слов «родители» и «супруги» и они обходятся словосочетаниями «мать и отец», «жена и муж». И когда при переводе на русский словосочетания «мать и отец», «жена и муж» в конкретных случаях заменяются словами «родители», «супруги», это несколько не означает, что турецк. *ana baba* и *kari koca* идентичны русск. *родители* и *супруги*.

<sup>10</sup> В. А. Гордлевский, указ. соч., стр. 64.

<sup>11</sup> А. Н. Кононов, указ. соч., стр. 128.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## ОБЗОРЫ

## ВОПРОСЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМАТИКИ

Парадигматика — это теория языка, понимаемого как система элементов, объединяемых в некоторые классы и связанных отношением противопоставления<sup>1</sup>. Под парадигмой в настоящем обзоре понимается система форм, различающихся по крайней мере одним формальным элементом. Это определение, которое удобно считать рабочим, позволяет сопоставлять различные парадигматические концепции.

Понятие парадигмы в современной лингвистике связывается с различными уровнями языка. Выделяются фонематические, акцентные, морфологические, словообразовательные, лексические, синтаксические парадигмы. Общность основных характеристик позволяет говорить об изоморфизме парадигм разных уровней языка.

Парадигматический аспект языка получает лингвистическое признание с распространением идей Ф. де Соссюра<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Это наиболее распространенное употребление термина «парадигматика». Употребление его в значении «совокупность парадигм» в каждом отдельном случае должно быть оговорено.

<sup>2</sup> Не получила резонанса — высказанная задолго де Соссюра (1870) — мысль И. А. Бодуэна де Куртена о необходимости разграничения ассоциативного и процессуального аспектов языка. Автор указывал на «различие языка как определенного комплекса известных составных частей и категорий, существующих только in potentia и в собрании всех индивидуальных оттенков, от языка как беспрерывно повторяющегося процесса, основывающегося на общительном характере человека и его потребности воплощать свои мысли в ощущаемые предметы собственного организма и сообщать их существованию подобным, то есть, другим людям (язык — речь — слово человеческое)» (И. А. Бодуэн де Куртене, Избранные труды по общему языкознанию, I, М., 1963, стр. 77). В виде «склонений» и «спряжений» и спорадических замечаний относительно «тождественно-

Расчленение langage «речевой деятельности» на parole «речь» и langue «язык» необходимо привело автора к разграничению синтагматики и парадигматики<sup>3</sup>. В современном языкознании в его различных направлениях парадигматический подход к языку занял ведущее место. На IX лингвистическом конгрессе было продемонстрировано, по словам Р. Якобсона, «преимущественное внимание к парадигматической оси», в противоположность распространённому в недавнем прошлом дистрибуционалистскому подходу, учитывающему языковые явления исключительно на синтагматической оси<sup>4</sup>. Грамматика все в большей мере приобретает характер набора парадигм<sup>5</sup>.

В рамках настоящего обзора будут рассмотрены только вопросы синтаксической парадигматики. Понятие синтаксической парадигмы относится к числу новейших лингвистических понятий. Без риска ошибиться развитие данной проблематики можно отнести к последнему десяти-

различных» форм парадигматика находила место в науке о языке на всем пути ее развития. Однако самостоятельным и более или менее строго очерченным разделом лингвистики она становится лишь в новое время.

<sup>3</sup> Ф. де Соссюр говорил об «ассоциативных отношениях», соединяющих «элементы отсутствующие (in absentia) в потенциальный, мнемонический ряд» («Курс общей лингвистики», М., 1933, стр. 121). Термин «парадигматический» был введен Л. Ельмслевом (см.: А. М. Мухин, Функциональный анализ синтаксических элементов, М.—Л., 1964, стр. 7).

<sup>4</sup> Р. Якобсон, Итоги Девятого конгресса лингвистов, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 584—585.

<sup>5</sup> «Грамматика — это список парадигм» (Ю. Д. Апресян, Экспериментальные исследования семантики русского глагола, М., 1967, стр. 204); «...грамматическая категория существует только в парадигме» (М. М. Гухман, Грамматическая категория и структура парадигм, «Исследования по общей теории грамматики», М., 1968, стр. 160).

летию, когда сформировался более или менее очерченный соответствующий понятийно-терминологический аппарат.

Лингвистические школы, хронологически наиболее близкие стоявшие к Сосюру и принявшие его основные дихотомии, не оперируют понятием синтаксической парадигмы. В известной мере это обусловлено снятием в программе структурализма противопоставления синтаксиса и морфологии и по сути отождествлением «синтагматики» и синтаксиса, «парадигматики» и морфологии.

К отождествлению этих категорий склоняются женевицы и Л. Теньер. В Лондонской школе изофункциональным, «синтаксическим» разрядам слов противопоставляются морфологические разряды — «парадигмы»<sup>6</sup>. В теоретической программе глоссематики содержится тезис, допускающий и синтаксическое выражение парадигмы: «Язык может быть определен как парадигматика, чьи парадигмы манифестируются в ю б м материале» (разрядка наша. — Ю. К.)<sup>7</sup>. Однако конкретизация этого тезиса в работах глоссематиков идет лишь в направлении сведения (через ряд взаимосвязанных понятий) парадигматики к морфологии (функции в системе) и синтагматики к синтаксису (функции в процессе или тексте)<sup>8</sup>. Пражская школа противопоставляет себя тем школам и лингвистам, которые следуют указанному отождествлению<sup>9</sup>. Морфология и синтаксис рассматриваются как два разных уровня грамматической абстракции: «слова и формы слов, выражающие морфологические оппозиции, представляют лишь средства, которыми

пользуется предложение как грамматическая единица высшего порядка»<sup>10</sup>. Синтагматика и парадигматика «проходят через все слои языка»<sup>11</sup>. Однако выявленные парадигматических отношений на синтаксическом уровне фактически снимаются утверждением, согласно которому основной задачей синтаксиса является определение синтагматических отношений и морфологических средств (опозиций) их выражения<sup>12</sup>. Парадигматическая концепция прагматов помещена целиком в морфологию — и это следует как из программных Тезисов, так и из итогового обзора (Трика и др.).

Дескриптивная лингвистика свою главную задачу усматривала в изучении дистрибуции языковых единиц (в «классической» модели — морфем) в процессе речи. Синтагматика заняла определяющее место в работах дескриптивистов. Однако последовательно осуществляемая идентификация единиц речи (с применением метода субституции) позволила З. Харрису на одном из этапов исследования приблизиться к парадигматическому пониманию синтаксических структур. На уровне отождествления сочетаний морфем (сложных синтаксических единиц) З. Харрис обращается к явлению эквивалентности, позволяющему различать внешне идентичные конструкции, ср.: *She made him a good husband, because she made him a good wife* «Она сделала из него хорошего мужа, потому что сама была для него хорошей женой». Для допускающей двоякое толкование конструкции *she made him a good wife* автор находит более однозначный эквивалент *she made a good wife for him*. «...попытка применить понятие эквивалентности к синтаксическим сочетаниям отражает стремление выйти за рамки синтагматики и ввести в синтаксис понятие парадигматических рядов»<sup>13</sup>. Тем самым синтаксическая парадигматика признается генетически связанной с применением в рамках дескриптивной лингвистики (а точнее — на стадии внутреннего преодоления ее метода) процедуры эквивалентных замен.

Трансформационная парадигматика строится на понятии семантической эквивалентности. З. Харрис пришел к понятию эквивалентных замен (синтаксическому ряду) через метод субституции: идентифицируя двусмысленную конструкцию эквивалентной ей однозначной, он помещал этот эквивалент на место идентифицируемого. В дальнейшем семантический эквивалент как опора син-

<sup>6</sup> Е. С. Кубрякова, Из истории английского структурализма (Лондонская лингвистическая школа), «Основные направления структурализма», М., 1964, стр. 341.

<sup>7</sup> Л. Ельмслев, Прологомены к теории языка, «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 364.

<sup>8</sup> «Различие между парадигматическими зависимостями (функциями системы) и синтагматическими зависимостями (функциями процесса, то есть текста) может в грубом приближении соответствовать нечетким различиям между морфологией и синтаксисом...» (Х. Спанг-Хансен, Глоссематика, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 330—331).

<sup>9</sup> «Различие между синтаксисом и морфологией представляется некоторым структуралистам (сторонникам Женевицкой школы, Карцевскому, Грубецкому, Брендалю, Гардинеру) как различие между анализом «синтагматическим» и «парадигматическим» (Б. Трика и др., К дискуссии по вопросам структурализма, в кн.: В. А. Звегинцев, История языковедения XIX—XX веков в очерках и извлечениях, 3-е изд., М., 1965, стр. 161).

<sup>10</sup> Там же, стр. 161—162.

<sup>11</sup> Там же, стр. 162.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Н. Д. Арутюнова, Г. А. Климов, Е. С. Кубрякова, Американский структурализм, «Основные направления структурализма», М., 1964, стр. 279.

таксического ряда все более теряет связь с функциональным эквивалентом. На это указывал и Э. Харрис<sup>14</sup>. В синтаксической парадигматике понятие функционального эквивалента становится периферийным, по сути избыточным. Позиция уступила место значению.

Действительно, противопоставляемые эквиваленты различаются: функциональный эквивалент допускает «свертывание» смысла: *Я вижу, что подходит поезд* → *Я вижу это*; обобщающий компонент (*это, то и др.*) не может быть членом синтаксико-семантической парадигмы. Семантический эквивалент не всегда способен занимать, подобно функциональному эквиваленту, позицию своего коррелята: семантически близки (объединены одной парадигмой) конструкции *Студент читает книгу* и *читаемая студентом книга*, однако трудно найти позицию, в которой оба варианта были бы взаимозаменяемы. Тем не менее, проследившая особенности формирования парадигматической концепции в синтаксисе, нельзя пройти мимо идеи функционального соответствия<sup>15</sup>, которая в той или иной мере повлияла на определение понятия семантического (структурно-семантического, парадигматического) ряда.

Синтаксическая парадигматика обязана своим становлением трансформационному методу. Парадигма в трансформационной грамматике понимается как ряд структурно различающихся, но семантически соотносительных конструкций — предложений, словосочетаний. Семантическая соотносительность создается общностью лексем и общностью ситуации, понимаемой как неизменное от-

ношение между членами ситуации: предложение *Собака укусила человека* и *Человек укусил собаку* имеют одни и те же лексемы (семантемы), однако представляют различную ситуацию и не могут рассматриваться как трансформы одно другого<sup>16</sup>.

С представлением трансформационной парадигмы связан ряд проблем, от решения которых зависит то или иное ограничение парадигматического ряда, фиксация парадигмы. Наиболее актуальными признаются проблемы инвариантности значения и определения минимальной, ядерной структуры. Что считать семантическим инвариантом, центром всей группы? Какую синтаксическую структуру признавать исходной, ядерной? Отношение между парадигматическими рядами и ядерными структурами обратно пропорциональное: чем меньше ядерных структур, тем шире парадигматические ряды, и наоборот. Некоторые исследователи предлагают различать ядерные структуры и ядерные предложения. Отношения между ними могут быть как конструктивного характера (структура обязательно двучленна, предложение может быть и одночленным, например: *Тошнит*<sup>17</sup>), так и отношениями семантического инварианта и конструкции (ядерная структура представлена лишь своими семантическими основами: *Профессор-чита-лекции*)<sup>18</sup>.

В трансформационной грамматике признается важным определить границы развертывания исходной структуры. Многокомпонентное, достаточно протяженное предложение не может служить основой для построения парадигмы, так как количество всевозможных преобразований предложения (как его структуры в целом, так и отдельных компонентов) выразится многозначной цифрой. Парадигма станет фактически неуправляемой<sup>19</sup>. Поэтому

<sup>14</sup> Э. Харрис, Совместная встречаемость..., стр. 541.

<sup>17</sup> Z. d. O. l. i. v. e. r. i. u. s. Dvě poznámky k problematické syntaktické paradiigmatiky, сб. «Strukturální typy slovanšské věty a jejich vývoj (materiály pro syntaktické symposium, Brno, 19—23/X — 1966)», стр. 89 и сл. [ротапринт].

<sup>18</sup> П. Адамс и В. Грабе, Трансформация, синтаксическая парадигматика и члены предложения, «Slavia», XXXVII, 2, 1968.

<sup>19</sup> Из предложения нем. *Die Eltern verzeihen ihrem Sohne seine Untaten* «Родители прощают сыну его проступки», которое в определенном смысле можно считать ядерным (если принимать во внимание валентности глагола), Ф. Юрт получает посредством 15 правил порождения 200 новых предложений. При увеличении предложения хотя бы на один компонент намного увеличится число производных структур (см.: Т. М. Николаева [реценз. на кн.:] F. N. i. o. r. t. h., Zur formalen Charakterisierung des Satzes, ВЯ, 1963, 3).

<sup>14</sup> «Классы или последовательности классов (и их члены) взаимозаменяемы в определенных позициях в этих конструкциях. Нельзя считать, что в основе трансформаций лежит тот же принцип. Трансформации основаны на ином отношении — на отношении эквивалентности; оно не рассматривается в дескриптивной лингвистике» (Э. Харрис, Совместная встречаемость и трансформация в языковой структуре, «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 632).

<sup>15</sup> Понятие функциональных замен широко разрабатывается в Женевской школе («транспозиция» у А. Сешеэ, «функциональная транспозиция» у Ш. Балля; пример параллельно транспонированных конструкций: *Чтоб мой сын был счастлив!*: *Я хочу, чтобы мой сын был счастлив*: *Я хочу счастья моему сыну!*), в трудах Л. Теньера («трансляция»). Обзор современных работ по функциональной транспозиции, осмысляемой исследователями неоднозначно, дает Е. Крж и ж к о в а в статье «Первичные и вторичные функции и т. н. транспозиции форм», «Travaux linguistiques de Prague», 2, 1966; здесь же приводится библиография вопроса.

предлагается ограничить синтаксическую систему языка небольшим числом ядерных предложений, снабдив их правилами развертывания, расширения и субституции.

Исследователи указывают на иерархическое устройство парадигмы<sup>20</sup>. Построение синтаксической парадигмы, не учитывающее этой иерархии, так или иначе неудовлетворительно. Достаточно трудно определить иерархическое соотношение между рядоположенными конструкциями *Žák píše?* «Мальчик пишет?», *Což žák nepíše?* «Почему мальчик не пишет?», *Žáku, piš!* «Мальчик, пиши!», *Žáku, neměl bys psát* «Мальчик, ты не должен бы писать», *At' (kež) žák písel* «Пусть мальчик пишет!», «Если бы мальчик писал!», *Žák musí psát* «Мальчик должен писать», *Samozřejmě, že žák píše* «Само собой разумеется, что мальчик пишет», *Ten žák písel* «Этот мальчик пишет!», *Píše žák!* «Пишет мальчик!», восходящими к одному типу<sup>21</sup>. Появление их в ряду обязано в одном случае формально-грамматическому фактору, в другом — лексическому, в третьем — интонационному, в четвертом — какой-либо комбинации этих факторов. Р. Мразек подчеркивает необходимость иерархического представления соотносительных конструкций. Автор несколько осложняет свою задачу выбором термина как для ведущих, так и для производных конструкций — «тип». Число таких типов предложения в том или ином славянском языке признается равным нескольким стам<sup>22</sup>.

Наиболее полно вопросы синтаксической парадигматики, опирающейся на трансформационную теорию, но не ограничиваемой ею, представлены в работе Д. С. Уорта, написанной к V конгрессу славистов<sup>23</sup>. Парадигматическая кон-

цепция Д. С. Уорта строится на следующих основных положениях:

1. Синтаксический уровень языка не может интерпретироваться исключительно в терминах морфологии и семантики. Морфологические средства и семантические «отношения», хотя и являются частично релевантными для синтаксиса, находятся на его периферии.

2. Синтаксис представляет собой внутренне связанную, иерархически упорядоченную систему, основу которой составляет небольшое число ядерных предложений, далее не разложимых.

3. Обнаружению системного характера синтаксиса должен послужить трансформационный метод. Однако данный метод является лишь одним из возможных методов системного описания синтаксиса, он находится еще в стадии предварительной разработки и нуждается в проверке на ряде языков<sup>24</sup>. Парадигматическая концепция достаточно независима от концепции генеративной грамматики<sup>25</sup>.

4. Синтаксическая парадигма определяется как комплекс коррелирующих синтаксических структур, различающихся по крайней мере одной морфемой. Простейшие синтаксические парадигмы ничем не отличаются от соответствующих морфологических парадигм в их реальном воплощении в предложении, более сложные синтаксические парадигмы выходят за рамки морфологии.

Д. С. Уорт различает простые и комплексные парадигмы, а внутри простых — линейные и нелинейные.

В простой линейной парадигме изменениями затрагиваются лишь те грамматические значения, которые связаны условиями согласования: *Я (ты, он) видел его, Мы видели его* и т. д. Варьируя формы времени и объекта, можно получить многомерные парадигмы, но все они будут строго линейными.

В простой нелинейной парадигме выявляется более тесная связь между компонентами, чем обнаруживаемая в случае согласования. Так, сербская парадигма *Ja sam ga video, Ti si ga video, On ga je video* (а не \**On je ga video*) не ограничивается модификацией формы лица, но и требует для 3-го лица изменения порядка слов. Положение осложняется, если объектом является местоимение женского рода: переход к 3-му лицу требует не только изменения порядка слов, но и изменения формы объектного местоимения

<sup>20</sup> Ср.: «Подобно тому как синтагматический аспект языка являет собой сложную иерархию непосредственных и опосредствованных составляющих, точно так же и аранжировка элементов в парадигматическом аспекте характеризуется сложной многоступенчатой стратификацией». Типологическое сравнение различных языковых систем должно учитывать эту иерархию» (Р. Якобсон, Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание, «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 98).

<sup>21</sup> R. M r á z e k, *Historickosrovnávací studium větných typů*, «Otázky slovanské syntaxe», Praha, 1962, стр. 169.

<sup>22</sup> R. M r á z e k, *Deduce a empirie při srovnávací typologii slovanské věty*, сб. «Strukturní typy slovanské věty...».

<sup>23</sup> D. S. W o r t h, *The role of transformations in the definition of syntagmas in Russian and other Slavic languages*, «American contributions to the V International congress of slavists», Sofia, 1963, The Hague (preprint).

<sup>24</sup> По словам одного из участников IX лингвистического конгресса, приводимым Д. С. Уортом, «трансформационная грамматика подобна айсбергу: она вне еще на 9/10 вне поля зрения» (D. S. W o r t h, указ. соч., стр. 62).

<sup>25</sup> На это же указывает О. Лешка («Место трансформационных отношений в языковой структуре», «Československá rusistika», XI, 2, 1966, стр. 66).

(*ju* вместо *je*). В русской парадигме *Он профессор, Он был профессором, Он будет профессором* варьирование во времени вызывает изменения падежа предикатива (именительный — творительный), и это становится очевидным только из парадигмы. В других славянских языках временной фактор может не иметь формообразующего значения (ср.: серб. *On je profesor, On je bio profesor, On će biti profesor*, польск. *On jest profesorem, On był profesorem, On będzie profesorem*). Подобные факты позволяют автору высказать важную мысль: структурные различия между языками обнаруживаются не из сравнения отдельных предложений этих языков, а из сопоставления парадигм.

В комплексной парадигме изменениями затрагивается ряд грамматических значений: *Он учитель, Я считаю его своим учителем, Он признан лучшим учителем* и т. д. Модификации комплексных парадигм достаточно свободны. Комплексные парадигмы, как их показал автор, могут быть представлены в виде пучка, каждый луч которого образует новый пучок. В центре пучка — гипертагма, начинающая парадигму парадигм, или гиперпарадигму. Гипертагма образует тагмы, тагмы — собственные парадигмы, аллотагмы<sup>26</sup>. Пример гипертагмы: *студент читает книгу*; примеры тагм: 1) *студенты читают книгу*; 2) *книга читается студентами*, 3) *книга, которая читается студентами*, 4) *читающие книгу студенты*, 5) *читаемая студентами книга*, 6) *чтение книги студентами*, 7) *книга, чье чтение студентами*, и др.; аллотагм (для первой тагмы): *студенты читают, читали, будут читать книгу* (изменения во времени), *студенты читают книгу, книги* (варьируется число), *студенты читают, прочитают книгу* (видовое различие) и т. д.

Если комплексные парадигмы Уорта представляют собой трансформационные ряды, то простые (линейные и нелинейные) парадигмы строятся автором вне межмодельных преобразований. Это соответствует провозглашенному автором тезису о независимости концепции синтаксической парадигматики от трансформационной (генеративной) грамматики.

Первой отечественной попыткой построить синтаксическую парадигму вне межмодельных преобразований следует считать работу Е. А. Седелъниково-

<sup>26</sup> Автор представляет синтаксические парадигмы как изоморфные морфологическим. Указывается, что высокий параллелизм структур на морфологическом и синтаксическом уровнях позволяет использовать более изученные первые для описания вторых. В параллель морфологическим терминам и взамен недифференцированной «синтагмы» автор вводит синтаксические термины: аллотагма, тагма и гипертагма.

в а<sup>27</sup>. Автор исходит из трансформационной концепции, но считает необходимым ограничить понятие парадигматического ряда. Предлагается рассматривать в качестве объективных характеристик предложения, наряду с межмодельными преобразованиями (трансформациями), также и внутримодельные<sup>28</sup>. Предложение — член нескольких парадигматических рядов. Основанием для вхождения в ряд является противопоставление минимум по одной из категорий: времени, модальности, лица, числа, рода и вида сообщения. Все преобразования осуществляются внутри данной модели. Различие между моделями определяется структурой синтагмы, категориальной принадлежностью ее членов, характером и количеством парадигм модели. Подчеркивается, хотя и в самой общей форме, принципиальная несводимость парадигмы предложения к морфологической парадигме глагола<sup>29</sup>.

Автор оставляет в стороне вопрос возможной дифференциации, «иерархизации» признаков: все они (модальность, число, род и пр.) фактически признаются равноценными для характеристики структуры предложения. В соответствии с таким пониманием автор и строит различные модели.

Предложения *Он читает* и *Мальчик читает* признаются манифестациями разных моделей: второе предложение, в отличие от первого, не имеет противопоставлений по категории лица; кроме того, подлежащие этих предложений выражены разными частями речи. *Рассвет брезжит* и *Мальчик читает* — также разные модели: они различаются в выражении категории числа, помимо этого, их глаголы-сказуемые входят в разные ассоциативные ряды: *брезжит* сочетается только с неодушевленным существительным, *читает* — только с одушевленным. Третья модель образуется глаголами-сказуемыми, сочетающимися как с одушевленными,

<sup>27</sup> Е. А. Седелъников, Структура простого предложения с точки зрения синтагматических и парадигматических отношений, ФН, 1961, 3; этой же проблематикой автор кратко касается в работе «Еще о синтагматической теории», ВЯ, 1961, 1, стр. 75, 80—81.

<sup>28</sup> Как систему «парадигматических тождеств внутри данной модели предложения» определяет парадигму предложения Д. Н. Шмелев в «Несколько замечаний к построению синтаксической теории», ФН, 1961, 3, стр. 89—90.

<sup>29</sup> Ряд *Я пишу, Ты пишешь, Он пишет* «вопреки широко распространенному и культивируемому в школьной практике взгляду ... не есть парадигма глагола. Это парадигма простого предложения» (Е. А. Седелъников, Структура простого предложения ..., стр. 70). И далее: «Форма предложения не предста-

так и неодушевленными существительными, и т. д.<sup>30</sup> Внутренние преобразования (по указанным признакам<sup>31</sup>) дополняются внешними (трансформациями). Предлагается различать «ассоциативные» и «парадигматические» отношения, соотнося их как род с видом. «Ассоциативные» отношения должны охватывать также ряды изофункциональных единиц: *читать книгу, письмо, газету*.

Т. П. Ломтев связывает с понятием парадигмы как отношения между различными моделями предложения, сводимыми к семантическому инварианту (трансформации; парадигматический ряд в терминологии автора, например: *Дом строили плотники — Дом строился плотниками*), так и отношения между различными высказываниями, грамматически отождествляемыми (*Петр любил Ивана, Федор презирал Сергея, Павел ненавидел Сергея*; парадигматическая серия). Для парадигматического ряда постоянным является смысл, переменным — форма, для парадигматической серии постоянным является форма, структура, переменным — смысл<sup>32</sup>.

Парадигматическая концепция Н. Ю. Шведовой<sup>33</sup> опирается на следующую

идею: «Предложение представляет собой простой суммы грамматических форм слов. Формы слов, составляющие форму предложения, вступают в синтагматические отношения и образуют качественно новую лингвистическую единицу, свойства которой не равны сумме свойств форм слов» (там же, стр. 71).

<sup>30</sup> Для структуры «существительное — глагол в 3-м лице ед. числа автор устанавливает три модели предложения: *Мальчик читает, Кошка спит, Кузнец стучит* (1 модель), *Телега стучит, Лес шумит, Дождь идет* (2 модель), *Рассвет брезжит, Дождь дождит, Голова болит* (3 модель). Из 2 и 3 модели в результате трансформаций образуются новые модели: *Телега стучит → Стучит, Рассвет брезжит → Брезжит, Свет светает → Светает* и пр.

<sup>31</sup> Представляется противоречащим концепции самого автора включение в систему парадигматических рядов противопоставления по виду сообщения (изъявительность — вопросительность — повелительность). Вид сообщения рассматривается Е. А. Седелниковым как явление коммуникации, синтагматики, «надграмматически». Правоммерно ли в таком случае объединять собственно грамматические противопоставления с неграмматическими?

<sup>32</sup> Т. П. Ломтев, *Природа синтаксических явлений* (к вопросу о предмете синтаксиса), ФН, 1961, 3, стр. 33—36.

<sup>33</sup> Н. Ю. Шведова, *Типология односоставных предложений на основе характера их парадигм*, «Проблемы современной филологии», М., 1965; е е же, *Синтаксис словосочетания и простого*

предложения. Автор исходит из той точки зрения, что предложение является не только функциональной единицей речи, но и обладает собственными формальными признаками, отличающими его как от слова, так и от словосочетания. Предложение, признанное самостоятельным объектом грамматического изучения, рассматривается как комплекс формальных характеристик: структурная (исходная) схема предложения, система формоизменений (парадигма), регулярные реализации (синтагматические модификации).

Под структурной схемой предложения понимается отвлеченный образец, в конкретном лексическом наполнении способный к независимому функционированию. Отвлеченность и независимость — важнейшие признаки структурных схем. Факторами, определяющими регулярные реализации, являются: полное или неполное выявление схемы, характер связывания главных членов (участие связок, возможность введения полужаменяемых глаголов), возможность замещения предиката и некот. др. Различаются независимые и контекстуально обусловленные регулярные реализации.

Идея внутривидовых преобразований находит в работах Н. Ю. Шведовой опору в понятии предикативности, разработаемом в школе акад. В. В. Виноградова<sup>34</sup>. Под предикативностью понимается соотносительность высказывания с действительностью, выраженная во взаимодействующих категориях модальности и времени. Предикативность составляет грамматическое значение предложения<sup>35</sup>. Опора на предикативные критерии необходимо ведет к ограничению ряда внутривидовых преобразований (парадигм) модально-временными признаками. Преобразования, опирающиеся на противопоставления по признаку лица (несинтаксического), числа, рода, признаются нерелевантными для характеристики структурной основы предложения.

Определяются понятия формы и парадигмы предложения. Формами предложения признаются все его видоизменения, неменяющие структурной основы и имеющие то или иное частное синтаксическое значение. Парадигма предложения определяется как «совокупность всех регулярно существующих в системе языка видоизменений предложения, связанных с

предложением, в кн.: «Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка», М., 1966; е е же, *Парадигматика простого предложения в современном русском языке* (опыт типологии), «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967.

<sup>34</sup> См. также: Э. Бенвенист, *Уровни лингвистического анализа*, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 446.

<sup>35</sup> Н. Ю. Шведова, *Парадигматика простого предложения...*, стр. 9.

выражением категорий объективной модальности и синтаксического времени...»<sup>36</sup>. В формализации предложения участвуют глагол, частицы (*бы* и др.), словопорядок. Парадигма «набирается» формами индикатива и ирреальных наклонений. Внутри индикатива различаются временные формы. Внутри ирреальных наклонений время выражено неопределенно. Но в любом случае время и модальность в тесном и сложном единстве составляют опору, существо, «вервь» парадигмы — и в этом ее отличие как предикативного ряда от парадигм, опирающихся на непредикативные компоненты.

Пример полной (восьмичленной) парадигмы: *Небо прозрачно, Небо было прозрачно, Небо будет прозрачно, Небо было бы прозрачно, Будь небо прозрачно..., Будь бы небо прозрачно..., Было бы небо прозрачно..., Небо будь прозрачно, Если бы (лишь бы, пусть бы, хоть бы и др.) небо было прозрачно!, Будь бы небо прозрачно!, Пусть небо будет прозрачно!, Чтoб небо было прозрачно!*

Н. Ю. Шведова отстаивает тот тезис, что указанные преобразования имеют синтаксический характер и не воспроизводят морфологическую парадигму глагола<sup>37</sup>. Этот тезис аргументируется много-

значностью синтаксического времени (при однозначности морфологического), несовпадением парадигмы глагола и парадигмы предложения (в парадигме глагола нет форм, образующих условное и действительное наклонения), отсутствием глагола в отдельных формах парадигмы. (ср.: *Пожар бы, так были б в набат; Хоть бы войне конец!*)<sup>38</sup>.

Язык не является идеальной системой, в нем, по-видимому, никогда не будет достигнуто абсолютного равновесия сил, и поэтому чрезмерно логичные и вследствие этого излишне упрощенные грамматические построения никогда не будут казаться убедительными<sup>39</sup>. Парадигма предложения, понимаемая как ряд внутриструктурных модально-временных преобразований, многообразно варьируется в зависимости от тех или иных накладываемых на нее ограничений, образуя широкую шкалу, замыкаемую полярными — восьмичленными (полными) и одноклассными — образцами. Ограничения парадигмы могут быть как собственно синтаксическими, так и несинтаксическими<sup>40</sup>. Из последних «ограничительные» с синтаксическими разряд составляют лексические ограничения. Они проявляются в том, что сочетание определенных лексических (смысловых) компонентов исключает какие-либо другие формы, кроме данной, или допускает лишь некоторые (ср. не имеющие парадигмы устойчивые речения *Суженого конем не объедешь, Старый что малый* и др., или ограниченные в каких-то формах *Храбрость есть следствие ума, Солдат он и есть солдат* и т. п.). Синтаксические ограничения парадигмы обуславливаются структурой

<sup>36</sup> Там же, стр. 10, 15.

<sup>37</sup> В концепции Ф. Данеша «парадигматические модификации» представляют собой одну из последовательных операций воплощения синтаксической схемы в синтаксически оформленное высказывание (предложение). Парадигма предложения представляется автором как ряд морфологических парадигм форм, входящих в структуру предложения. Количество возможных парадигматических модификаций определяется только синтаксически переменными категориями, которыми признаются индикатив, кондициональ, время (в независимой позиции), лицо, число и падеж для прилагательного (в зависимой позиции). Императив исключается из числа парадигматических модификаций как не входящий в парадигму глагола (см.: Ф. Данеш, Опыт теоретической интерпретации синтаксической омонимии, ВЯ, 1964, 6, стр. 6). Отождествляют парадигму предложения как предикативный ряд с морфологической парадигмой глагола Р. Мразек («Dedukce a empirie...») и П. Адамец «К вопросу о синтаксической парадигматике», «Československá rusistika», XI, 2, 1966). В. С. Юрченко «Несколько замечаний о книге «Основы построения описательной грамматики современного русского языка», ФН, 1969, № 1, стр. 63—65) исходит из того тезиса, что нулевая форма глагола *быть* принадлежит морфологической парадигме этого глагола, и, следовательно, не может рассматриваться как особенность синтаксической структуры, как факт парадигмы предложения.

<sup>38</sup> Н. Ю. Шведова, Парадигматика..., стр. 12—14. На несовпадение морфологических категорий с соответствующими синтаксическими указывают и другие исследователи. Так, если глагол обнаруживает две морфологические категории лица (личность и безличность), то в предложении можно выделить по крайней мере четыре синтаксические категории лица, каждая из которых характеризуется определенной синтаксической формой: личность, безличность, неопределенно-личность, обобщенно-личность (см.: Ю. В. Ваников, Предложение и фраза как соотносительные единицы языка и речи, в кн.: Ю. В. Ваников, Т. Р. Котляр, Вопросы строения предложения, Саратов, 1960, стр. 11).

<sup>39</sup> В. Матезиус, Пыткя создания теории структурной грамматики, «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 201.

<sup>40</sup> Несинтаксические ограничения в парадигматике русского предложения рассматриваются Л. Дюрвичем (см.: L' D u r o v i č, Paradigmatika spisovnej ruštiny, Bratislava, 1964, гл. «Sloveso»).

исходной формы и общим ее значением. Не имеют парадигмы предложения типа *Поезд!*, *Дождь!*, *Взрыв!* со значением явления, непосредственно воспринимаемого. Ограничены в отдельных формах (повелительных, долженствовательных и др.) инфинитивные предложения со значением обязательного предостояния, долженствования (*Нам вместе работать*, *Вам завтра ехать*, *Бить грозе*), со значением невозможности какого-либо действия (*Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться*), со значением принятого действия (в двунфинитивных предложениях с безударной частицей так: *Гулять так гулять*). Синтаксические ограничения накладываются на парадигму предложений с модальным словом в роли предиката (*Следует ехать*): отсутствуют формы будущего времени и долженствовательного наклонения. Не имеют форм прошедшего, будущего времени и долженствовательного наклонения предложения с предложно-именным сочетанием в сказуемом, обозначающие единственный акт (*Мы в кино*, *Ваня в плач*, *Я на работу*).

Парадигматическая концепция предложения, естественно, предопределяет пересмотр или уточнение ряда синтаксических положений. Речь идет о более строгом разграничении формальных и функциональных характеристик, о принципиально иной — парадигматической — основе классификации предложений, о переводе в план формальной организации высказывания проблематики, связанной с соотношением форм сказуемого, об определении правил словоупотребления для исходных форм предложения и др. Автор, безусловно, не ставил своей задачей исчерпать и тем более окончательно решить все вопросы, связанные с парадигмой предложения в указанном понимании, — существенным здесь представляется комплексный метод автора, его опора на объективные формальные критерии, стремление разграничить релевантные и нерелевантные для структуры предложения признаки. Автор продолжает работу над своей теорией, которая своеобразно дополняет другие представления синтаксической парадигмы.

Л. Максимов рассматривает возможность применения понятия предикативной парадигмы к сложному предложению. Автор указывает на необходимость большой подготовительной работы для последовательного описания сложного предложения в терминах парадигмы. Автор пишет: «...состав глагольной парадигмы сложного предложения во много раз превосходит в количественном отношении состав парадигмы простого предложения. Даже если ограничить число частей сложного предложения двумя, а число возможных в каждой части видо-временных и модальных форм сказуемых — семью, имеющими собственное морфо-

логическое выражение, то и в этом случае мы будем иметь дело с парадигмой из 64 членов. На самом же деле число членов парадигмы сложного предложения значительно больше, так как точность и полнота описания требуют и учета различия видов в формах С (сослагательное наклонение), Н (настоящее время), I (инфинитив), и учета форм, образуемых при помощи частиц *было*, *бывало*, *пусть* и др., и, наконец, учета различных значений видо-временных форм»<sup>41</sup>.

П. Адамец несколько модифицирует обычное трансформационное представление парадигмы. Автор не включает в синтаксическую парадигму словосочетание (как это принято в трансформационной грамматике), аргументируя это тем, что парадигма словосочетания сводима к морфологической парадигме его ведущего компонента. Существенными признаются вопросы: до какого предела могут быть развернуты структуры — члены парадигмы? в какой степени учитывается их лексическое наполнение?

Автор ограничивает развернутость предложения рамками структурной схемы. В структурную схему включается, помимо субъекта и предиката, компонент (объект или обстоятельство), обусловленный «валентностью» глагола или предикатива. Предложение как грамматическую единицу образуют: 1) структурная основа [субъект + предикат + компонент (объект, обстоятельство)], 2) детерминанты, не обусловленные «валентностью» глагола или предикатива, 3) атрибуты, конкретизирующие 1) и 2). Признается желательным учитывать лексическое наполнение члена парадигмы: от него зависит трансформационные возможности предложения.

Итак, единицами синтаксической парадигмы будут структурные схемы на определенной ступени развернутости с компонентами, охарактеризованными в лексических классах (если это необходимо для трансформационной характеристики предложения). Эти единицы автор определяет как охарактеризованные модели предложений<sup>42</sup>.

На протяжении всего обзора мы пользовались понятием «синтаксическая парадигма». Оно представлялось удобным тем, что заранее не требовало предпочтения той или иной синтаксической структуры и позволяло рассматривать трансформационную концепцию, где парадигматический ряд понимается широко — как включающий предложение и словосочетание. Сведения парадигмы словосочетания к парадигме его ведущего чле-

<sup>41</sup> Л. Максимов, О парадигматике сложноподчиненного предложения, *Р. яз. в нац. шк.*, 1968, 1, стр. 4—5.

<sup>42</sup> П. Адамец, К вопросу о синтаксической парадигматике, *Československá rusistika*, XI, 2, 1966.

на дает право исключить словосочетание из синтаксической парадигматики как самостоятельный объект изучения, но оставить его в одном ряду с предложением лишь при общей опоре на семантический инвариант. Между тем, признается корректным употребить понятие «синтаксическая парадигма» применительно к словосочетаниям, парадигматические отношения в которых связываются не с ведущим компонентом сочетания, а с зависимым. Имеются в виду глагольные словосочетания, их парадигма обусловлена валентностью глагола.

Семантико-синтаксические свойства глагольных групп исследуются в монографии Ю. Д. Апресяна; содержание работы определяется так: речь идет об описании семантики русских глаголов через их синтаксические свойства<sup>43</sup>. Синтаксическую парадигму, обусловленную валентностью глагола, автор принципиально противопоставляет парадигме предложения. Автором исследуется большое число не уникальных и уникальных глагольных парадигм. Указывается на большую вариантность форм синтаксических парадигм сравнительно с словоизменительными парадигмами. Устанавливается связь между семантикой «предикатных выражений» и их конструктивными особенностями<sup>44</sup>.

Выше указывалось на генетическую связь между трансформационно-парадигматической концепцией и пониманием парадигмы предложения как ряда внутриструктурных преобразований (ориентированных как на предикат, так и на другие формы). Важно выяснить, что является общим и отличительным для этих двух концепций. В системе как внутриструктурных, так и межструктурных преобразований объективно выявляется синтаксическая форма. «...обнаруживается существование более высокого уровня лингвистической формы, чем уровень простого морфологического описания»<sup>45</sup>. Парадигма тем самым становится объективной формальной характеристикой предложения. И это является объединяющим моментом для двух подходов.

Однако в строгом смысле, учитывающем постулаты трансформационного метода, вряд ли можно считать внутриструктурные преобразования (парадигму предложения) разновидностью трансформаций. Их различает следующее: 1) в трансформационной парадигме разнообразные

структуры (предложения и словосочетания) объединяются вокруг одного семантического инварианта, демонстрируя тем самым свою смысловую близость и конструктивную соотносительность. Каждая структура (кроме ядерной) определяется через другую. Между тем, в парадигме предложения выявляется синтаксическое поведение одной и той же модели. При изменении частных синтаксических значений сохраняется структурный инвариант. Это позволяет охарактеризовать данную модель прежде всего «изнутри», вне ее связи с другими конструкциями; 2) трансформация определяется, по Харрису, как «отношение между двумя структурами, имеющими одинаковые наборы индивидуальных окружений»<sup>46</sup>. Предложения *Скала осыпалась* и *Скала осыплется* не признаются трансформациями одного ядра, так как они способны принимать разные лексические окружения (*вчера* и *завтра*); 3) для этих предложений различие в значении между прошедшим и будущим временем «гораздо больше того, которое характерно для трансформаций»<sup>47</sup>. Таким образом, за пределами объективизирующей функции — функции выявления уровня синтаксической формы, парадигма предложения может быть объединена с трансформациями лишь общей характеристикой преобразования.

Мы рассмотрели ряд работ по синтаксической парадигматике, занимающей в настоящее время одно из ведущих мест в грамматических исследованиях. Интерес к данной проблематике связан с общим стремлением современной лингвистики постигнуть динамическую сторону языка для данного синхронного среза. Понимание языка как процесса, как синхронной динамики дополняет понимание языка как синхронной статике. Очевидным примером преодоления сугубо инвентаризирующей, дистрибутивной методики является создание порождающей грамматики. Мысль о необходимости поставить в центр исследований динамическую сторону языка содержится и в рассмотренных нами работах, хотя она, как правило, не декларируется. Вопросы синтаксической парадигматики скорее поставлены, чем решены; нет единства в понимании как частных, так и ведущих аспектов синтаксической парадигмы; однако само направление в целом представляется перспективным, способствующим выявлению специфических особенностей синтаксического уровня языка.

Ю. М. Костинский

<sup>43</sup> Ю. Д. Апресян, *Экспериментальные исследования семантики русского глагола*, М., 1967, стр. 228.

<sup>44</sup> Там же, стр. 193 и сл.

<sup>45</sup> Д. С. Уорс, *Трансформационный анализ конструкций с творительным падежом в русском языке*, «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 682.

<sup>46</sup> З. Харрис, *Совместная встречаемость...*, стр. 529.

<sup>47</sup> Там же стр. 539.

РЕЦЕНЗИИ

Z. Gola<sup>1</sup>, A. Heinz, K. Polański. Słownik terminologii językoznawczej.— Warszawa, 1968. 847 стр.

«Постоящий словарь,— пишут в предисловии составители,— имеет учебный характер. Он не является ни строго научным трудом, ни научно-популярной книгой. Он был задуман в первую очередь как пособие для студентов филологических отделений высшей школы и для начинающих научных работников этой области» (стр. 7).

Книга состоит из трех частей: словарь лингвистических понятий и терминов (стр. 13—658); краткие справки о лингвистах (стр. 661—717); иноязычно-польские указатели, содержащие английский, французский, немецкий и русский индексы (стр. 721—847). Основная, первая часть (около двух тысяч словарных статей) включает информацию двоякого рода: а) толкование лингвистических понятий и терминов и б) справки о семьях языков, группах языков и отдельных языках (свыше 650 статей, т. е. около одной трети словника). Даже краткое описание содержания и построения словаря показывает, что издание представляет собой по характеру не терминологический словарь, а словарь энциклопедического типа.

В области лингвистической теории составители, как сказано в предисловии, «дают информацию, представляющую мнение или общепринятое, или разделяемое большинством языковедов, т. е. так называемое *opinio communis*, а не взгляды хотя и выдающихся, но отдельных специалистов или определенных групп или лингвистических школ» (стр. 7). Правда, иногда встречаются и термины, принятые в одной лингвистической школе или даже употребляемые только отдельными лингвистами, о чем будет идти речь далее.

Достоинством словаря является то, что он включает в себя не только традиционную терминологию языкознания, но и термины новых направлений, в частности дескриптивной лингвистики, трансформационной грамматики. Объясняются в словаре и некоторые понятия теории информации, лингвистической статистики, например, *бит* (стр. 83),  *избыточность* (стр. 479), *закон Ципфа* (стр. 450).

Словарные статьи кратки, но достаточно четки, дают представление об описываемом предмете. Толкованию обычно предшествует перевод заголовка статьи на английский, французский, немецкий

и русский язык. В ряде статей содержится указание на то, кем введен в употребление тот или иной термин (см. статьи *Умлаут*, *Психофонетика*, *Семиология*, *Синтагма*, *Пучок корреляций*, *Трансформация*, *Синсемантические знаки*, *Непосредственно составляющие*, *Кенема*, *Фонема*, *Инъюнктив* и др.).

Приведем примеры словарных статей (текст статьи даем в переводе на русский язык).

**Morfem** — *ang.* morpheme, *fr.* morphème, *niem.* Morphem, *ros.* морфема.

Наименьшая частица звуковой формы слова, выполняющая определенную лексическую или грамматическую функцию. Морфемы делятся на корни, или лексические морфемы, и аффиксы, или грамматические морфемы, словообразовательные и флективные. Например, в польском слове *przednówek* выступают три морфемы: *przed-* (префикс), *-nów-* (корень), *-ek* (суффикс). Некоторые языковеды под морфемой понимают только грамматические морфемы, а лексические морфемы (корни) называют \*семантемами. Ср. Морф (стр. 357).

**Transforma** (transformata) — *ang.* transform, *fr.* transforme, *niem.* Transform, *ros.* трансформа.

В терминологии \*трансформационной порождающей грамматики под трансформой понимается \*цепочка [zadek], которая возникает в результате применения \*трансформации. Например, трансформой будет *чтение Янека* как результат трансформации *Янек читает* → *чтение Янека*. (См. Номинализация) (стр. 582).

**Contoid**. В терминологии \*американской структуральной школы термин, означающий согласный независимо от его функции в слого. Термин же консонант (= согласный) употребляется там для обозначения фонемы, которая в данном языке не может быть конституирующим элементом слога. В соответствии с этой терминологией, например, чеш. *r* было бы контонидом, но не всегда согласным — именно, когда выступает в слогаобразующей функции, ср. *prst* 'палец' (стр. 103).

**Nuer język** — *ang.* Nuer language, *fr.* langue nuer, *niem.* Nuer Sprache, *ros.* язык нуэр.

Язык, принадлежащий к северной группе нилотской языковой семьи, употребляется немногочисленной группой негритянского населения (около 665 000 человек) в верхнем течении Белого Нила и реки Собат (стр. 386).

Выведенный в приложение биографический отдел объединяет свыше 300 кратких справок об исследователях языка, от Аристотеля и Аристарха Самофракийского до К. Л. Пайка и Э. Косерпу. Каждая статья содержит даты жизни (или год рождения) ученого, описание его научных интересов, указание города или страны, где он работал (или работает), названия и даты выхода в свет его основных трудов. Вот примеры статей этого отдела.

**Блумфилд Леонард (1887—1949).** Американский лингвист, профессор германской филологии Чикагского университета, один из создателей так называемой дескриптивной лингвистики (см. Американская структуралистическая школа), выдающийся исследователь языков американских индейцев. Важнейший труд: *Language*, 1933 (стр. 665).

**Мартинс Андре (род. 1908).** Французский лингвист, профессор сначала Колумбийского университета в Нью-Йорке, теперь Сорбонны. Важнейшие труды: *La prononciation du français contemporain*, 1945; *Phonology as functional phonetics*, 1949; *Economie des changements phonétiques*, 1955; *Eléments de linguistique générale*, 1960 (стр. 690).

Словарь, разумеется, не лишен недостатков. Иногда авторы отступают от изложенного во введении принципа сообщать только *opinio communis* и вводят термины, употребляемые лишь в пределах одной лингвистической школы (что, впрочем, нельзя считать недостатком) или даже только отдельными учеными, например: «**Некус.** Термин, предложенный О. Есперсеном для обозначения предикативной связи в предложении» (стр. 371); см. также статьи *Pralinguistyka*: «Термин, употребляемый некоторыми представителями американской структуралистической школы...» (стр. 443); *Dylacja*: «Обычно употребляется термин "ассимиляция на расстоянии", термин "дилация" применял французский фонетист М. Граммон» (стр. 143). Показательны начала статей *Algebraiczne językoznawstwo*, *Objektywne języki*: «Некоторые называют так...» (см. стр. 33, 388 и др.).

Если в тексте статьи употреблен термин, которому посвящена отдельная статья, то такой термин сопровождается знаком звездочки (см. выше, в примерах словар-

ных статей). Но иногда подобный астериск стоит при терминах, которые на своем месте в словаре не толкуются. Например, в текстах статей есть термины *rekcja* (стр. 15), *bilinguizm* (стр. 20, 219), *kongruencja* (стр. 15), но посвященные этим терминам статьи содержат лишь отсылки к другим статьям: *Bilinguizm*. *Zob. Dwujęzyczność*; *Kongruencja*. *Zob. Składnia zgody*; *Rekcja*. *Zob. Składnia rzadu*.

Следовало бы, учитывая круг читателей, которым адресован словарь, дать хотя бы краткий указатель применяемых в тексте транскрипционных знаков. Авторы, например, при французском слове *cent* транскрибируют его произношение так: *сэ*. Но ведь в польской орфографии буква *ą* означает не *ä*, а *ö*.

В некоторых статьях, посвященных терминам структурной лингвистики, без объяснений приводятся символы N, NP, VP (см., например, стр. 105, 123, 653). В других статьях подобные символы объясняются (см. стр. 109, 248, 376). Наконец, иногда (см., например, стр. 191, 649) дается указание, в каких статьях следует искать объяснение символов. Целесообразно было бы вынести перечень символов и их объяснений в отдельную таблицу в начале словаря.

При общем достаточно экономном изложении о некоторых вещах говорится дважды. Так, немецкое передвижение согласных описывается в статьях *Prawo Grimma* (стр. 446—447) и *Przesuwka spółgłosek* (стр. 465) — в одной из статей можно было ограничиться ссылкой.

Можно отметить встречающиеся иногда неудачные переводы терминов на русский язык, вроде «п о н я т и й м о м е н т в я з ы к е» (стр. 429) — вместо «понятийный» (*abstrait, begriffliches, pojęciowy*), «член оппозиции с положительным признаком» (стр. 363) — вместо «маркированный» (*marké, merkmaltragendes, naszczowany*), «д о р а з м е р я я о п п о з и ц я» (стр. 269) — вместо «одномерная», «п а т р о н и м и к» (стр. 415) — вместо «патроним», «и н г у ш и ц к и й я з ы к» (стр. 253) — вместо «ингушский» и некот. др.

Указанные недочеты, как и не отмеченные в рецензии, могут быть без особых затруднений устранены при переиздании словаря. В целом рецензируемая книга, не повторяющая известные словари лингвистических терминов, может быть полезным справочником не только для студентов, но во многих случаях и для специалистов-лингвистов.

В. А. Ицкович

S. Abraham, F. Kiefer. A theory of structural semantics.—The Hague, Mouton and Co, 1966.

Рецензируемая книга, как указывают авторы, основывается на трансформационной грамматике и использует ее результаты. Для начала задача ограничивается решением следующей наиболее общей проблемы: как установить, имеют ли два грамматически правильных предложения одинаковое или различное значение. Как и все более новые семантические исследования этого направления, рецензируемая книга отталкивается от работ Катца и Фодора, которые явились пионерами в данном расширении области применения идей «порождающей» лингвистики<sup>1</sup>. В соответствии с этим, авторы прежде всего рассматривают ту проблематику, которая, по мнению Катца и Фодора, стоит перед современной семантической теорией. Поскольку семантическая теория имеет целью описать и объяснить способность пользоваться языком интерпретировать сообщения на естественных языках, то следует выяснить, каким же образом им определяется содержание предложений, каким образом он обнаруживает семантические аномалии, каким образом устанавливаются отношения омонимии между предложениями, не говоря уже о выявлении всех остальных их семантических свойств, так или иначе оказывающих воздействие на названную выше способность. Однако, принимая выводы Катца и Фодора в качестве отправной точки, Абраам и Кифер считают необходимым внести в их построение следующие коррективы. Во-первых, объектом семантических исследований не может, по их мнению, являться отдельно взятое предложение. Необходимо исследовать большие отрезки речи и выбрать в качестве основной единицы сверхфразовое единство, т. е. лингвистическую единицу более протяженную, чем предложение. Во-вторых, надо признать приоритет слова по сравнению с предложением. Без детально разработанной семантики слова семантика предложения лишилась бы надежной основы. В-третьих, они считают необходимым внести понятие степени ее семантичности или семантической отмеченности, которое было бы аналогичным и параллельным понятию грамматичности или грамматической отмеченности.

Все эти проблемы возникают, если задачей является создание такой семантической теории, которая, не перерождаясь в «ментализм», т. е. сохраняя требование объективности и научной строгости, тем не менее была бы в состоянии анализировать факты значения, содержания и т. д. Иными словами, семан-

тическая теория должна быть не только точной, но также и формализованной. Недостаток теории Катца — Фодора, по мнению авторов рецензируемой работы, как раз и состоит в том, что эта теория, несмотря на наличие в ней некоторых формализованных частей, не является теорией формальной.

Абраам и Кифер постулируют теоретическую возможность разработки таких методов семантического исследования, которые обеспечивали бы семантическую интерпретацию любого предложения. Однако для начала они считают необходимым ограничить интерпретацией класса простых, или ядерных, предложений и считают, что в дальнейшем, исходя из понимания трансформации как операции с семантическими инвариантами, они смогут ответить на все вопросы, имеющие отношение к данному предмету. Строгость и формальный характер предлагаемой теории требуют также дальнейшей перерождения исследования и того, чтобы, в отличие от работы Катца и Фодора, положить в основу исследования определение некоторых основных семантических понятий. Не претендуя на исчерпывающий или универсальный характер таких понятий, авторы тем не менее считают, что их цель будет достигнута, если им удастся разработать понятия, адекватные для решения той задачи, которую они себе поставили.

Авторы справедливо полагают, что, поскольку предметом лингвистической теории является язык, а язык состоит из набора некоторых элементов и определенного комплекта отношений между ними, первым шагом является выделение первичных или элементарных единиц — морфем и морфологических категорий. Отношения между элементами представляют собой правила. Применяя определенный набор правил к морфемам, исследователь приходит к некоторым рядам, или последовательностям, морфем, которые можно назвать словами. Каждую морфему или слово можно характеризовать как грамматически, так и семантически, т. е. каждому из них можно приписать подмножество конечного множества грамматических категорий и подмножество некоторого конечного множества семантических категорий. Поэтому семантика — это «лингвистическая теория минус грамматика», и, следовательно, семантика предполагает существование грамматики.

Авторы уделяют значительное внимание тому, что они называют грамматической основой семантической теории. Они кратко разъясняют основы трансформационной грамматики и преимущества этой последней по сравнению с другими грамматическими системами.

<sup>1</sup> См.: J. Katz, J. A. Fodor, The structure of a semantic theory, сб. «The structure of language», Englewood Cliffs, 1964, стр. 479 и сл.

В грамматике каждому слову приписывается определенная грамматическая характеристика. В семантике необходимо выделение категорий семантических и х. Развивая «дерево» Катца и Фодора за счет раскрытия скобок и более детального и подробного перечисления различных параметров, авторы получают возможность заменить неформальные различители своих предшественников формальными параметрами, т. е. более совершенными семантическими категориями. При этом каждая из выделяемых ими категорий может иметь несколько значений. Например, степень может иметь значение 3, 4, 5, выделяя таким образом меньшую следующую и высшую степень.

В связи с проводимыми уточнениями, авторам нельзя избежать понятия «значение» и, конечно, нельзя избежать попытки его определения. В наиболее общем виде термин «значение» предлагается употреблять следующим образом: говорят, что слово  $W$  имеет значение, если оно принадлежит к словарю данного языка. В таком же плане решаются и все остальные традиционные семантические проблемы, такие, как проблема синонимии, тождества и различия, омонимии, двусмысленности, тавтологии и т. д. (стр. 33—34). Все они определяются в терминах отсылки на предложенном графике (стр. 33).

Очень большое значение придается авторами взаимосвязанным понятиям «совместности» и «эквивалентности». Так, например, *зеленый* и *красный* эквивалентны потому, что первое в высказывании можно заменить вторым, и наоборот. Однако, хотя все подобного рода суждения и основываются как будто на совершенно «формальных» выкладках, решит ли вопрос, прийти к о п р е д е л е н и ю вывода можно только обратившись... к «лингвистической компетентности», «языковому чутью» информанта!

Итак, исследование на грамматическом уровне имеет целью выяснить, является ли данная цепочка грамматически правильной, т. е. является ли она предположением. На семантическом уровне задача состоит в том, чтобы выяснить, является ли цепочка символов, в отношении которой уже установлено, что она представляет собой предложение, значащей или нет. Этот термин «значащий» (meaningful), так же, как и другие основные понятия, разъясняется посредством алгебраической символики. Так, если  $s = a_1 a_2 \dots a_n$  — предложение и его структурным описанием является  $((a_1 a_2) \dots a_i) (a_{i+1} (\dots a_n))$ , то оно будет признано значащим (или имеющим значение), только если  $((a_1 a_2) \dots a_i) (a_{i+1} (\dots a_n))$  совместны. Если, далее,  $s = a_1 a_2 \dots a_n$  — значащее предложение и  $m_1, m_2, \dots, m_n$  — соответствующая ему последовательность матриц, то его можно переписать, приме-

няя правила таким образом, чтобы получить в результате одну матрицу. Эта матрица  $S$  представляет собой значение предложения  $S$ . Такой подход к определению значения, по мнению авторов рецензируемой книги, обеспечивает выполнение следующего требования: он является формальным, вполне укладывается в подлежащую разработке семантическую теорию и соответствует более широкому неформальному определению значения<sup>2</sup>.

Пожалуй, самой интересной частью рецензируемой книги является последняя, четвертая глава под названием «Некоторые практические проблемы структурной семантики». Следует сразу же оговориться, что авторы настойчиво подчеркивают предварительный характер предлагаемой методики. Предложенные ими модели применяются только к очень маленькой части английского языка; нельзя даже сказать, что данная глава представляет собой часть полной семантической модели этого языка. При этом модели намеренно придается крайне упрощенный вид. Авторы подчеркивают, что потребуются очень значительные количества времени для того, чтобы можно было наконец достигнуть вполне научной теории языка. Авторы настойчиво предупреждают читателя, чтобы он не смешивал теорию с примерами, иллюстрирующими некоторые стороны или пункты такой теории, и т. д.

Итак, предположим, что на первом, или грамматическом уровне порождены следующие четыре предложения: 1) *The man takes the book*; 2) *The man takes the man*; 3) *The book takes the man*; 4) *The book takes the book*. Из этих четырех предложений естественно пользующийся языком (нельзя не заметить, что употребляющийся в таких случаях термин «туземец» «native speaker of English» всегда производит очень странное впечатление. На свете слишком много случаев настолько совершенного владения более чем одним языком, что требовать в качестве неперемного условия именно данную н а ц и о н а л ь н у ю принадлежность весьма странно) отберет и признает имеющими значение только два, т. е. 1) и 2), а остальные два, а именно 3) и 4), забракует, как «семантически аномальные». Как же построить такую модель, чтобы можно было не просто формализовать данное различие, но и показать, что именно лежит в основе порождения того и другого видов предложения. А для этого,

<sup>2</sup> Соотношение «эквивалентности» и «совместности» иллюстрируется многочисленными примерами (стр. 38—39). Например, *he is digging grammatically* аномально, потому что информант не признал эквивалентности между *grammatically* и *slowly*, почему *grammatically* и несовместимо с *digging*.

оказывается, необходимо построить такие матрицы, которые отвечали бы следующим требованиям: 1) каждая матрица должна содержать конечное число ячеек и это число должно быть одинаковым для всех матриц; 2) различие в левой стороне матриц должно сопровождаться различием так же и в правой их стороне (за исключением случая синонимических слов); 3) каждая ячейка в матрицах интерпретируется как категория. Список категорий составляется таким образом, чтобы можно было применять правила, действующие на семантическом уровне. Во всех матрицах одна и та же ячейка представляет одну и ту же категорию.

Для данной модели авторы считают достаточным выделить 14 категорий (причем они опять же оговариваются, что это количество в большой степени условное и предлагается исключительно в виде иллюстрации к вышеизложенному положению), а именно: глагол, существительное, имя, конкретный, артикль, существо (being), человек, мужской пол, взрослый, объект, активность, физический, относящаяся к сфере воображения (imaginative), контакт. Из этих 14 категорий, каждая из которых обозначается цифрой, помещенной в соответствующую ячейку, 1, 3 и 5-я представляют собой независимые грамматические показатели (глагол, имя, артикль), 6, 10 и 11-я независимые семантические показатели: существо, объект, активность. Между независимыми грамматическими показателями размещаются зависимые грамматические показатели, подчиненные первому независимому грамматическому показателю. Между последним независимым грамматическим и первым независимым семантическим показателем помещается независимый грамматический показатель, подчиненный последнему независимому грамматическому показателю.

Табулирование в виде матрицы осуществляется при помощи только двух цифр: 1 и 2. Если ячейка занята единицей, то это значит, что данное слово характеризуется соответствующей категорией. Если же ячейка занята цифрой 2, то это значит, что данное слово не может характеризоваться соответствующей категорией. Иными словами, если взять слова, составляющие в разных комбинациях приведенные выше четыре предложения, то получится следующая картина:

- (1) man (2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2)
- (2) book (2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2)
- (3) the (2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2)
- (4) takes (1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1)
- (5) takes (1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1)

Здесь, например, первое слово отрицательно характеризуется в отношении первых двух категорий, положительно в отношении третьей и четвертой, отрицательно в отношении пятой, положительно в отношении шестой, седьмой, восьмой

и девятой и отрицательно в отношении остальных пяти категорий.

Такой анализ, по мнению авторов рецензируемой работы, должен иметь революционизирующее значение для составления словарей. Кроме того, по мысли авторов, на основе такой методики можно будет создать систему распознавания, которая позволит отвечать на такие вопросы, как: 1) имеет ли данное предложение значение (является ли данное предложение значащим) и 2) если ответ на первый вопрос положительный, то сколько у этого предложения значений<sup>3</sup>. При этом, как всегда в исследованиях данного направления, окончательная оценка полученных результатов опять же определяется тем, в какой степени они соответствуют естественной интуиции «туземца-англичанина».

Небольшая книжка Абрахама и Кифера не может служить основой для развернутой критики всего того направления, которое они хотят «подправить». Поэтому здесь не место для детального рассмотрения глубочайших дефектов того неправомерно разросшегося построения, по отношению к которому их работа представляет собой лишь небольшую пристройку. Нельзя, однако, вновь не высказать опасения в связи с чрезмерным увлечением «порождающими» моделями. Ведь у людей, не искусственных в лингвистике, создается неправильное впечатление, что это не только наиболее современный, научный и т. д., но и чуть ли не единственный способ представления результатов анализа семиотических систем. Необходимо поэтому еще и еще раз подчеркнуть, что классификация объектов, анализ их внутренней организации и т. д. могут обладать гораздо большей наглядностью и объяснительной силой, если их представлять в их непосредственной форме, а не в виде так называемых «порождающих моделей».

Из сказанного, конечно, не следует, что поиски симуляции знакового поведения человека вообще должны прекратиться. Однако на данном уровне развития этой области знания, по-видимому, гораздо более убедительной оказывается та часть работ, подобных только что рассмотренной, которая посвящается квантификации материала, его анализу в терминах дискретных семантических категорий, чем те операции, при помощи которых должна по идее осуществляться

<sup>3</sup> Последнее положение авторы разъясняют на анализе английского предложения *The man hit the colourful ball*, которое они заимствуют из цитированной выше работы Катца и Фодора. Это предложение анализируется ими для того, чтобы показать на конкретном материале преимущества предлагаемой ими методики по сравнению с методикой их предшественников.

уже вторая часть процесса, т. е. синтез семантически правильных предположений.

Очень большие сомнения возникают в связи с вопросом о метаязыке как в отношении анализа, так и синтеза предположений на семантическом уровне. Как уже неоднократно отмечалось разными исследователями, применение математического аппарата в лингвистике далеко не всегда оказывается вполне математически строгим: очень часто это либо своеобразный набор метафор, либо попытка формализации, не приводящая к построению действительно формальной системы. А ведь вопрос о метаязыке (как вообще вопрос о любом языке как коммуникативной системе) имеет очень важную практическую сторону. Ведь совершенно ясен и не нуждается ни в каких доказатель-

ствах тот факт, что, кодируя то или иное сообщение средствами той или иной семиотической системы, передающий должен иметь ясное представление о том, в какой мере получатель данной информации владеет избранным им кодом. Иначе говоря, всякая передача сообщения непременно предполагает получателя, способного декодировать и воспринять его. Так к кому же обращаются те лингвисты, которые стремятся последовательно заменять обычный или общепринятый метаязык лингвистики каждый раз отличным и своеобразным «математизированным» кодом? По-видимому, лишь к очень небольшому кругу лиц, принадлежащих к тому же научному направлению, что и они сами.

О. С. Азманова

«Атласул лингвистик молдовенеск». I, п. I — Фонетика де Р. Удлер, 235 хэръ; п. II — Фонетика де Р. Удлер. Морфология де В. Мелник ши В. Комарницки, 285 хэръ; Артиколе ынтродуктивне. Аексе, 176 хэръ. — Кишинэу, 1968.

В 1968 г. вышли из печати две части первого тома «Молдавского лингвистического атласа» (МЛА). Нет сомнения в том, что этот труд привлечет внимание широкого круга лингвистов, не только романистов, но и диалектологов вообще. Бесспорно, что он вызовет особый интерес и лингвистов, интересующихся проблемами славянской и балканской диалектологии.

Над МЛА работал коллектив сотрудников Института языка и литературы МССР: Р. Я. Удлер, В. А. Комарницкий, В. Ф. Мелник, В. К. Павел. Опубликованный том содержит 426 карт по фонетике, 90 карт по морфологии, 4 вспомогательные карты, а также вступительные статьи и приложения.

Методом лингвистической географии молдавские говоры впервые были изучены известным немецким балкановедом Г. Вейгадом. Позже, в 30-е годы, эта территория была обследована по обширной программе С. Попом и Э. Петровичем. Всего в пределах современной МССР было изучено свыше 50 пунктов (список их см.: МЛА, стр. 6). После войны, в 1946 г. в Институте истории, языка и литературы Молдавского филиала АН СССР началась интенсивная работа по изучению молдавских говоров. В 1948 г. был выработан первый вопросник по составлению атласа, содержавший 178 вопросов. В 1956 г. в Институте был создан диалектологический сектор, главной задачей которого было составление молдавского лингвистического атласа. Коллектив сектора подготовил большой вопросник, насчитывающий 2548 вопросов (с 1 по 717 — по

фонетике, с 718 по 2348 — по лексике, с 2349 по 2548 — по морфологии)<sup>1</sup>.

По своему характеру и структуре вопросник МЛА продолжает традиции романской лингвистической географии. Однако в методах работы над МЛА мы наблюдаем и существенные отклонения от этих традиций. Романские диалектологические атласы, как известно, строились на основании опроса минимального количества информантов. Составители МЛА в данном пункте учли опыт славянской лингвистической географии: ими обследован язык более чем 1500 информантов.

На основе указанного вопросника был собран материал из 240 пунктов; 163 находятся в МССР, 61 — на территории УССР. Однако составители не ограничились изучением старых молдавских поселений; они обследовали 16 пунктов на Кавказе, в Западной Сибири, Средней Азии и на Дальнем Востоке. Некоторые диалектологические атласы включают пункты с иноязычным населением. Составители МЛА также идут по этому пути: в МЛА содержится 5 иноязычных пунктов (украинский, русский, болгарский, гагаузский и цыганский).

На территории основного поселения молдаван был изучен один населенный пункт на каждые 207 км<sup>2</sup>, что дает возможность предельно точно представить границы языковых явлений. Таким образом, сетка МЛА значительно гуще,

<sup>1</sup> «Кестинарул атласулуй лингвистик ал лимбий молдовенешть», Кишинэу, 1960.

нежели сетка в «Румынском лингвистическом атласе (новая серия)»<sup>2</sup>.

Чрезвычайно важно, что в сборе материала участвовало небольшое число высококвалифицированных специалистов-диалектологов, которые в дальнейшем обрабатывали собранный материал, составляли карты и комментарии. Это помогло избежать обычного в диалектологической практике разноречия в записях. Важно отметить, что Молдавская АН выделила значительные средства и предоставила в распоряжение диалектологов сложную новейшую технику, которой до сих пор, к сожалению, не располагают, например, специалисты по русской диалектологии. Благодаря высокой технической оснащенности экспедиций, собиратели материала для МЛА имели возможность не только сравнительно быстро получать необходимые сведения, но и производить на месте сбора серьезные лабораторные исследования.

Обычно сбор материала идет последовательно от района к району. Составители МЛА предложили иной метод — метод «зигзагообразных маршрутов», который заключается в том, что в каждой экспедиции собирался материал из различных районов, находящихся на значительном удалении (см. карту № 4). Это позволяет избежать опасности отождествления особенностей соседних говоров.

Таким образом, МЛА представляет собой детально продуманное, основательно подготовленное и тщательно выполненное научное предприятие, которое во многих отношениях является образцом для будущих работ в области лингвистической географии.

Атласу предпослана вступительная статья, написанная Р. Я. Удлером, содержащая всесторонний анализ принципов и методов МЛА. Автор излагает правила выбора пунктов для сетки обследования, дает характеристику программы, особенностей сбора материала (подбор информаторов, методы опроса и записи — транскрипции, пометы и т. д.), рассматривает особенности картографирования и комментирования. Кроме статьи Р. Я. Удлера, в этом же томе помещена небольшая статья В. Ф. Мельника «Из истории молдавской диалектологии», посвященная, в сущности, истории создания МЛА. Автор хорошо показывает, какая огромная работа была проделана молдавскими лингвистами, прежде чем из печати вышел первый том.

Вряд ли было целесообразно публиковать статью В. А. Комаринского «Понятия лингвистической географии». Автор пишет об общих проблемах лингвистической географии, причем избирает лишь две из них: общее и частное в языке, диалектные различия и их характер, оставляя в

стороне другие, не менее важные проблемы (например, лингвогеография и структура языка). Статья в значительной степени является несамостоятельной: автор, в основном, излагает идеи, подчеркнутые из вступительной статьи проф. Р. И. Аванесова к «Атласу русских народных говоров» (М., 1957).

Ценны «Приложения» к «Молдавскому лингвистическому атласу»: I — «Некоторые данные об обследованных пунктах», содержащее очень подробные сведения: старые и новые названия сел, их административная принадлежность, число семей, характеристика занятий населения и его культурный уровень (стр. 34—80); II — «Алфавитный указатель обследованных сел» (стр. 82—83), III — «Список информаторов» (стр. 84—158). Значительный интерес у читателей вызовет приложение IV — полная «Библиография МЛА», доведенная до июля 1967 г. Наконец, во вступительном томе находится список карт (стр. 159—161) и алфавитный указатель слов, стоящих в заглавиях карт. Обстоятельный и исчерпывающий характер справочного аппарата помогает читателю легко ориентироваться в большом и сложном материале МЛА. Опыт работы над атласами показывает, что не все подготовленные карты можно и даже в ряде случаев целесообразно публиковать. К сожалению, в приложениях мы не находим списка неопубликованных карт МЛА. Желательно в приложениях ко второму тому атласа поместить список всех карт, оставшихся в архиве МЛА.

По программе МЛА собран большой материал. Уже публикация первого тома, содержащего карты по фонетике и морфологии, делает возможным решение многих важных проблем истории молдавских диалектов, связанных прежде всего с развитием их фонетических систем. Карты МЛА и комментарии к ним дают не только территориальное распространение тех или иных явлений, известных из прежних исследований, но и помогают осветить совершенно новые и малоизученные явления, которые могут оказаться существенными звеньями при построении истории языка. В качестве примера рассмотрим вначале группу карт, отражающих произношение *e* в различных позициях.

Достаточно хорошо известна тенденция молдавских говоров к закрытию, сужению гласных в безударной позиции:  $a > u$ ,  $e > u$  и т. д.<sup>3</sup> С выходом первого тома МЛА становится возможным локализовать ареалы, в пределах которых известен данный переход, и указать конкретные условия его осуществления. Например, об  $e > u$  в середине слова можно судить

<sup>2</sup> E. Petrovici, Atlasul lingvistic român, I—V, București, 1956—1967.

<sup>3</sup> I. Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii române, București, 1961, стр. 84.

по картам №№ 115, 121, 126, 127; при этом, если на одних картах единичные говоры еще характеризуются сохранением *e* (№№ 115 — *карпен*, № 121 — *стынжен*), то в словах *фечор* (№ 126), *фемея* (№ 127) сужение *e* фиксируется на всей без исключения территории основного поселения молдаван<sup>4</sup> (спорадически наблюдается также передвигание гласного из переднего ряда в средний — *стынжын*, *карпын* — и даже в задний — *карпан*, *фумейи*).

Об интересном явлении позволяют судить карты №№ 113 (*секара*), 119 (*спериос*), 120 (*перете*), 125 (*вмвелеск*): предударное *e* на значительной территории подвергается не сужению, а расширению, или, точнее, его артикуляция перемещается в средний (или задний) ряд — *э*, *а*. Лишь в небольшой части говоров на юго-западе МССР и в некоторых буковинских говорах *e* остается неизменным. Карты МЛА позволяют изучать зависимость данного процесса от лексики, т. е. степень его лексикализации. Если в приведенных выше словах на большей части территории наблюдается *e* > *э*, то в слове *бешика* (№ 122) дело обстоит иначе: расширение *e* (*башыкы*, *башына*) — только на юго-западе и в некоторых буковинских говорах (*бешыка*).

В МЛА собран материал, позволяющий впервые исчерпывающим образом описать поведение ударного *e* в зависимости от различных условий (например, характера предшествующего согласного), а также представить территорию соответствующих явлений. Так, для основной массы молдавских говоров (за исключением юго-западных и ряда буковинских) характерно изменение *é* > *э* в позиции после *с*, *з*, *ц*, *ш*, *ж*, иногда *р* (№№ 25 *сем*, 27 *зер*, 26 *весеа*, 29 *цезь*, 30 *вицел*, 31 *шес*; 32 *шед*, 33 *тушеск*, 34 *пэтручжел*, 35 *служеск*, 52 *зече*; 28 *зестре*, 36 *репзде*, 37 *рече*, 51 *сете*). С другой стороны, во всех диалектах *é* остается неизменным после *п* и иногда *р* (№№ 39 *луминеэ*, 38 *опореск*, 41 *трестие*); почти на всей территории *é* сохраняет свою артикуляцию и после *м*, *ф*, часто — после *р*: исключения составляют некоторые западбуковинские говоры (№№ 46—49 — *месе*, *мере*, *фете*, *тинереце*): лишь на карте № 45 *сэмере* ареал произношения *é* очень суживается, ограничиваясь юго-западом МССР. Наконец, некоторые карты МЛА демонстрируют особую судьбу *é* в позиции после *п* и *р*: повсеместно *é* подвергается сужению в словах *песте* (№ 54), *трей* (№ 53). Для большинства диалектов характерно и произношение *пинтру* < *пентру* (№ 42).

<sup>4</sup> Сходное положение с *e* в конечной позиции: чаще всего *e* > *и*, лишь в единичных говорах *e* не изменяет свою артикуляцию (см. карты № 184, 185, 186, 189).

Карт на морфологические явления в МЛА значительно меньше, но и они дают ценные сведения для изучения ряда важных явлений из области грамматики. Так, некоторые карты позволяют детально исследовать процесс унификации форм 1-го лица ед. числа и 3-го лица мн. числа настоящего времени в отдельных типах глаголов. Например: *еу*, *ей снуй* (№№ 469, 470; литер. *еу*, *ей снуи* < лат. *expono*), *еу*, *ей муй* (№№ 491, 492; литер. *еу мын*, *ей ммыч* < лат. *mano*), *еу*, *ей вуй* (№№ 495, 496; литер. *ей*, *ей вин* < лат. *vepo*), *еу*, *ей ш'ей*, *с'ей* (№№ 508, 509; литер. *еу*, *ей чер* < лат. *quaero*). Это явление локализуется, главным образом, на левом берегу Днестра, также в отдельных говорах на юге и юго-западе МССР, на территории ЮССР, и составляет важный отличительный признак этих говоров. В противоположность им в остальных говорах представлено обобщение глагольных форм много типа (*снуи*, *чер*) или же эти формы противопоставляются.

Опубликованные карты МЛА создают основу для подлинно объективной группировки молдавских говоров. Первые шаги в этом направлении сделаны уже самими составителями МЛА. В этом отношении особенный интерес представляют карты №№ 428—430, дающие группировку говоров на основе фонетических карт. Теперь с полной уверенностью можно говорить о наличии шести основных диалектов: центрального (I), юго-западного (II), северо-восточного (III), северо-западного (IV), буковинского (V), закарпатского (VI). Центральный диалект занимает значительную часть территории МССР, но ближе всего к литературному языку. Наибольшим своеобразием отличается юго-западный диалект, который по многим признакам тесно связан с буковинским. Ряд характерных особенностей отмечается в закарпатской группе говоров.

В дальнейшем, на основе сопоставления материалов МЛА и данных истории, этнографии и т. д., возможно будет установить пути колонизации молдавского населения, последовательность заселения периферийных районов и островных ареалов. Наконец, с помощью МЛА может быть тщательно изучен процесс нивелировки диалектных различий под влиянием литературного языка.

Очевидно, что опыт составителей МЛА, его «техническая» сторона (а именно то, насколько удачно избранные приемы служат раскрытию задач атласа) заслуживает самого пристального изучения и оценки. Для этого необходимо уяснить наиболее существенные особенности карт и комментариев МЛА. Прежде всего обратимся к картам.

Каждая карта МЛА посвящена изучению лишь одного явления (на фонетических картах — одного звука, подчеркнутого в заглавии). Однако практически для

очень многих карт характерна многотемность. В ряде случаев она является неизбежным результатом избранной составителями техники картографирования (непосредственное отражение зафиксированных диалектных форм). Вследствие этого на картах представлено произношение различных звуков, например, № 117 *фeрeстpaц* — помимо первого *e*, также второго *e*, *ф*, *p*, *c*, *t*, *з*, *y*. Фонетическая многотемность специально подчеркивается в комментариях формулой («на этой карте можно проследить и произношение звуков...»).

Многотемны и такие карты, в которых лексема, вынесенная в заглавие, отмечена в различных морфологических и иных вариантах. В результате при картографировании интересующего составителей звука не всегда обеспечивается тождество позиций, — по существу, этот звук рассматривается в разных позициях. Например, на карте № 88 (*ey*) *акoпeр* варианты *акoпeр*, *акoпир* и под. противопоставляются вариантам, в которых *o* находится в отличной от указанной позиции — безударной: *акoпeрiм* (п. 59), *акoпeрeск* (п. 1).

На карте № 186 *фьeрe* не сопоставимы *э*, *и*, *ы* (*ш'jэpa* — п. 1, *ш'эpa* — р. 147, *чи'jэpa* — п. 10 и т. д.) и *эa*, *a* в вариантах *шeрe* (*ca*) — п. 20, *ш'jэpa* (*ca*) — п. 65. Последние представляют собой иную грамматическую форму (с артиклем), и *эa*, *ja* не являются в данном случае закономерным изменением *e*<sup>5</sup>, поэтому они должны были найти место скорее в комментарии. На равных основаниях в карте № 40 *чeнтнeр* картографируются варианты *чeнтнeр*, *чeнтнeр* и *чeнтнeр* (п. 180), *чeнтнeр* (п. 146), *чeнтн'ир* (п. 72), *чeнтнeр* (п. 92) и т. д.

Несколько тем отражается и на картах, где какой-либо звук картографируется в разных словах (а именно в однокоренных словах с различными суффиксами). Так, составителей карты № 142 интересует произношение *и* в слове *гэлбинаре*. В диалектах обнаруживаются следующие типы его: *и||э||ы||а*. Однако эти различия представлены иногда в других словообразовательных вариантах: *гэлбанáрец* (п. 164 — правда, фонетическая позиция и здесь тождественна той, что указана в заглавии) и *гэлбинeли* (п. 231), *гэлбиницы* (п. 210), *гэлбинeлицы* (п. 163), *гэлбeнци* (п. 230), *гэлбинийи* (п. 236). Вероятно, словообразование слов с корнем *гэлбин-* в данном значении следовало бы сделать темой специальной карты. В карте № 44 исследуется произношение *e* в определен-

ных условиях (перед *y*), и противопоставленными являются варианты *э(j)* || *||-э(j)* || *б(j)* и т. д. Нам кажется, что для указанной темы ничего не дает картографирование вариантов *куркубeш* (п. 173), *куркубeт* (п. 19), *куркубeты* (п. 123),

*куркубeл* (п. 209) и под., так как гласный *e* находится в иных фонетических условиях. Кроме того, основа *куркуб-* оформлена различными суффиксами, поэтому *-э*, *-э'* в одном случае и *-э-*, *-э'* в другом могут быть несопоставимыми. Видимо, как и в предыдущем случае, более целесообразным было бы составление другой, словообразовательной, карты<sup>6</sup>; часть ее материала могла бы быть использована для характеристики произношения ударного *e*. Вызывает сомнение право составителей давать на карте № 223 *виця* многочисленные варианты словообразовательного характера: *г'иц'ыкы*, *иц'алкэ*, *ж'иц'ык'ыцы*, *г'иц'ал'ыкы*. Подобных примеров можно было бы привести много, но нас интересует прежде всего принципиальная сторона этого вопроса.

Несомненно, что многотемность карт часто затмевает основную задачу, которую авторы ставят перед собой. Для примера укажем карту № 412 *бич*. Только из списка карт становится ясным, что тема ее — появление протетического согласного (типа закарпатского *збич*). Однако на самой карте это явление затерялось, а на первый план выдвинулись многочисленные фонетические изменения согласных (*б > г', д'; ч > ш', с'* и т. д.) и словообразовательные варианты (*бик'jушкы* и т. д.). Поэтому нам кажется, что в принципе следовало бы избежать отражения на одной карте нескольких явлений.

Составителей атласа можно упрекнуть в том, что они иногда смешивают различные уровни языковой структуры, в частности, видят фонетические явления там, где действуют уже морфологические законы.

В комментарии к карте № 181 (*ey*) *кайт* указано, что материал ее дает возможность, помимо прочего, судить о произношении *y* конечного (имеются в виду отмеченные в нескольких пунктах варианты: *кайт<sup>у</sup>* — п. 129, *кайт<sup>у</sup>* — п. 211). Однако изменений в произношении *y* нет, и поскольку составители никаких разъяснений не дают, читателю остается предположить, что они в качестве варианта *y* рассматривают  $\emptyset$ , представленный в ва-

<sup>5</sup> Следует подчеркнуть, что составители иногда стремятся избежать многотемности подобного рода. Например, на карте № 64 *пучин* отсутствует вариант *пучун-тeл* (п. 68, 154 и др.) — он дан в комментарии; таким же образом поступают составители и на карте № 114 *чаун*: только в комментарии приводятся варианты *ш'яунeл* (п. 237), *ч'яунeш* (п. 72).

<sup>6</sup> Правда, в ряде случаев картографирование различных грамматических форм не ведет к нарушению тождества фонетической позиции: № 58 — *стинс* (на значительной территории), *стирз* (п. 222).

риантах на согласный (*каут, кэут, кат, кат*). Очевидно, однако, что в синхронном плане  $\emptyset$  не является вариантом ф о н е м ы *y*, так же, как не является и вариантом м о р ф е м ы *y* — 1-е лицо ед. числа настоящего времени (противопоставление морфем *y* и  $\emptyset$  существует только в рамках тех диалектов, где, как и в литературном языке, глаголы образуют форму 1-го лица ед. числа настоящего времени различным образом — в зависимости от типа основы<sup>7</sup>). Только в историческом плане *y* и  $\emptyset$  могут быть рассмотрены как варианты — как различные стадии развития флексии 1-го лица ед. числа: *каут* < *сауту*<sup>8</sup> < лат. \**cautare*<sup>9</sup>. Противопоставление вариантов *каут* — *кауту* на современном этапе следует формулировать не как фонетическое, а как морфологическое (различное по диалектам оформление 1-го лица ед. числа настоящего времени). Сказанное выше относится также к картам № 33 *тушеск*, № 35 *служеск*.

Другое положение представлено на карте № 10 *скан*. Здесь формула «... можно проследить и произношение конечного *y*...» имеет несколько иной смысл, так как, помимо варианта *скану*<sup>у</sup> (п. 212), есть вариант *скан*<sup>м</sup> (п. 33). Следовательно, произносительным вариантом как будто считается *м*? Ср. подобным же образом оформленные карты №№ 38, 39: *юнарреск*<sup>у</sup> (п. 211), *опареск*<sup>м</sup> (п. 34), *лунинедз*<sup>у</sup> (п. 211), *лунинедз*<sup>м</sup> (п. 34). В сущности, так же построены карты, которые составляют специальный раздел «произношение звука *y*» (конечного — №№ 202—209). Так, на карте № 206 даны варианты: *мор* (п. 147), *мор*<sup>у</sup> (п. 211), *мбр*<sup>у</sup> (п. 212) *мбр* (п. 34); на карте № 209 — *вод* (п. 77), *водз* (п. 206), *вод*<sup>у</sup> (п. 211), *водз*<sup>у</sup> (п. 221), *вод*<sup>м</sup> (п. 33) и т. д.

Наконец, совершенно по-другому оформлены комментарии к картам №№ 6—9. На карте № 7 *ар* указано, что по ней можно проследить произношение конечных *y*, *и*, *и* (имеются в виду варианты: *ар*<sup>у</sup> — п. 219, *ар*<sup>м</sup> — п. 33, *ар*<sup>у</sup> — п. 37). Никаких отличий в произношении данных зву-

ков нет, и известная формула («...можно проследить...») оказывается лишней смысла, так как неясно, о каких вариантах *y*, *и*, *и* идет речь. Ср. и карту № 255.

Аналогичные замечания могут быть сделаны по большей группе карт, на которых представлены существительные, прилагательные, числительные. Например, в ряде комментариев говорится, что может быть прослежено произношение конечного *y* — при этом зафиксированы лишь варианты с *y* и без него: № 11 — *божат* (обычный вариант) || *божам*<sup>у</sup> (п. 219), № 27 — *азр* (обычно) || *азру*<sup>у</sup> (п. 219), № 64 *нуци* (обычно) || *нуцин*<sup>у</sup> (п. 211), № 241 *слик* (обычно) || *слик*<sup>у</sup> (п. 211) и др. Очевидно, что здесь в качестве варианта *y* рассматривается  $\emptyset$ . На картах же № 296 *дес*, № 336 *аутобус* вариантом *y* конечного считается и *и*, так как отмечено: *дес*<sup>у</sup> и *дес*<sup>и</sup>, *аутобус*<sup>у</sup> и *аутобус*<sup>и</sup>. В комментариях к карте № 25 говорится уже о том, что можно проследить произношение конечных *y* и *и*, но никаких вариантов этих звуков (кроме, разумеется,  $\emptyset$ ) на карте не обнаруживается, ср.: *симн*<sup>у</sup> (п. 214) || *симн*<sup>и</sup> (п. 72), поэтому неясно, какие варианты *y* и *и* имеются в виду. Такое же положение на картах № 169 — *уредз*<sup>у</sup> || *уредз*<sup>и</sup>, № 60 *сайгур*<sup>у</sup> || *сайгур*<sup>и</sup>, № 81 — *юпт*<sup>у</sup> || *юпт*<sup>и</sup> и под. Лишь в случае, который представлен на карте № 204 *морар*, мы, возможно, имеем дело с подлинным вариантом *y* конечного: *морар*<sup>у</sup> (п. 214) и *морар*<sup>и</sup> (п. 206), ср. и № 286 *кунтор*.

При чтении атласа часто возникает вопрос: что дает для характеристики диалектных противопоставлений (прежде всего в фонетике) картографирование определенных звуков не только в собственно молдавских словах, но и в новых (хотя бы этимологически и родственных) заимствованиях? Показательно ли, например, противопоставление на карте № 151 следующих реализаций гласного

в первом предударном слоге: а || а<sup>3</sup> || э || и || 'и, если учесть, что четыре из них отмечены в собственно молдавских вариантах

(*алам*<sup>3</sup>*йи* — п. 189, *алам*<sup>и</sup>*йи* — п. 14, *лам*<sup>и</sup>*йи* — п. 66, *алым*<sup>и</sup>*йи* — п. 112), а последняя реализация — в вариантах, которые можно рассматривать как принадлежащие относительно позднему заимствованию (*лимб*<sup>и</sup> — п. 204, *лимб*<sup>и</sup>*и* — 34, *алым*<sup>и</sup>*бони* — п. 215). Нам кажется, что последние варианты не служат раскрытию темы карты и должны даваться в комментарии. Вероятно, не следовало также наносить на карту № 68 в п. 235 вариант *цубэр*, поскольку в этом облике слово представляется явным заимствованным из украинского, и произношение отдельных звуков в нем и в собственно молдавском слове *чубэр* едва ли сопоставимо на одной карте; например, *ц* — *с*

<sup>7</sup> «Курс де лимба молдовеняскэ литерара контемпоранэ», Кишинэу, 1956, стр. 344—345; ср. «Gramatica limbii române», 1, București, 1963, стр. 254.

<sup>8</sup> Формы с *-u* фиксировались еще в XVI в. как обычные: *poctu* (<*potelo*), *credu*, *răspundăsu* и т. д. (O. Densuşianu, Histoire de la langue roumaine, 2, Paris, 1914, стр. 93—95, 204—207).

<sup>9</sup> О сопоставлении а *cauta* с лат. \**cautare* < *cautum* (причастие от лат. *cavere*) см.: A. Sandrea, O. Densuşianu, Dicţionarul etimologic a limbii române, 1, Bucureşti, 1914, стр. 45; по мнению Х. Тиктина, а *cauta* < лат. *căpto*, *-ăre* (H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, I, Bukarest, 1903, стр. 315).

*ч, ш, с* (*чубър* — п. 9, *шибър* — п. 149, *сшибър* — п. 99), так как в п. 235 *ц* не является закономерным изменением *ч* (о чем свидетельствуют карты №№ 48, 104, 132, 349—355): в этом пункте *ч* регулярно переходит в *ш*. Вероятно, следовало бы отнестись в комментарий и вариант *бръшки* (п. 190), а не наносить его на карту № 392, исследующую произношение *з* в слове *бръг*.

Можно сделать некоторые замечания и по технике комментирования. Остановимся на следующих рубриках комментариев, где даны пометы составителей карт.

Укажем прежде всего на некоторую непоследовательность в подаче материала. В одних случаях сначала идет отсылка к другим картам, затем формула «...можно проследить и произношение звуков...», картографирование которых не является основной задачей (№№ 47, 66). В ряде же случаев порядок следования материала в данной рубрике изменяется (№№ 40, 55, 67 и т. д.), что, разумеется, может лишь сбить читателя.

Система отсылок к другим картам, на наш взгляд, имеет недостатки. Ожидалась бы, так сказать, «двухсторонняя связь» между картами, взаимность отсылок, но слышь и рядом этого нет. В комментарии к карте № 223 *виця* — отсылка к карте № 180 *скаун*, но там отсылки к № 223 нет; в комментарии к карте № 354 есть отсылка к № 390, но там — лишь указание на № 355. Впрочем самый принцип связи карт неясен; остается загадкой, почему составители в упомянутом выше случае (№№ 180, 223) снабжают карту отсылкой, хотя в словах *виця* и *скаун* нет ни одного облого звука.

Указание на возможность изменений звуков, не являющихся непосредственной целью картографирования, вводится упоминавшейся выше формулой, но текст ее имеет несколько стилистических вариантов: «... можно проследить произношение... конечного *е*» (№ 46), «... произношение... *е*» (№ 50), «... произношение *е* в конечной позиции» (№ 52). Следовало бы унифицировать эти формулы. Подчеркнем, что указываемая формула не всегда точно передает смысл картографируемых явлений. Так, на карте № 118 *секретарь* представлены варианты с диссимилиацией (*сиклитър* — п. 220, *саклитър* — п. 196 и под.). По-видимому, *а* не есть особое произношение *р*, как полагают составители, и для подобных случаев следовало бы ввести специальную формулу. То же можно сказать и о вариантах на карте № 140 *приетин*: вряд ли *е* в *претин*

(Буковина) можно рассматривать как прямое изменение *и*, следовало бы формулировать это явление как наличие или отсутствие контракции. В комментарии к карте № 144 *пицигой* говорится об изменении произношения *п*; при этом полу-

чается, что *п* может произноситься как *ц* (в вариантах типа *цицигой*), тогда как здесь — явление ассимиляции, что и должно быть оговорено особой формулой.

В ряде случаев в комментариях отсутствует указание на изменения тех или иных звуков. Так, на карте № 22 обращается внимание на произношение *ш* (так как наряду с *аша* зафиксирован вариант *ашја* — п. 220), в то же время варианты *шјерне* (п. 200 на карте № 18), *шја* (п. 298, карта № 21) не оговариваются. Обычно появление эвентического гласного (*у, ы*) отмечается в комментариях, но это отсутствует, например, в карте № 11 (*мэскарпин*, хотя в п. 211 — *скарк'аи*); на карте № 173 (*нойдормим* не отмечается возможность изменения *и* (ср. *дорн'ем* — п. 34), а на карте № 327 *ностру* согласного *с* (п. 72 — *ноштру*).

На картах №№ 85, 111 указано, что возможно появление эвентического *н* (*шпихн* — п. 215; *ш'јаһон* — п. 16), но об эпентезе *з* на той же карте № 85 (*шпигон* — п. 186), *н* на карте № 92 (*но'һор* — п. 114), *б* на карте № 124

(*ймбър* — п. 72), *р* на карте № 144 (*пирцидой* — п. 47) и т. д. не говорится ничего. Об эпентезе гласных говорится, например, на карте № 85; в противоположность этому на ряде карт такого указания нет: № 25 (*сэмэн* — п. 144, *сэмьны* — п. 33), № 146 (*жуғуғыны* — п. 203),

№ 201 (*көкбържә* — п. 4, при обычном *кбържә*, *кбържы*). В некоторых комментариях не отмечается возможность метатезы и элизии звуков, хотя эти явления отражены на картах, ср. варианты с метатезой типа *сүнәғры* (п. 190, карта № 60), *фрәсны* (п. 101, карта № 143), с элизией — типа *веррицы*, *вералицы* (ш. 8, 23, карта 343).

Укажем еще на одну неточность, замеченную нами в комментариях. Иногда составители указывают, что можно проследить произношение тех или иных звуков, но в действительности во всех молдавских говорах эти звуки остаются неизменными, ср., например, *ц* на карте № 254 *субцире*; также *ш* на карте № 278 *вишиня*. Правда, в данном случае после *ш* фиксируется то *ы*, то *и*, что как будто бы могло указывать на различный характер согласного, но если, действительно, *ш* произносится по-разному, это должно быть отражено и в транскрипции.

Как указывалось выше, в МЛА включен материал 5 пунктов с иноязычным населением (украинским, русским, болгарским, гагаузским, цыганским). Эти данные имеют важное значение для целей МЛА, так как позволяют изучать результаты различных контактов молдаван и представителей других национальностей. Процесс взаимодействия молдавских и немолдавских диалектов нашел отражение в многочисленных заимствованиях как фонетических, так и лек-

сических<sup>10</sup>. Монографические описания говоров не дают возможности представить территорию этих заимствований, лишь карты атласа позволяют наглядно показать распространение и характер отдельных заимствованных явлений. С другой стороны, иноязычный материал МЛЯ имеет известную ценность и для диалектологии соответствующих языков, так как учет всех ответов на программу МЛЯ (а также тексты) позволяет составить достаточно полное описание иноязычного диалекта<sup>11</sup>. Эта цель может быть осуществлена тем успешнее, чем более тщательно фиксировали собиратели явления молдавских диалектов. В качестве примера рассмотрим точность записи болгарского и украинского материала.

Болгарскому говору с. Кричиное (бывш. Чешма-Варуита) в МЛЯ — п. 208) посвящена большая работа В. К. Журавлева, отдельные части которой опубликованы несколько лет назад<sup>12</sup>. Данные этой работы и МЛЯ в основном совпадают. В то же время обнаруживается весьма большое число расхождений. В ряде случаев они представляются несущественными и, в общем, не позволяют судить о том, какие записи более точны. Напри-

мер, в МЛЯ: *замі* (№ 18), *абака* (№ 48), *сърп* (№ 196), *жълту* (№ 123), *байряк* (№ 218) — у В. К. Журавлева: *зам'й* (III, 37; при *замі* II, 21), *абака* (I, 23), *сърп* (I, 23), *байр'ак* (I, 57). Однако имеются примеры, где записи МЛЯ бесспорно являются неточными и даже ошибочными: *д'бесет* (№ 52), *зим'я* (№ 153), *ремене* (№ 124), *младуств* (№ 47), *сед'а* (№ 32), *ше вароа* (№ 45), *уно* (№ 80), *чирьшы* (№ 138) — у Журавлева: *дбесит'* (II, 74), *земі* (I, 45), *рамен'а* (I, 41), отпадение конечного согласного в словах типа *бедус*, *пакус* (I, 21), *ас с'ед'я*, *ас варо'й* (III, 10, ср. и в МЛЯ: *бвзе*, *кашле*, *сл'уже* — № 8, 33, 35), *убо* (№ 22), *чир'аше* (III, 12). Что касается конечного гласного в последнем слове и в словах того же типа, то и в материалах МЛЯ в аналогичной позиции фиксируется и *э*: *к'руше*,

<sup>10</sup> Ср., например, наличие в молдавских говорах лексем *пријетил'*, *друн'*, *товариш* (№ 140), *жестовниція*, *жолт'ухи* (№ 142), *звер'* (№ 146), *шляд'* (№ 172), *мбзук*, *мбзук* (№ 195), *ливак*, *лейшак* (№ 208) и под. См. также в библиографии МЛЯ статьи, рассматривающие этот вопрос.

<sup>11</sup> См., например, описание украинского говора с. Бродина (район Сучавы) по данным «Румынского лингвистического атласа» (I. P a t r u ț, *Fonetica graiului ținut din Valea Sucevei, București, 1957*).

<sup>12</sup> В. К. Журавлев, *Говор с. Кричиное* (Чешма-Варуита), СМБД, 7, М., 1955, стр. 18—62 (I); СМБД, 8, 1958, стр. 64—85 (II); его же, *Фонетика говора с. Кричиное* (бывш. Чешма-Варуита), СМБД, 10, 1962, стр. 3—44 (III).

*з'уша* (№№ 14, 200). Следует отметить, что иногда погрешности в записях МЛЯ очевидны и без сопоставления с данными В. К. Журавлева: *мум'а* (№ 144) и *мо-м'а* (№ 49), *ти со утароши* (№ 10), *а* (с) *на пр'ају* (№ 38), *нап'ялну* (№ 72). Также *млад'* (№ 57 — вместо *млади*), *с(а) м'ыч'* (№ 116 — вместо *м'чи*), *др'иш* (№ 312 — вместо *д'ержи*). Для карты № 46 предполагался сбор двух форм: ед. и мн., в п. 208 собраны: *стола*, *столаа* (вместо *столове*). Однако *стола* — количественное множественное; эта форма, очевидно, была записана в контексте, аналогичном тому, которым собиратели пользовались в молдавских говорах: *уно* *масе* — (*доуэ*) *месе* и — (едн) *стол* — (дв) *стола*. То же на картах № 218 (*байряк* — *байряка*, *флак* — *флак'а*), № 208 (*лечер* — *ч'ерина*), № 176 (*надж'ака* «топоры»), № 204 (*мел'ника*), № 244 (*в'ыл'ка*), № 251 (*й'эика*) и др.

Несколько замечаний можно сделать и по записям из украинского села Гривова (п. 49). Укажем, например, на непоследовательность в передаче падалатальности согласных: *с* — *сим* (№ 19) || *в'ис'им* (№ 81), *ч* — *быч'ок* || *быч'ок* (№ 30), *ч'обит* || *обит* (№ 178),

*д'ийч'ына* (№ 49), *поруч'ыли* и *зак'нбійч'ий* (№ 166), *росч'ин'яју* (№ 38), *моу'чит'е* (№ 29), *л'асту'яна* (№ 160) и *ст'ул* (№ 46), *ст'ил'ю* (№ 180). Иногда одно и то же слово на разных картах записано по-разному: *полов'ина* и *полов'ина* (№№ 152,

183), *зерн'ица* (№ 220) и *зирн'ица* (№ 158). В ряде случаев, когда программа требовала записи форм множественного числа, в п. 49 (так же, как и в п. 208 — см. выше) картографируется иная форма, например: *топора* (№ 176 — вместо *топори*), *с'ел'ч'ян*, *-ч'янына* (№ 157), что, по-видимому, объясняется использованием непригодного для украинских говоров экспериментального контекста (например, «один топор, два топора»).

Не будучи специалистами в области молдавской диалектологии, мы, естественно, основное внимание уделили общим принципам и техничной стороне МЛЯ. Несомненно, что всесторонняя оценка этого фундаментального труда молдавских диалектологов — дело романистов.

Рецензируемый атлас содержит огромный диалектологический материал, который дает возможность в будущем решить много общих и частных проблем романистики и славистики. На его основе будущие исследователи смогут вскрыть истоки и закономерности развития молдавских диалектов, изучить соотношение молдавских диалектов и литературного языка. «Молдавский лингвистический атлас» является ценным вкладом в изучение балканского языкового союза.

С. Б. Бернштейн, Г. П. Клепикова

«A magyar nyelvjárások atlasza». I rész (1—192 térkép). A magyar nyelvátlasz munkaközösségének közreműködésével szerkesztette Deme L. és Imre S. — Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.

Со времени возникновения лингвистической географии были составлены национальные атласы ряда европейских стран (Франции, Италии и Швейцарии, Германии, Бельгии, Ирландии, Польши, Румынии, Молдавской ССР, Белорусской ССР, «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» и др.), составляются также региональные атласы.

«Атлас венгерских говоров» (первый том его вышел под ред. старших научных сотрудников Института языковедения Венгерской Академии наук Л. Деме и Ш. Имре) — это первый общевенгерский лингвистический атлас, посвященный исследованию одной из самых интересных в диалектологическом отношении территорий.

В 20-х гг. XX в. на одном из итоговых ежегодных совещаний венгерских языковедов в Дебрецене рассматривался вопрос о создании комиссии по составлению атласа венгерских говоров, а в начале 30-х годов шла речь о создании региональных атласов венгерских говоров. Однако только в 1941 г. группа научных работников во главе с известным венгерским языковедом Г. Барци приступила к сбору материала; война приостановила эту работу. После окончания второй мировой войны вновь созданная комиссия в составе восьми человек из числа научных сотрудников Института языковедения Венгерской Академии наук во главе с акад. Г. Барци приступила к составлению нового вопросника, установила сетку населенных пунктов для обследования. С 1949 г. начался сбор материала. К 1960 г. материал был собран на территории Венгрии, Чехословакии и Румынии, а несколько позже — в венгерских населенных пунктах на территории Советского Союза, Югославии и Австрии.

Параллельно с составлением общенационального атласа венгерских говоров шла работа по созданию региональных атласов. В 1958 г. вышел в свет состоящий из 217 карт «Лингвистический атлас территории Ершейг и Гетейш» («Orségi és helyi nyelvátlasz») Й. Вейга. Готовятся к печати региональные атласы территорий Чик и Дьердев, Удворхей, Харомсейк, Мезешейг, Араней<sup>1</sup>. За последнее время появился ряд монографий по венгерской диалектологии, оснащенных лингвистическими картами<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См. об этом: K á l m á n B., Nyelvjárásaink, Budapest, 1966, стр. 108.

<sup>2</sup> Deme L., A magyar nyelvjárások néhány kérdése, Budapest, 1953; e g o ж е, Nyelvátlaszunk funkciója és további problémái, Budapest, 1956; «A magyar nyelvátlasz munkamódszere», felelős szer-

Достоверность атласа, как известно, зависит от трех основных условий: от вопросника, методики сбора материала и правильного нанесения собранного материала на карты. Наиболее важным и ответственным является, безусловно, составление вопросника, по которому будет производиться собрание материала. Состав вопросника определяет общую направленность, объем, детальность будущего атласа.

Вопросник, по которому собирался материал для атласа венгерских говоров, состоит из двух частей. Первая (вопросы №№ 1—759) посвящена сбору материала по фонетике, морфологии и синтаксису. Вторая (вопросы №№ 1—665) — лексике. Обе части вопросника были изданы в 1950 г. К ним приложена небольшая вступительная часть, требующая от эксплоратора приведения данных о населенном пункте, количестве жителей, их национальности, об их основном занятии, вероисповедании, о культурных и хозяйственных учреждениях населенного пункта и т. п. Кроме того, вступительная часть снабжена таблицей гласных фонем и их вариантов, дифтонгов и их вариантов, а также различными знаками, характеризующими употребление слова.

Нумерация вопросов в каждой части вопросника своя. Возле каждого вопроса отведено место для ответов. Вопросы первой части состоят только из заглавных слов. Например, 1. *árpa* «ячмень», 2. *búza* «пшеница», 3. *búza levele* «листья стебля пшеницы», 4. *rozsa* «розя», 5. *zab* «овес» и т. д.

Вопросы второй, лексической части, также состоят из заглавных слов с наводящими вопросами в скобках, например: 130. *avas* (Milyen a szalona nyáron, amelyik már megsárgult?) «протогклое (какое сало летом, когда оно пожелтело?)», 133. *kocsonya* (Ha a disznó fület farkát megfőzik és az megfagy, mi a neve?) «холоден (если уши, хвост свиньи сварят, и это остынет, как это называется?)» и др. Наводящие вопросы не даются только в том случае, когда для обозначаемого словом предмета есть рисунок или же эксплоратор может указать на предмет, и заглавное слово при этом сопровождается указанием: «см. рисунок» или «покажи на предмет». Большинство вопросов второй части составлено по тематическим группам, что помогает вести связанный разговор с информантом. К каждой части вопросника прилагаются отдельно рисунки реальных.

Метод сбора материала был активным и пассивным. В большинстве случаев оп-  
к е с т ь B á r c z i G é z a, Budapest, 1957; K á l m á n B., Nyelvjárásaink.

рос проводился активным способом (описанием реалии, подведением информанта к ответу, указанием на предмет, показом рисунка и др.). Когда все эти способы опроса не давали результатов, тогда ставился прямой вопрос — есть ли у вас такое-то слово?

Весь материал собирался только квалифицированными научными работниками Института языкознания Венгерской Академии наук в составе восьми человек. Это делает «Атлас венгерских говоров» очень ценным и достоверным источником. В каждом населенном пункте сделаны магнитофонные записи.

Очень важным этапом в лингвгеографии является способ нанесения собранного материала на карты. Собранный материал может передаваться на карте различными приемами: транскрибированными надписями под номерами соответствующих населенных пунктов, специальными картографическими знаками, площадями разных цветов, линиями-изоглоссами и различными комбинированными способами.

Венгерская лингвгеография, вслед за романской лингвгеографией, ведущей свое начало от французской школы Ж. Жильерона, для изображения языковых (диалектных) элементов пользуется текстовым способом, т. е. транскрибированными надписями.

Способ транскрибированных надписей в свое время был новым этапом в лингвистическом картографировании. Этот способ не лишен положительных моментов: с помощью надписей можно, например, детально передать на карте фонетические и другие варианты слов. В то же время текстовые карты, как правильно отмечает Ф. Т. Жилко<sup>3</sup>, имеют и серьезные недостатки: на них невозможно, например, изобразить элементы парадигм, различные оппозиции, микросистемы фонем, синтаксические конструкции, семантические микрополя. Элементы фонетических и морфологических уровней на этих картах изображаются на материале только отдельных слов-репрезентантов, а это не всегда дает возможность проследить действительный ареал лингвистического элемента в зонах межязыковых контактов, где отдельные лексемы-репрезентанты лингвистических элементов часто имеют различные ареалы, что нередко объясняется внеязыковыми факторами. Кроме того, транскрибированные надписи не дают также возможности генерализовать объекты изображения и не обеспечивают надлежащей графической нагрузки карты.

Знаковый способ картографирования, примененный впервые в немецкой (Марбургской) школе лингвгеографии в атласе Г. Венкера, имеет большие возмож-

ности для генерализации и синтеза материала. Позволяя изобразить не только территориальные лингвистические оппозиции, но и особенности структуры языковых (диалектных) элементов, их функционирование, выявить параллелизмы и их вариативность, знаковый способ картографирования является многоплановым. Многоплановость изображения на картах лингвистических элементов является неотъемлемой чертой «Атласа русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» (1957), «Атласа белорусских говоров» (1963) и находящегося в печати «Атласа украинской мови». Московская школа лингвистической географии, используя, как и немецкая школа, знаковый способ картографирования, выработала свою теорию лингвистического атласа и свою систему картографирования<sup>4</sup>. Система картографирования московской школы с некоторыми дополнениями использована в атласах белорусского и украинского языков.

Возможен и комбинированный способ изображения на карте языковых явлений. Он применяется на текстовых картах, где надписями нельзя передать целый ряд языковых фактов. Так, например, общенациональный румынский и венгерский атласы изготовлены с помощью надписей, а региональные атласы этих языков — комбинированно с помощью надписей и знаков.

Уже и рецензируемый первый том «Атласа венгерских говоров»<sup>5</sup> позволяет оценить значительность работы, проделанной ее составителями. Появление в свет этого лингвгеографического труда является большим событием в языкознании вообще и в финно-угроведении в частности.

«Атлас венгерских говоров», как уже отмечалось, является текстовым атласом. Он состоит из краткой вступительной части, которая содержит список населенных пунктов, перечень основных звуков, используемых в фонетической транскрипции, и объяснение употребляемых в атласе различных знаков. Например, в легенде карты дается знак репрезентанта и возде него сверху знак ▲, отсылающий читателя к комментарию, где должны быть общие замечания к картографируемому явлению; знаком ● передаются в комментарии частные замечания, знаком ○ — те данные, которые на карте не фигурируют, а имеются только в комментариях. На каждой карте в легенде указывается, какого характера карта

<sup>4</sup> Подробно об этом см. в кн.: «Вопросы теории лингвистической географии», М., 1962.

<sup>5</sup> По любезному сообщению Ш. Имре, одного из составителей и редакторов этого тома, «Атлас венгерских говоров» появится в 5—6 томах, включающих в себя 1162 карты.

<sup>3</sup> Ф. Т. Ж и л к о, Проблемы украинської лінгвістичної географії (в печати).

(лексическая, морфологическая или фонетическая). Для слов-репрезентантов, нанесенных на карту, также используются различные пометки. Так, слова-архаизмы взяты в круглые скобки ( ), слова-неологизмы — в квадратные [ ], редко употребляемые слова — в угловые скобки < > и т. п. На карте отображено также употребление тех или иных слов-репрезентантов людьми разного вероисповедания, для чего употребляются знаки + \*.

Можно пожалеть, что во вступительной части не раскрыты принципы картографирования.

«Атлас венгерских говоров» охватывает 395 населенных пунктов. Из них 327 на территории Венгерской Народной Республики, разделенной условно на 14 квадратов, обозначаемых литерами венгерского алфавита (A, B, C) в порядке — сверху вниз и слева направо. Каждый квадрат имеет свою самостоятельную нумерацию. Обследованы также венгерские говоры 68 населенных пунктов за пределами Венгрии, в частности 26 — на территории Чехословацкой Социалистической Республики, 22 — на территории Социалистической Республики Румынии 12 — на территории Социалистической Федеративной Республики Югославии, 4 — на территории СССР (Закарпатье) и 4 — на территории Австрии. Все эти населенные пункты даны отдельным обрамлением за пределами границ Венгрии с обозначением страны (Szu, Csz, Ro, Yu, Au) и самостоятельной нумерацией.

Вступительная часть «Атласа» написана на венгерском и французском языках. На двух языках дается также тема карты. Комментарии написаны только на венгерском языке.

В рецензируемом первом томе «Атласа венгерских говоров» даны 192 лингвистические карты, из них 172 — лексических, 14 — фонетических и 6 морфологических. К «Атласу» приложена физическая карта Венгрии, на которой, кроме населенных пунктов, вошедших в сетку обследования, нанесены районские центры и большие города. Это обеспечивает удобства в пользовании картой.

Структура карт такова: в левом верхнем углу дается номер карты, литературные названия картографируемых понятий, перевод их на французский язык (для растений даются латинские названия); после названия понятия указывается, какие языковые явления отображены на карте (lex., morf., fon.). Под названием понятия дан в описательной форме вопрос, по которому собирался материал карты, или прилагается рисунок. На правой стороне карты посредине находится обрамление в форме прямоугольника, предназначенное для комментариев. Если комментарий в это обрамление не помещается, он приводится на обратной стороне карты (как в «Атласе молдавского языка»). Все карты

атласа изготовлены аккуратно. Надписи на них даются четкой фонетической транскрипцией, полностью соответствующей действительному звучанию того или иного слова-репрезентанта в говорах. Если название определенной реалии имеет в одном и том же населенном пункте несколько фонетических вариантов или лексических параллелизм, то лист карты увеличен вдвое, что обеспечивает неплохое чтение карты.

Большинство карт лексических. Это обусловлено тем, что во многих школах лингвистической географии и до сего дня лексическому уровню картографирования уделяют большое внимание. Изысканием новых методов картографирования лексикой занимались в свое время К. Яберг и Ж. Юд (Швейцария). Московская школа лингвогеографии разработала теоретическую основу изображения на карте лексического уровня языка (диалекта). Однако нельзя сказать, что теоретически и в плане методов картографического изображения лексических единиц языка достигнуты необходимые успехи. Причиной отставания картографирования лексического уровня в известной мере является фрагментарность разделов по лексике в вопросах.

Лексические карты в «Атласе венгерских говоров» дают ценный материал для исследования межъязыковых контактов. Интересными в этом отношении являются карты №№ 35, 69, 84, 97, 108, 122, 132, 134, 139, 167, 170, на которых четко отображены изоглоссы лексем, вошедших в венгерский язык из соседних языков.

Карты атласа наглядно показывают, что древнейший пласт венгерской лексики распространен в первую очередь за Дунаем, а северная и восточная часть современной Венгрии были заселены позже. Например, на карте № 51 картографировано слово *bab* «фасоль», имеющее такие лексические противопоставления: 1) за Дунаем, в крайней южной территории Венгрии — *borsó*, фиксирующиеся венгерскими письменными памятниками XIV в.; 2) между Тиссой и Дунаем, а также на северной части Задунайщины — *bab*, фиксирующиеся письменными памятниками XVI в.; 3) на восточной территории Венгрии — *paszuj*, *paszur*, фиксирующиеся письменными памятниками XIX в.

Ценный материал для языкознания дают лексические карты, отображающие синонимическое богатство венгерских говоров; к сожалению, в комментариях не освещается, равноправны ли все эти синонимы или же они имеют свою специфику употребления. Так, на карте № 7 для понятия *kalász* «колос» даны без каких-либо помет следующие лексические дублиеты: *fű, feje, kalász, buzafej*; на карте № 16 для *pipacs* «дикий мак» даны синонимы *mákvirág, vadmák* (см. также карты №№ 34, 56, 184). Возможно, эти назва-



Таким образом, материалы рецензируемого «Атласа» дают ключ к интерпретации ряда чрезвычайно древних явлений, ибо в лексических различиях можно увидеть зачастую более давнее диалектное членение, чем членение, устанавливаемое исследованием фонетики и морфологии.

Рецензируемый «Атлас венгерских говоров» имеет большое значение не только для истории венгерского языка и группирования венгерских говоров, но и для истории других финно-угорских языков. Он представит большую ценность и для составителей общеславянского атласа, поскольку Венгрия является очень интересной языковой территорией, входя-

щейся в непосредственных контактах со славянскими языками и сохранившей целый ряд праславянских языковых явлений.

«Атлас венгерских говоров», безусловно, является одним из выдающихся трудов последних лет, посвященных венгерскому языку и его говорам. Давая точное представление не только о современном состоянии венгерских говоров, но также об их состоянии в предыдущие столетия, «Атлас» обогащает венгерскую диалектологию целым рядом новых фактов и с успехом может быть использован для исследования языковой проблемы карпатского ареала.

П. Н. Лизанец

**Б.-Д. Бадараев. Об основах транскрипции и транслитерации для тибетского языка.** Бурятское книжное изд-во, Улан-Удэ, 1967, XII + 193 стр.

Рассматриваемая книга, изданная ротативным способом, явилась второй (с 1962 г.) попыткой разработать систему транслитерации и транскрипции для тибетского языка на базе кириллицы в целях применения их в советской тибетологии.

После нескольких страниц «Введения» (стр. V—XII) автор делит исследуемый им материал на 7 частей: глава I (стр. 1—33) относится к истории проблемы; в главе II (стр. 33—43) в общем дискутируется сама проблема транслитерации; главы III (стр. 44—77) и IV (стр. 77—95) посвящены теоретическим проблемам тибетской транслитерации и структуре тибетского моносиллаба; глава V (стр. 96—112) описывает звуковую реализацию окончаний в тибетских словах; в главе VI (стр. 113—153) «Транскрипция» трактуются вопросы о степенях точности фонетической записи в транскрипциях; глава VII (стр. 154—191) озаглавлена «Относительно двух стандартов и проекции тибетских моносиллабов». Книга снабжена многими полезными, хорошо оформленными таблицами и чертежами.

Вводные главы, в которых излагается история всей проблемы, очень полезны и могут служить хорошим источником для сообщения читателю сведений о различных системах транслитерации и транскрипции тибетского языка. Но, пытаясь решить самое проблему выработки научной транскрипции и транслитерации при помощи русского шрифта, Б.-Д. Бадараев, используя при этом различные несобственные источники, описал и объяснил некоторые факты совершенно иначе по сравнению с тем, что принято в этой области. Мы постараемся изложить эти расхождения.

1. Общие замечания. Б.-Д. Бадараев категорически отбрасывает фонологические термины «апикальные» и «дорсальные» звуки, которые были приняты в первом проекте транскрипции средствами русского алфавита<sup>1</sup>, утверждая при этом, что они вызывают недоумение и неправильны. Оба термина являются переводами китайских фонетических терминов *shē-jiān* «апекс», «blade» «кончик языка»<sup>2</sup> и *shē-miàn* «dorsum» «спинка языка». Возможно, что Б.-Д. Бадараев не вполне правильно понимает китайский способ описания произношения язычных звуков. Китайские фонетисты<sup>3</sup> связывают их все с языком как активным органом речи. Язык разделяется на «кончик» («blade») и «спинку» («dorsum»). Китайцы употребляют термины *qián* «передняя», *zhōng* «средняя» и *hòu* «задняя» часть «кончика» или «спинки» для обозначения точки или места, которым язык касается пассивного органа речи, в то время как западные фонетисты, имея в виду место артику-

<sup>1</sup> К. Седлачек, Б. В. Семичов, К вопросу о транслитерации и фонетической транскрипции современного тибетского языка посредством русского алфавита, «Материалы по истории и филологии Центральной Азии», Улан-Удэ, 1962 (далее в тексте сокращено: ТСС-1).

<sup>2</sup> Именно так оба английских термина переведены в русском издании: Э. Хэмпи, Словарь американской лингвистической терминологии, М., 1964, стр. 39 и 96.

<sup>3</sup> См. например: Luó Cháng-Péi, Wáng Jūn, Pǔ-tōng yǔ-yīn-xué gāng-yào, Peking, 1957.

ляция, обозначают звуки именно по этим последним («зубы, альвеолы, десны» и т. п.). Вынося приговор этим терминам (см. стр. 32), Б.-Д. Бадараев обозначает лхасские ретрофлексные звуки МФА как «зубные, супрадентальные» (стр. 156), хотя «зубной» означает *postalental*, а супрадентальный — это «верхнезубной» по-русски. На стр. 157 он употребляет термин «ретрофлексный» (*retroflex*) для той же серии звуков. Более того, он употребляет термины «апикальность», «дорсальность» в своей таблице диакритических знаков (стр. 127), употребляя здесь ретрофлексный звук МФА [ʂ] и смешивая таким образом латиницу и кириллицу. Термин «префикс», когда говорят о фонологии («Таблица проекции моносиллабов на фонетический стандарт»), не применим, ибо это термин морфологический — лучше заменить его на «предкорневой» (*pre radical*), как это предложено А. Рона-Ташем.

2. Транслитерация. В качестве базы для своей научной транслитерации тибетских букв Б.-Д. Бадараев использовал те же обозначения, которые имеются в первом проекте ТСС-1, стр. 126, за исключением

	Б.-Д. Бадараев	ТСС-1
8-я буква	<i>нйа</i>	<i>ня</i>
23-я буква	<i>'а</i>	<i>'а</i>
30-я буква	<i>а</i>	<i>а</i>
из <i>Sumṅpa</i>		

По системе транслитерации ТСС-1 первые два обозначения кажутся более простыми, чем те, которые приняты у Б.-Д. Бадараева. Тридцатая буква, действительно, представляет собой согласный звук и реализуется «как «носитель гласных» (*bearer of vowels*) -е, -и, -у, -о (что правильно утверждает ТСС-1), которые в тибетской системе письма надписываются и подписываются над и под литерой. Не разгадав действительной функции этой тридцатой тибетской буквы, Б.-Д. Бадараев транслитерирует ее как «а». Ср. также некоторые другие сложные способы транслитерации по Б.-Д. Бадараеву:

	Б.-Д. Бадараев	ТСС-1
<i>kaḥ</i>	<i>ка''</i>	<i>ка'</i>
ка + подписан. <i>ḥ</i>	<i>ка''А</i>	<i>ка̇</i>

Автор очень непоследователен в своих транслитерациях в собственной книге (см. например, на стр. 91 *ролбий* вместо *рол-па''и*, которое должно было бы быть в его транслитерации и т. п.). Хотя он категорически отбрасывает знак ' (стр. 39) для транслитерации 23-й буквы (по ТСС-1), однако этот знак использован в таблице проекта транслитерации на стр. 116—125: *б'ка'* стр. 116 № 8 вместо полагающегося по его проекту *б'ка''*; *'к'а'* стр. 117 № 29 вместо *'ка''* (здесь к тому же -х заменен на-һ); *'гра* стр. 118 № 47 вместо *'гра*. Ср. также *лоца''ава* стр. 91

вместо *ло-ца''А-ва*, *бабу* стр. 91 вместо *дла''-но*. В некоторых случаях он вообще опускает диакритику в своих транслитерациях: *днга* стр. 118 № 60 вместо *днга''* и *мнга* стр. 118 № 61 вместо *мнга''*.

В своем проекте научной транслитерации Б.-Д. Бадараев должен был избежать транслитерирования 4-й буквы через *нг*, 7-й буквы через *дж*, 8-й буквы через *нй*, 19-й буквы через *дз* из *Sumṅpa*, так как все они изображаются одной тибетской литерой, а не комбинацией двух (т. е. *н + г*, *д + ж*, *н + й*, *д + з*). Он отвергает также способ транслитерации тибетского *цзег*, знака отделения слогов, и предлагает дефис. Ср.:

	Б.-Д. Бадараев
Транслитерация	<i>ла-са-ла бслаб</i>
Транскрипция	<i>ла-са-ла лэп</i>

ТСС-1

*ла. са. ла. бслб.*

[ла-са-ла-лэп]

3. Транслитерация. Автор подчеркивает употребление норм лхасского диалекта для своего проекта научной транскрипции. Он использует транскрипцию своего покойного учителя Ю. Н. Рериха и при этом переводит ее на русский алфавит. Так, если Ю. Н. Рерих писал *t<sup>h</sup>-h*, то у Б.-Д. Бадараева это превратилось в *m<sup>p</sup>-x*. Однако произношение, данное в рецензируемой работе, в действительности — не лхасское. Автор употребляет русские буквы ч и ц как в транскрипции, так и в транслитерации; мы же считаем, что эти аффрикаты должны быть транскрибированы в его научном проекте посредством затворных и фрикативных звуков. Бадараев смешивает свои способы обозначать первичную и вторичную аспирацию в лхасском тибетском. Так, на стр. 98 *тхагс* передает как *m<sup>x</sup>ак* вместо *тхаг*, *тзэнгс* — как *m<sup>x</sup>эң*, вместо *тэлэң*; на стр. 104 *бар* — как *m<sup>x</sup>а*: вместо *п'а*:. Такая же непоследовательность имеется в написании фрикативного элемента в ретрофлексных аффрикатах: на стр. 97 *эргэс* транскрибировано как *трок* вместо *m<sup>p</sup>ок*. В ряде мест непоследовательно вводится новый элемент аспирации *h*- (латинская литера), например, на стр. 122 № 134 *пхъя* передается как *ч'а* и *ч'а*.

В лхасском диалекте почти все звонкие начальные классического тибетского языка произносятся как глухие, кроме тех, которым предшествуют ' и или л. Во всех случаях, где слышится глухость в лхасских слогах, Б.-Д. Бадараев транскрибирует с озвончением (*sonorization*). Это подтверждает наше предположение, что произношение, данное в его труде, едва ли лхасское. Фонема *к'* не палатальный звук, но палатализованный веларный *к''* (см. стр. 156). *Pd*- и *pg*- звучат в лхасском глухо, а не звонко (как это

даво на стр. 156), 'лзгя (см. стр. 116—125) произносится не как 'а; гша' и бша' — не как ш'а: или ш'а; хра — не как ш'а; рзгюгс (стр. 97) — не как джу: или гу: или дж'у (стр. 118 № 49) и т. д. Кроме того, конечные -не(с), -б(с) и -м(с) оказывают влияние на качество коренной гласной в лхасском слоге. Что же касается конечного -гс, то он не вызывает долготу гласной; -р удлиняет корневую гласную, но не вызывает глухой глотальной взрывной в лхасском диалекте, исключая чтение по складам.

4. Таблица с тьков. Таблица стыков (стр. 132—152) отмечает теоретическую возможность 4598 случаев (22 строки × на 209 столбцов), из которых Б.-Д. Бадараев практически нашел 137, т. е. лишь 3%. Многие данные здесь, неправильны или недостаточны, например, -НДЖ-, -НД'-, -МД-, -МДЖ'-, -МЗ- и т. д.; это обусловлено тем, что Б.-Д. Бадараев не заметил изменения глухих фонем в их звонкие варианты в начальном звуке второго слога, и, оставив без внимания потерю придыхания и утрату затворного взрыва (plosive stop) у аффрикат, главным образом перед закрытыми слогами первого слога, например: пхаг-рдзи > стьк > [з-], но ба-рдзи > стьк > [дз-].

5. Тоны. В рецензируемой книге не особенно много сведений о тонах как фонематических супrasegmentальных признаках тибетского слога, так как автор, вероятно, не имел собственного лингвистического материала. Тоны 51, 53, 41 и 13, 14 Sumčira позаимствованы из моей работы<sup>4</sup> без указания на источник информации (см. стр. 70—71). Доказательство весьма простое: ни один из современных фонетистов не различал тоны 51, 41 и 14 в Sumčira. Описывая серию тоновых элементов лхасского тибетского диалекта (ср. стр. 190), автор указывает то же число и виды тонов, как и Цзинь Пэн<sup>5</sup>, т. е. нисходящие тоны 53 и 41, ровный тон 44 и восходящие тоны 13 и 35. Нет никаких упоминаний об изменении тонов в лхасских тибетских слогах или же о безударном тоне. Приложенная к рецензируемой книге «Особая тоновая азбука» для современного тибетского языка, состоящая из 35 графических тоновых вариантов, не имеет теоретического или практического значения, так как является сводкой всех существующих точек зрения на тоны в тибетском языке. Эта азбука содержит, главным образом, неверные положения о тонах. Автор в принципе не отмечает тоны в слогах. Ударение не отмечено в слогах лхасского диалекта.

6. Генеалогические соображения. Добавляя или описывая тоновую и фонематическую структуру некоторых китайско-тибетских языков (см. табл. на стр. 190—191), Б.-Д. Бадараев включает кхмерский, вьетнамский и его диалект Mu'd'ng, а также тайский язык в китайско-тибетскую группу, хотя С. Е. Яхонтов доказал родство этих языков с аустрическими языками, использовав в этих целях глоттохронологический метод.<sup>6</sup> Сомнительным представляется утверждение автора, что «степень архаичности и фонетической развитости языков китайско-тибетской семьи» (стр. 191) (или, добавим, аустрической группы), может быть установлена при помощи этой сжатой таблицы. На деле эта таблица не окажет помощи исследователям в области сравнительной и реконструктивной филологии.

7. Из всего, что сказано в предыдущих пунктах, вытекает, что предлагаемые проекты транслитерации и транскрипции не имеют научного уровня. Более полезным (как это и предложено в ТСС-1) будет принятие системы МФА и ее широкой шкалы фонем и диакритических знаков в советских научных трудах по тибетологии, так как проект, предложенный читателям в рецензируемой книге, неточен и громоздок: он рекомендует использовать 14 диакритических знаков и наряду с русскими литерами видоизмененные латинские буквы (h, s, e, φ, γ). Первый (на основе русского алфавита) научно-популярный проект ТСС-1 был основан исключительно на кириллице, за исключением гласного е; в нем использовано лишь пять диакритических знаков, включая показатели тонов в лхасском диалекте. Проект Б.-Д. Бадараева не приближается к существующей системе транскрипции, применяемой в словаре И. М. Ошанина. См., например, китайизм, транскрибированный тибетскими литерами<sup>6</sup>, его транскрипцию по И. М. Ошанину (для китайского) и по системам Бадараева и ТСС-1 (для тибетского):

кгранг или кграи

кит. чан (по И. М. Ошанину)

м<sup>2</sup>хаң (по Б.-Д. Бадараеву)

[чжэган] (по ТСС-1)

[tʃhãŋ] (по МФА)

Приветствуя попытку Б.-Д. Бадараева выработать научную систему транслитерации и транскрипции с использованием русского шрифта, мы сожалеем, что ему не помог ни один из опытных тибетологов. Это позволило бы автору довести его труд до нужного качества.

К. Седлачек

<sup>4</sup> См.: K. Sedláček, The tonal system of Tibetan (Lhasa dialect), «T'oung Pao», XLVII, 3—5, Leiden, стр. 190—191.

<sup>5</sup> Jīn Péng, Zàng-yǔ lā-sà rì-kà-zé chāng-dū huà-dì bǐ-jào yán-jiū, Peking, 1958.

<sup>6</sup> См.: K. Sedláček, On Tibetan transcription of Chinese characters, MIO, D.A.d.W., Berlin, 1957, V, 1.

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

## ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

\*

С 12 по 14 марта 1969 г. в Саратовском гос. ун-те им. Н. Г. Чернышевского проходила конференция на тему «Русская разговорная речь». Она была организована Поволжским советом по координации и планированию научно-исследовательских работ по гуманитарным наукам. Это первая конференция русистов, изучающих разговорную речь (далее — РР). На ней были представлены три коллектива, работающих над этой темой: из Саратовского университета, Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (Москва) и Института русского языка АН СССР (Москва); кроме того, присутствовали ученые из 12 городов. Было прослушано 42 доклада. Работали секции: фонетика РР, интонационная фонетика РР, грамматика РР, лексика РР, стилизованная РР.

В большинстве докладов были представлены результаты конкретных исследований по материалам живой речи. Сравнение и совпадение результатов создает основу для взаимопонимания и в общих вопросах, хотя дискуссионными остаются проблемы разграничения разных объектов, установления их связей и системных границ внутри общего понятия «русская разговорная речь».

В нескольких аспектах рассматривалось соотношение диалектной и литературной РР. Доклад Л. И. Баранниковой (Саратов) «О социально-исторической обусловленности места РР в системе языка» содержал гипотезу о сравнительно позднем возникновении литературной разновидности обиходно-разговорного типа речи (приблизительно со второй половины XIX в.). В более ранний период эту функцию выполняли диалекты и городское просторечие. Современные социальные условия стимулируют дифференциацию языка и развитие разговорного типа речи на общелитературной основе, взаимодействующей с элементами диалектного и просторечного субстрата. В докладе О. А. Лаптевой (Москва) «Общие устно-речевые синтаксические явления литературного языка и диалектов» были рассмотрены сложнопредикативные единицы типа

*устала ходила* и бессоюзная связь главного и придаточного предложений. Наряду с чертами сходства установлены некоторые особенности диалектного функционирования этих конструкций, не связанные, однако, с территориальным признаком (например, более широкий круг лексических значений в двойных глаголах; иная ритмико-интонационная структура при бессоюзии, отсутствие некоторых типов бессоюзия). На этом фоне выявилась специализация литературных разговорных средств. Диалектные и литературные данные были сопоставлены также в сообщении А. А. Никольского (Рязань) о вставных предложениях в РР.

На собственно диалектном материале особенности РР исследовались в докладах: Н. Г. Потаповой (Пермь) «К вопросу о редукции структуры простого глагольного предложения в устной речи», который содержал некоторые правила сокращения полных структур в эллиptические структуры; Л. А. Ивашко и О. С. Жельской (Ленинград) «Псковские говоры как источник изучения РР» (о продуктивности экспрессивных суффиксов, семантических сдвигов в слове, типах сравнений и т. п.).

Дискутировалась также проблема соотношения РР и устной речи. Выступая в прениях, О. А. Лаптева выделила в сфере устной речи чтение написанного текста, публичную речь, обиходно-бытовую речь, просторечие и диалект, обратив внимание на постепенность переходов одной области в другую. М. В. Панов заметил, что устная речь — это не единый в лингвистическом отношении объект, а конгломерат нескольких объектов.

В докладе «О понятии разговорная речь» Е. А. Земская (Москва) определила, какой из объектов в сфере устной речи выбран для изучения группой Института русского языка АН СССР. Внутри литературного языка РР была охарактеризована как непублицичная неофициальная речь. Этот объект изучается как самодостаточная система. В докладе были развиты некоторые положения опубликованного автором проспекта «Рус-

ская разговорная речь» (М., 1968); в частности, отмечалось наличие в РР в отличие от кодифицированного языка функционально непротопоставленных алловариантов на разных языковых уровнях.

Для саратовской группы характерно сопоставительное изучение разных типов речи с изменением одного параметра — стиля, формы, вида речи. Применяется статистическая методика (последнее характерно и для работ, выполненных в Университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы).

Доклады грамматической секции наиболее ярко отразили различие направлений, в которых ведется исследование РР. В докладе Э. А. Ключковой (Саратов) «Распределение классов слов в бытовой устной и письменной речи» сделаны сопоставления: а) разных стилей речи в письменной форме (частная бытовая переписка, художественная проза, научный стиль); б) разных форм речи — письменной и устной — в разговорном стиле; в) разных видов речи — монолога и диалога. Наиболее значимыми оказались различия в употреблении существительных и частей; предложена предварительная интерпретация полученных различий. Отмечена высокая полифункциональность морфологических единиц в РР.

В докладе Л. Г. Косачевой (Москва) «Некоторые статистические характеристики глагола в РР» сравнивались данные записей РР и частотных словарей Поссельсова, Штейнфельдта и Вакара. Подсчеты показали несколько меньшую употребительность глагола в живой речи, чем в стилизованной; при этом в РР преобладают формы изъявительного наклонения, формы настоящего времени, в прошедшем — формы совершенного вида и некот. др.

В докладе Е. В. Красильниковой (Москва) «Изучение морфологии РР как системы», в частности, говорилось, что противопоставление имени и глагола в РР более контрастно (отсутствуют переходные — атрибутивные категории глагола и предикативная категория имени). С сокращением морфологических средств связана в ряде случаев меньшая дифференцированность синтаксических отношений. Неразличение на морфологическом уровне может восполняться интонационными и местоименными средствами.

В. Ф. Ильин (Саратов) в докладе «Переходные глаголы в РР» среди характерных явлений РР назвала отсутствие при глаголе творительного субъекта, влияние на семантику глаголов их употребления без управляемых слов, использование непереходных глаголов в переходном значении.

В докладе Н. И. Бахмутовой (Саратов) «Особенности употребления наиболее частотных глаголов РР» были изложены результаты исследования

глаголов по методике Ю. Д. Апресяна. Обнаружены специфические характеристики РР в этой области.

В докладе О. Б. Сиротининой, И. С. Кузьмичевой, Л. А. Сирченко, Л. И. Токаревой, Н. И. Травкиной (Саратов) «Синтаксические особенности РР» на базе гипотезы Ингве были проведены сопоставления глубины фразы в бытовых диалогах — письмах, в письмах — лекциях, в лекциях — научных статьях одних и тех же лиц. По предварительным выводам, глубина фразы различает не столько устную и письменную форму речи, сколько научный и разговорный стиль. Средства ограничения глубины (в том числе семантическая конденсация, парцелляция, повторы) в РР более разнообразны, чем в научном стиле. Были рассмотрены также некоторые показатели актуального членения.

Н. Я. Сердобинцев (Саратов) прочитал доклад о функции словосочетаний в РР. Н. И. Кузнецова (Саратов) в докладе «Атрибутивные словосочетания в РР» отметила преобладание в РР согласованных определений, а в них — относительных прилагательных. В докладе Н. И. Ильинской (Саратов) как особенно характерные для РР рассматривались присоединительно-обособительные конструкции; сравнивались количественные показатели разных видов обособленных конструкций в РР и кодифицированной речи. Доклад А. П. Журавлева и Г. А. Халиной (Калининград) включал анализ «репликовых скреп» и эллипсиса в связи с энтропией текста в живой разговорной и стилизованной речи. Ю. В. Ванников и С. К. Ихмальян (Москва) сопоставили следующие признаки синтаксически связанных пар слов в РР и книжной речи: позиционную удаленность, тип связи, взаимное положение главного и зависимого слова и др. Статистически значимые расхождения обнаружены только в морфологической характеристике слов. Позиционная удаленность часто значительно превышает глубину по Ингве. Доклад Е. Н. Ширяева (Москва) «Связи свободного соединения в РР» был посвящен описанию специфического для РР типа бессоюзия. Выявлены три признака этих конструкций в системе РР (по отношению к интонации, темпу речи и позиции во фразе) и широкая область их семантики. В. В. Гарашина (Мелекесс) говорила об особенностях структуры предложений в устной монологической речи учащихся начальной школы и о плане научного исследования по теме «Устная речь учащихся».

Обсуждение лексической проблематики началось с доклада Л. С. Ковтун (Ленинград) «Из истории русской разговорной речи». Автор подчерк-

ную роль русской средневековой лексикографии в качестве источника для изучения РР. В докладе рассматривался переход книжно-письменных элементов — гречизмов в разговорные арго русских ремесленников. На материале словаря С. И. Ожегова был построен доклад П. Н. Денисова и В. Г. Костомарова (Москва) «Стилистическая дифференциация лексики и проблемы РР» (в остальных докладах материалом служили записи современной живой РР).

Яркой чертой РР является наличие семантических стяжений. Их изучению с разных точек зрения были посвящены два доклада. В докладе Л. А. Капанадзе (Москва) было показано, что в РР имеет место большая, чем в кодифицированном языке, регулярность некоторых семантических моделей стяжения, а также существует ряд специфически разговорных моделей. В докладе И. П. Глотовой (Саратов) исследовались словообразовательные типы свертывания в РР (сравнительно с публицистикой и научным стилем); различия обнаружены в основном не в частотности употребления конденсатов, а в разнообразии и продуктивности типов; одним из главных факторов стяжения признана тенденция к оптимальной глубине слова (наименования) в РР.

Э. М. Ножкина (Саратов) посвятила свой доклад «Из опыта изучения отыменных образований наречного типа в разговорной и художественной речи» характеристике наречий типа *с апломбом*, *с быстротой*, *с нетерпением* и т. п. с точки зрения словообразовательных связей разных частей речи. В коллективном докладе студентов СГУ Т. И. Кольцовой, Н. А. Козельцовой, В. Ф. Курило, З. С. Патраловой, Т. А. Василенко, О. В. Гусевой, З. С. Санджи-Горевой были приведены статистические характеристики употребления в РР разных типов лексических единиц: частиц и вводных слов, аффиксальных образований. О роли жеста в РР и связи его со словом и высказыванием говорилось в докладе Л. А. Капанадзе и Е. В. Красильниковой (Москва).

Общие проблемы фонетики и интонационной фонетики были рассмотрены в двух докладах — З. И. Абросимовой (Москва) «Разговорный стиль произношения и его место в кругу явлений языка и речи» и Т. М. Николаевой, посвятившей свой доклад методологическим проблемам изучения интонации. В остальных докладах излагались результаты конкретных исследований. С точки зрения объекта исследования эти доклады можно разделить на две группы: посвященные собственно РР (доклады Г. А. Бариновой, Ю. В. Ваникова, В. Е. Гольдина, Г. Г.

Полищук, Т. В. Шустикова) и посвященные вообще звучащей речи (доклады Г. Н. Асланова, Б. Ф. Игнатова, Л. Ф. Цицюры).

В двух докладах рассматривались разговорные явления сегментной фонетики (фонетики звуков). В докладе Г. А. Бариновой (Москва) было дано описание системы вокализма РР. В докладе В. Е. Гольдина (Саратов) исследовались нефункциональные варианты сценического произношения, возникающие в результате взаимодействия 1) кодифицированной речи и РР (большое внимание уделялось при этом разговорным вариантам) и 2) сценической и несценической речи (особенно интересны здесь варианты, обусловленные спецификой подачи текста со сцены).

В докладах Г. Н. Асланова (Баку) «Влияние азербайджанской фонетической системы на русское произношение в г. Баку» и Л. Ф. Цицюры (Киев) «Особенности развития фонетической системы изолированного русского говора в украинском языковом окружении» освещался вопрос о языковых контактах. В связи с этими и другими докладами обсуждался вопрос о возможности поисков наиболее пронциальных мест фонетической системы методами сопоставления: кодифицированной формы литературного языка с РР; местных разновидностей литературного языка с окружающими говорами; двух систем при двуязычии и иноязычном окружении.

В работах Г. Г. Полищук (Саратов) «Роль интонации в дифференциации омонимичных языковых единиц» и Б. Ф. Игнатова (Тобольск) «Восприятие атрибутивных отношений в речи» сделана попытка выявить смысло-различительные элементы интонации. Б. Ф. Игнатов сопоставлял интонацию, выражающую атрибутивные и объектные отношения; в докладе Г. Г. Полищук, кроме того, рассматривались разные типы бессоюзия и виды модальности, выражаемые средствами интонации. Специальное внимание было уделено длительности как одному из основных коммуникативно значимых компонентов эмоционально окрашенной интонации. Т. В. Шустикова (Москва) показала в своем докладе, что в кодифицированной речи и в РР для различения смысла высказывания используются одни и те же интонационные средства: интонационные конструкции (ИК — термин Е. А. Брызгуновой), членение, паузы и т. д. Специфика же интонации РР создается более широким выбором фонетических вариантов ИК и употреблением тех же ИК с другим лексико-синтаксическим составом высказывания. В работе Ю. В. Ваникова (Москва) экспериментально исследовалась роль лексико-грамматической и интонационной стороны (особо

паузы) в членении слушающим дикторского текста радио и текста РР на интонационно-смысловые единицы. Выводы: в дикторском тексте 1) роль лексико-грамматических показателей большая, 2) но паузы более нагружены коммуникативно, чем в РР.

Для секции «Стилизованная РР» актуальным был вопрос о характере отражений РР в художественной литературе. Обсуждался самый термин «стилизованная РР», который В. М. Кубарев предлагал заменить термином «типизированная РР». В докладах исследовались: статистические характеристики РР на материале сложноподчиненных предложений (Б. А. Зильберт, Саратов); стилизованная РР в произведениях разных авторов (М. П. Глушкова, Саратов; Д. Е. Горелик, Астрахань); воспроизведение РР в переводах (Е. М. Кубарев, Куйбышев). Доклад Е. Б. Хатунцевой (Баку) был посвящен фразеологии в РР.

Представляется необходимым опубликовать материалы конференции.

*Г. А. Баринова, Е. В. Красильникова*  
(Москва)

\*

С 26 по 28 марта в 1-м МГПИИЯ им. Мориса Тореза прошла научная конференция «Проблемы лингвистической стилистики». Одним из первых был прослушан обобщающий доклад И. Р. Гальперина (Москва) «Общие проблемы стилистики». Докладчик нарисовал ясную картину проблем современной стилистики, особое внимание уделив ограничению объекта лингвистической (в отличие от стилистики литературоведческой), уточнению внутреннего строения этого раздела языкознания. Убедительно показана неправомочность попыток растворить стилистику в лексике, грамматике, фонетике. Противоположное мнение было высказано в докладе Г. В. Колшанского (Москва) «Лингвистические основы анализа языкового стиля». Вывод Г. В. Колшанского о том, что «лингвистический анализ „стиля“ высказывания в принципе оправдывает себя только как единый языковой анализ», базировался на понимании коммуникации как единственной причине существования языка. Обратное доказывалось в докладе Э. С. Азнауровой (Ташкент) «Стилистическая функция как вторичная функция языка».

Оживленная дискуссия разгорелась вокруг противопоставления «стилей языка» и «стилей речи». Правомочность такого различия защищали (хотя и с разных позиций) А. А. Леонтьев (Москва) и А. К. Панфилов (Моск-

ва), наоборот, И. И. Чернышева (Москва) предлагала отказаться от этого противопоставления. Лишь по названию к этой же проблеме можно отнести доклад О. С. Ахматовой (Москва) «Стилистика языка и стилистика речи».

Несколько докладов было посвящено уточнению лингвистической терминологии и основных понятий лингвистической стилистики. Таковы доклады А. Н. Морозовского (Киев), А. И. Полторацкого (Москва), К. А. Долинина (Ленинград), Ю. М. Скребнева (Горький). С особым интересом участники конференции выслушали доклад К. А. Долинина «О некоторых основных понятиях лингвистической стилистики», где делалась попытка дедуктивного построения стилистической систематики, и доклад Ю. М. Скребнева «Подъязык, стиль и текст».

Одной из центральных проблем конференции оказалась проблема функциональных стилей. Здесь были хорошо представлены как теоретические доклады, посвященные самой идее функционального стиля, так и более узкие — связанные с каким-то конкретным стилем. В области теоретической споры велись вокруг проблемы системности и внутренней структуры функционального стиля. Если И. А. Волгина (Москва) в докладе «К вопросу об определении понятия „стиль речи“» отрицала существование системы в стиле, то М. Н. Кожина (Пермь) своим докладом «О речевой структуре функционального стиля и методах ее изучения» эту систему утверждала (во всяком случае — для стилей речи). Поиски системы характерны и для доклада В. Д. Левина (Москва) «Структура стиля и стилистическая система языка». Особенно плодотворной кажется мысль В. Д. Левина о различии «сильных» (независимых) и «слабых» (зависимых) стилообразующих элементов. «Вторые, в отличие от первых, тесно связаны с внешними признаками стиля, с самой формой его функционирования; поэтому собственно стилистические их свойства и — отсюда — степень сознательности их употребления или преодоления в речи заметно ослаблены».

О сопоставлении разных функциональных стилей рассказывали в своих докладах Г. Г. Пощук (Саратов) «О проявлении специфики функциональных стилей в разной степени коммуникативной значимости элементов речи» и Н. Г. Михайловская (Москва) «Функциональный стиль и категория вариантности». Стилеразличающие способности английских словосочетаний анализировал Ю. А. Крутиков (Москва).

Несколько докладов было связано с исследованием какого-то определенного

функционального стиля. Объектом анализа была разговорная речь — в докладах О. Б. Сиротниной (Саратов) и М. В. Шарченко (Пятигорск); газетный стиль — в докладе Л. Н. Сорокиной (Москва); и особенно — научная речь — в докладах Б. А. Брамцова (Москва), А. Р. Медведева (Москва), Н. Я. Сердобинцева (Саратов), В. Н. Скибо (Москва), Н. М. Разинкиной (Москва), А. В. Степанова (Москва).

Проблема вариантности нормы языка обсуждалась в докладе А. Д. Швейцера (Москва).

Идея стиливых черт, вообще весьма популярная, на конференции была представлена лишь докладом В. М. Аврашина (Курган) «Характеристика текста и система стиливых черт».

Особняком стоит доклад Д. А. Кожухаря (Одесса) «К вопросу о точности и неопределенности в языке и речи».

Для современного развития стилистики весьма характерно стремление обнаружить стилистическую роль отдельных языковых явлений на самых разных уровнях лингвистической структуры. Пионерами здесь были члены кафедры грамматики немецкого языка 1-го МГУИИЯ. Неудивительно, что подобное направление представлено на конференции почти исключительно немецким языком. Прежде всего, здесь надо назвать доклад М. Д. Степановой (Москва) «К вопросу о стилистических функциях словообразовательных моделей», доклады по «стилистической морфологии» В. В. Пурцеладзе (Тбилиси), А. Л. Воронова (Горький), Л. И. Поляковой (Москва); по «стилистическому синтаксису» — доклады И. А. Турчина (Черновцы) и Л. Г. Фридмана (Пятигорск). Англистика была представлена докладом А. В. Кунина (Москва) «Основные понятия фразеологической стилистики». Стилистическая роль французской графической системы освещалась в докладе Л. Г. Ведениной (Москва).

Число исследователей, занимающихся диахронической стилистикой, пока еще невелико — на конференции было представлено всего четыре доклада, но зато все они были чрезвычайно интересны. К этой серии относятся доклады Е. В. Гудыга (Москва) «Грамматические архаизмы (к проблеме диахронии в стилистике)», Е. В. Розен (Москва) «Стилистические инновации в сфере лексики (на материале современного немецкого языка)», В. Н. Ярцевой (Москва) «Проблемы развития стилистических норм литературного языка» и Т. А. Растрогуевой (Москва) «О взаимодействии стилистического и грамматического уровней в истории английского языка». Закономерности, вскрываемые при диахроническом анализе, чрезвы-

чайно поучительны и для синхронной стилистики, и можно надеяться, что все больше исследователей будет обращаться к этой проблематике.

Одно из центральных понятий стилистики — понятие нормы — обсуждалось в целом ряде докладов. Прежде всего, следует назвать доклад Э. Г. Ризель (Москва) «Языковые и стилистические нормы (на материале современного немецкого языка)». Большой интерес вызвал также доклад Е. И. Шендельс (Москва) «Подотмеченные структуры и их стилистическое значение». Оригинальные теоретические идеи содержались в докладе Р. Р. Каспранского (Горький) «О соотношении нормы и стиля».

На конференции была широко представлена наиболее традиционная и почтенная область стилистики — стилистика художественной литературы. Скорее литературоведческий характер носил доклад акад. В. В. Виноградова (Москва) «К диалектике развития словесно-художественных форм („Евгений Онегин“ Пушкина и „Мертвые души“ Гоголя)». Напротив, сугубо лингвистическим был доклад Н. Д. Арутюновой (Москва) «О синтаксических типах художественной прозы». Соотношение стилей речи и языка художественной литературы обсуждалось в докладе В. А. Паутинской (Москва).

Что касается проблемы стилистических приемов, то здесь центральным был, несомненно, доклад З. И. Хованской (Москва) «Методы лингвистической интерпретации художественного произведения и проблема стилистического приема», вызвавший живейший интерес слушателей. Стилистические приемы в контексте рассматривались И. М. Астафьевой (Москва). Роль инородных элементов в ткани художественного произведения анализировалась в докладе Е. В. Гумилевской (Ленинград).

Особо хочется сказать о стилистическом анализе поэтической речи. Формальная сторона ее рассматривалась в докладах М. Г. Тарлинской (Москва) «Акцентная структура английского стиха», Н. О. Гучинской (Ленинград) «К проблеме лингвистической интерпретации разных метрических форм (на материале немецкой поэзии)», Р. А. Климановой (Москва) «Некоторые вопросы изучения структуры современных французских стихов». Как формальные, так и семантические аспекты обсуждались в докладе Ю. И. Левина (Москва) «О семантическом анализе поэтического текста», вызвавшим большой интерес присутствующих.

Проблемам индивидуального стиля был посвящен обобщающий доклад В. А. Кухаренко (Одесса) «Принципы лингвистического исследования индивидуально-художественного стиля» и не-

скольких докладов, где основным инструментом анализа явилась статистика. К ним относятся доклады В. К. Войнова (Харьков) об индивидуальных особенностях малых текстов (писем), Г. Р. Петаши (Пятигорск) о творчестве Фейхтвангера, Е. К. Мельниченко (Одесса) о стиле К. Мэнсфильд, Э. И. Борисоглебской (Хиас) о белорусских писателях, А. Д. Хаятина (Самарканд) о политических сочинениях Ж. Ж. Руссо.

Для дальнейшего развития стилистики в наших вузах важны доклады, посвященные методике преподавания стилистики; об этом говорилось в докладах Н. П. Поточкой (Москва) «Теоретические основы курса стилистики в специальных языковых вузах», И. В. Арнольд (Ленинград) «Стилистика получателя речи, или стилистика декодирования», М. П. Савцовой (Киев) «К вопросу о методах стилистического анализа».

Оценивая конференцию в целом, можно считать ее весьма удачной: она охватила все основные проблемы современной стилистики. Тезисы докладов хорошо отражают современное состояние советской стилистики. К сожалению, на конференции было мало докладов, посвященных методам стилистического исследования. Однако тот факт, что такие доклады все-таки были представлены (З. И. Хованская, В. А. Кухаренко, Ю. И. Левин, М. Н. Кожина), — залог будущих работ и в этой области.

*А. Я. Шайкевич (Москва)*

\*

С 22 по 24 апреля 1969 г. в Москве проходила научная конференция «Славянские литературные языки в донациональный период», организованная сектором славянского языкознания Института славяноведения и балканистики АН СССР. В ее работе приняли участие языковеды и филологи Москвы, Киева, Мивска, Львова, Риги, Воронежа, Ижевска, Калининна, Костромы, Коломны, Грозного, Ставрополя, Таганрога, Кызыла, Свердловска, Шадринска, Магнитогорска, Магадана, Хабаровска, Читы, иностранные ученые: К. Гуптимидт, Г. Зикмунд (ГДР), П. Ивич, Ф. Якопин (Югославия), Й. Еленски, П. Филкова (Болгария), Р. Ленчек (США), Левандовски (ФРГ).

В центре внимания работы конференции находились вопросы предистории современных славянских литературных языков, процессы их возникновения и формирования, анализ особенностей литературных языков донациональной эпохи.

Во вступительном слове Н. И. Толстой (Москва) приветствовал участников конференции и подчеркнул научную актуальность представленной на их обсуждение проблематики.

Первый день работы конференции был посвящен вопросам восточнославянских литературных языков.

В. В. Виноградов (Москва) в докладе «Основные проблемы и задачи изучения русского литературного языка донациональной эпохи» проследил пути формирования древнерусского литературного языка, сложившегося в процессе взаимодействия и синтеза языков старославянского (церковнославянского) языка, деловой государственно-правовой и дипломатической речи, языка фольклора и народно-диалектных элементов. В частности, вниманию аудитории был предложен интересный материал об использовании на Руси не только молитвословного стиха, сложившегося на общеславянской почве, но и сказового стиха, и ныне сохранившегося в русском фольклоре. Особое место в докладе было уделено критике распространенной среди славистов в Америке теории, согласно которой русский литературный язык до настоящего времени остается по существу церковнославянским (Б. Уйбегаун, Г. Хюттль-Ворт). Л. П. Жукowska (Москва) в своем выступлении в прениях попыталась найти аргумент против мнения о церковнославянской основе древнерусского литературного языка в сравнении ситуации восприятия старославянского языка на Руси с ситуацией многочисленных заимствований из русского языка в младонписменные языки (марийский, коми), не дающей, однако, основания считать, что эти языки сложились на базе русского. Возразивший ей В. Д. Левин (Москва) подчеркнул, что старославянский язык на Руси был воспринят как целостная система и как таковая взаимодействовал с системой русского языка и что это принципиально отличается от заимствования отдельных элементов русской системы в младонписменные языки. В прениях выступили также О. А. Князевская (Москва), Е. А. Василевская (Москва), Н. И. Толстой, И. А. Василенко (Москва).

Доклад Б. А. Успенского (Москва) «Никоновская справа и русский литературный язык (История удара в церковнославянских собственных именах в их отношении к русским литературным и разговорным формам)» был посвящен одному из конкретных вопросов взаимоотношения русского и церковнославянского языков в период становления национального литературного языка. В итоге анализа богатого, впервые вводимого в науку материала, докладчик приходит к выводу, что русские литературные формы собственных

имен восходят к соответствующим каноническим формам XVI—XVII вв., причем преимущественно юго-западной церковной традиции.

В докладе «Новый взгляд на развитие графической системы русского литературного языка в донациональный период» Г. Зикмунд (Берлин) охарактеризовал изменения в поверхностной и глубинной структуре графической системы древнерусского литературного языка, обусловленные историческими сдвигами в системе русских гласных и согласных фонем, и предложил новую интерпретацию значения русских букв, противоположенную мнению о так называемом силлабическом принципе русской графики.

Л. Л. Гумецкая (Львов) в докладе «Общие и специфические особенности формирования украинского литературного языка» проследила основные черты истории украинского письменного литературного языка с его переходным украинско-белорусским этапом (XIV—середина XVII в.) и позднейшим расщеплением его на два литературных типа с разными диалектными основами и разными литературными нормами. Специально подчеркивалось, что памятники западно-русского языка отражают фонологическую дифференциацию территории, на которой он функционировал. В. М. Русановский (Киев) в выступлении по докладу указал, что язык XVII—XVIII вв., характеризующийся возникновением ряда новых закреплённых нормой стилей, нельзя считать простым продолжением языка XIV—XV вв., как это делает Гумецкая.

В докладе А. И. Журавского (Минск) «Проблема источников старобелорусского языка» содержалась попытка доказать, что основным критерием разграничения белорусских и украинских памятников письменности следует считать не национальную принадлежность автора и языковой анализ памятника, а территориальный признак: место написания текста. На шаткость территориального критерия определения языковой принадлежности указала Г. Ф. Благова (Москва), сославшись на пример памятников, написанных на территории Египта выходцами из Золотой Орды.

Доклад М. Г. Булахова (Минск) «Старобелорусский язык как посредник в русско-польских языковых связях XVI—XVII вв.» содержал анализ некоторых экстралингвистических фактов, а именно характера экономических, политических и культурных связей между Московским государством и Польским королевством, призванных подтвердить сформулированный в заглавии доклада тезис.

В. В. Аниченко (Минск) в докладе «Трансформация украинско-белорус-

ского койне в отдельные языки» попытался установить лингвистические показатели, по которым можно разграничивать памятники белорусского и украинского языков.

Второй день конференции был посвящен южнославянским литературным языкам, в том числе старославянскому (древнеболгарскому) литературному языку.

В докладе Р. М. Цейтлин (Москва) «О лексической норме старославянского языка», основанном на анализе богатого фактического материала, предложено разграничение 15 памятников древнеболгарской письменности X—XI вв. на две группы, каждая из которых характеризуется своей лексической нормой. Дифференцированный подход к изучению лексики этих памятников рассматривается докладчиком как один из немногих приемов восстановления реально существовавшего словарного запаса старославянского языка. Выступившая по докладу Л. П. Жуковская упрочила возможность расширения используемого Цейтлин материала за счет более поздних списков переводов Константина и Мефодия, однако вопрос о составе подобных текстов нуждается в глубоком предварительном сравнительно-текстологическом анализе.

Е. М. Верещагин (Москва) в докладе «Билингвизм Кирилла и Мефодия и создание древнеславянского литературного языка» попытался подойти к анализу переводов славянских первоучителей в аспекте психологической характеристики присущего им двуязычия (определяемого докладчиком как координативный билингвизм, т. е. свободное владение обеими языковыми системами) и выявления особенностей ситуации перевода с высокоразвитого литературного языка на язык устного и почти исключительно бытового общения.

В докладе К. Гутшмидта (Берлин) «Влияние церковнославянского языка на развитие болгарского и сербского литературных языков» содержался глубокий анализ исторических условий функционирования древнеславянского литературного языка в Сербии и Болгарии, определивших собой разную степень его воздействия на возникающие здесь национальные литературные языки. Осуществив строго дифференцированный подход к изучению церковнославянской лексики, обнаруженной в языке ранних болгарских и сербских писателей (разграничиваются собственно церковнославянизмы, не известные русскому литературному языку, русские слова, построенные по церковнославянской модели, наконец, слова, известные и древнеславянскому и русскому), докладчик приходит к выводу, что закрепление церковнославянской лексики в болгарском литературном языке произо-

шло под сильным влиянием русского литературного языка, ставшего моделью литературного языка для болгарских писателей. Сербский же национальный литературный язык, становление которого было определено реформой Вука Караджича, сохранив определенный слой старой книжной лексики и продолжая заимствовать отдельные слова из русского, не знал этого явления. Давший высокую оценку докладов Верещагина и Гутшмидта П. И в и ч (Нови Сад), указал на важность развития исследований в этом направлении.

В докладе Н. И. Толстого «Славянские региональные литературные языки и их функции в современном и донациональный период», содержавшем описание и типологическую характеристику современных РЛЯ в их отношении к национальному литературному языку, была высказана мысль о том, что донациональный период может рассматриваться как период энергичной конкуренции региональных, областных вариантов литературного языка, каждый из которых претендовал на роль общего языка. Время прекращения конкуренции РЛЯ можно считать сроком окончательного становления национального литературного языка. В прениях по докладу выступили Л. Л. Гумецкая и К. Гутшмидт, указавший, в частности, на важность привлечения к типологической характеристике РЛЯ материала романских и германских литературных языков.

В докладе «Вопрос о „начале“ современного болгарского литературного языка в свете общей периодизации истории литературного языка в Болгарии» Е. И. Демина (Москва), исходя из критериев внутренней структуры литературного языка и учета историко-культурной ситуации, в которой он функционирует, предложила следующий проект периодизации литературного языка в Болгарии: IX—XVI вв.— период единого литературного древнеболгарского языка; XVII— первая половина XIX в.— период сосуществования, взаимовлияния и смены различных типов письменного языка, претендующих на роль литературного; с третьей четверти XIX в.— период единого современного болгарского литературного языка. В докладе высказывается убеждение, что период XVII—первой половины XIX в., в рамках которого по широте выдвигаемых перед письменным языком задач выделяются донациональный этап и этап становления нации, может быть охарактеризован как единый, взаимообусловленный процесс постепенного складывания особенностей, присущих грамматике, словарю, отчасти стилю, принятого ныне литературного языка и как таковой составляет предмет предистории современного болгарского литературного языка, о на-

чале истории которого можно говорить лишь с 70-х годов XIX в. Предложенная в докладе периодизация была поддержана в выступлениях Е. В. Чешко (Москва), считающей, однако, необходимым на основании чисто языковых критериев разграничивать этапы IX—XII, XIII—XVI вв., и К. Гутшмидта, отметившего, что не следует преувеличивать значение дамаскинов в этой истории.

Г. К. Венедиктов (Москва) в докладе «Проблема нормы устной речи на начальном этапе формирования современного болгарского литературного языка» приходит к выводу, что в итоге бурной борьбы мнений во второй и третьей четвертях XIX в. по вопросам кодификации норм литературной речи к 70-м годам XIX в. эти нормы в основном уже определились, однако процесс стабилизации устных норм продолжается до настоящего времени.

Третий день работы конференции был посвящен западнославянским литературным языкам.

В докладе «Особенности становления лужицких литературных языков» К. К. Трофимович (Львов) наметил наиболее сложные, широко дискутируемые вопросы истории становления и развития лужицких литературных языков и предложил свое описание основных этапов истории этих языков, опирающееся на анализ культурной ситуации в Верхней и Нижней Лужице в XVI—XX вв.

Доклад Л. Н. Смирнова (Москва) «О роли Берволака (1762—1813) в истории словацкого литературного языка» содержал подробную характеристику языковой реформы А. Берволака как продуманной, целостной программы по узакониванию норм литературного словацкого языка, что дает основание рассматривать ее как начальный момент в развитии самостоятельного словацкого литературного языка. Выступивший в прениях С. Б. Бернштейн (Москва) указал на необходимость тщательного изучения реального функционирования литературных языков, особенно в период иноземного господства (говорили ли на берволаковщине?).

А. Е. Супрун (Минск), исходя из убеждения, что изучение литературных языков включает в себя, в частности, рассмотрение их долитературного состояния, служащего отправной точкой характеристики специфически литературных черт (пулем), в своем докладе «Полабская фразеология» остановился на методике выявления и описания фразеологизмов в полабских текстах, позволяющих судить о долитературной стадии развития фразеологии в славянских языках.

Затронутая в докладах проблематика активно обсуждалась участниками конференции, по многим докладам развер-

нудись оживленные прения. Как было отмечено в одном из выступлений (В. М. Русановский), конференция позволила ясно увидеть контуры новой славистической дисциплины — сравнительной истории славянских литературных языков.

Е. И. Демина (Москва)

\*

21—22 апреля 1969 г. в Москве состоялось совещание по оронимике, организованное Топонимической комиссией Московского филиала Географического общества СССР и Центральным научно-исследовательским институтом геодезии, аэросъемки и картографии ГУГК при Совете Министров СССР.

Было прослушано 17 докладов<sup>1</sup> по общим проблемам топонимики, по оронимии славянской и балтийской, иранской, тюркской, финно-угорской и оронимии дальнего Северо-Востока СССР.

Во вступительном слове Э. М. Мурзая в (Москва) отметил периодичность и целенаправленность совещаний, создаваемых Топонимической комиссией МФГО, и подчеркнул, что представленные на совещании доклады посвящены основной проблеме, которая будет центральной на X Международном конгрессе ономастических наук (Вена, 8—13 сентября с. г.).

Е. М. Поспелов (Москва) в докладе «Оронимика: состояние и проблемы» дал определение понятию оронимии (единого мнения по этому вопросу среди топонимистов не было), остановился на специфических особенностях оронимии (господство названий, относящихся к возвышенностям, взаимосвязь с гидронимией, широкое использование описательных признаков при образовании оронимов). Докладчик подчеркнул, что в большинстве топонимических систем неравномерно представлены субстратные пласты, русская и национальная топонимия, и отметил важность изучения функционирования топонимов в различных языках в пределах СССР и на соседних территориях.

В докладе В. Д. Бондалетова (Пенза) «Лингвистический аспект изучения орографических терминов и орони-

мических названий» отмечалось, что отношения между научной и народной географической лексикой аналогичны отношениям, существующим между литературными и диалектными словами. «Лингвистически осмысленный и систематизированный материал, — подчеркнул докладчик, — является более ценным для ономастических исследований». Докладчик наметил ряд вопросов, решение которых, по его мнению, должно стоять на первом плане (уточнение значений и картографирование географических терминов, сопоставление и анализ этих карт).

В докладе В. Д. Беленькой (Москва) «Лингвистические категории топонимики» было обращено внимание на структуру топонимов (на примере английской топонимии), их одноименность, вариативность.

«О повторяющихся оронимах» доложил собравшимся Л. Л. Трубе (Горький), классифицируя географические названия, которые повторяются: перенесенные оронимы (например, *Сверра-Невада* в Кордильеры было перенесено из Испании), дублетные оронимы (например, *Черные Горы* в Карпатах и Аппалачах, *Кара-даг* — в Крыму, *Каратау* — в Средней Азии), оморонимы (оз. *Комо* в Италии и р. *Комо* в СССР); такое изучение, по мысли докладчика, способствует пониманию законов номинации и развития собственных имен.

Г. П. Смолицкая (Москва) в докладе «Из терминологии Поочья» рассматривала слова, употребляемые для обозначения отрицательных форм рельефа (овраг, впадина, рывтина); часть таких слов в качестве терминов употребляется в говорах (*буерак, лог, лок, отверстие, яма* и др.), другая часть восстановлена из географических названий (*вертеп, корыто, котел* и др.). Оронимическая терминология Поочья в целом, по мнению докладчика, разделяется на общеславянскую и локальную, образованную на основе русского и тюркских языков.

Г. П. Бондарук (Москва) в докладе «Термины положительных форм рельефа в русской оронимии» отметила, что на территории Среднерусской возвышенности значительно меньше оронимов, чем названий других объектов: в состав многих названий населенных пунктов включен орографический термин (*гора, горка, бугор, курган* и др.), а орографический объект, около которого расположен населенный пункт, обычно не назван. Среди слов со значением повышения рельефа отмечены термины, имеющие узлокальное распространение, и лексемы общеславянского происхождения, изменившие первоначальное значение (иногда на противоположное).

О названиях гор Латвии сделала доклад Д. Э. Замзаре (Рига); она вы-

<sup>1</sup> Тезисы докладов Ю. А. Карпенко (Одесса) «Из наблюдений над украинской топонимией», А. П. Вагаса (Вильнюс) «Названия гор Литвы» и Н. А. Баскакова (Москва) «Принципы избирательности наименования гор у алтайцев Горного Алтая» можно прочитать в сборнике «Оронимика», М., 1969.

явила структуру латышских оронимов, их этимологию.

В докладе А. З. Розенфельд<sup>2</sup> (Ленинград) «Оронимы юго-восточного Таджикистана» было обращено внимание на тот факт, что наименования получают те горы, ледники и т. п., которые имеют определенное значение для данного населения. По языковой принадлежности оронимы юго-восточного Таджикистана разделяются на таджикские (в том числе диалектные таджикские), тюркские и местные памирские. В топонимии горного Таджикистана сохранились многие устаревшие слова, не употребительные в современном таджикском литературном языке.

В. И. Савина (Москва) в докладе «Оронимическая терминология Ирана» показала, что среди многочисленных лексем, обозначающих объекты рельефа, родовые орографические термины заимствованы из персидского литературного языка; большинство местных орографических терминов — диалектные персидские слова, часть терминов заимствована из арабского и тюркских языков; указаны ареалы распространения этих терминов.

В докладе С. К. Бушмакина (Москва) «Финно-угорские орографические термины» рассматривалась классификация терминов (термины, общие для финно-угорских языков, региональные, заимствованные из других языков).

В докладе Т. И. Тепляшиной (Москва) «Ареал распространения форманта *-кар* на территории Удмуртии» были исследованы оронимы и названия населенных пунктов; элемент *-кар*, по мнению докладчика, — бесермянского происхождения.

Э. М. Мурзаев (Москва) в докладе «Оронимия Внутренней Азии» отметил, что различные языковые пласты на исследуемой территории формируются в зависимости от расположения объекта (наиболее значительны тюркские, монгольские, иранские, китайские и тибетские элементы, которые местами соседствуют друг с другом или сосуществуют в параллельных формах). Этимологизирование азиатских оронимов сталкивается с большими трудностями, часто вызванными исторически сложными взаимоотношениями различных языков на этих территориях (в частности, общераспространенные оронимы могут оказаться калькой с малоизвестного теперь названия; так, *Тянь-Шань* — калька с тюркского *Тенгертаг*).

Г. И. Донидзе (Москва) в докладе «Оронимическая лексика тюркских языков Советского Союза» отметил прежде всего различное содержание понятия «оронимический термин» и «орографи-

ческий термин» (под последним понимается термин, входящий в систему научной терминологии). Исследуемую им лексику докладчик делит на несколько групп, в том числе — исконно оронимическая лексика и лексика, используемая в качестве оронимической.

О. Т. Молчанова (Томск) сообщила о «Структуре оронимов и гидронимов Горного Алтая», отметив сходства и различия в наименованиях гор и рек (мотивировка имени нередко определяется принципом экономии как лексической, так и грамматической). Обращено внимание на функцию оронима как ориентира.

А. В. Суперанская (Москва) анализировала «Оронимию Крыма», в которой четко выделяются русские, тюркские и греческие элементы. Приводя термины, участвующие в образовании крымских оронимов (*даг*, *баш*, *коба*, *кал*, *таш* и др.), докладчица указала, что нуждается в проверке идея о древности физико-географических названий. Наиболее понятные (адаптированные) названия гор сближаются с названиями мысов береговой линии и урочищ. Субстратные и неясные оронимы сходны с названиями понижений (перевалов, ущелий и др.). Изучение оронимии должно проводиться параллельно с исследованием гидронимии и ойконимии.

Г. А. Меновщиков (Ленинград) в докладе «Оронимы Чукотского полуострова» указал, что эскимосские оронимы встречаются только в береговой полосе, где существуют параллельно с чукотскими; чукотские оронимы распространены на всей изучаемой территории. Чукотские оронимы включают обычно два или три лексических компонента, последний из которых — термин. Эскимосские оронимы не имеют в своем составе особых географических терминов.

Ф. К. Комаров (Москва) остановился на «Некоторых вопросах оронимии Якутии и Дальнего Востока». Наиболее древние оронимы этой территории принадлежат тунгусо-маньчжурским и чукотско-корякским языкам. Русские оронимы — наиболее поздние, они даны, как правило, макрообъектам. Основная масса оронимов — якутские (тюркский оронимический слой). Каждый языковой слой оронимов имеет специфические топорформанты.

Хотя прослушанные доклады были в основном посвящены проблемам оронимии (наиболее полно было представлено изучение местных географических терминов), остается ряд вопросов: связь оронимии с гидронимией и названиями других объектов, гипотеза о неизменяемости оронимов в течение длительного времени и др. — все это требует дальнейших исследований.

Г. П. Бондарук (Москва)

<sup>2</sup> Доклад был прочитан А. В. Суперанской.

## CONTENTS

**Articles:** L. Mošinskij (Toruń). On the development of Proto-Slavonic sonants; I. A. Perelmuter (Leningrad). The formation of the tense-category in the system of the Indo-European verb; **Discussions:** J. Clauson (London). Lexico-statistic appraisal of the Altaic theory; A. N. Matvejev (Sverdlovsk). The origin of the main layers of substrat toponymics of the Russian North; R. V. Pazukhin (Leningrad). On the definition of the universal code; A. A. Yuldašev (Moscow). On the characteristics of the Turkic compound words; **Materials and notes:** B. A. Uspenskij (Moscow). The Nikon emendations and the Russian literary language; K. M. Ljubimov (Moscow). Concerning one group of word-combinations in the Turkic languages; **Critics and bibliography; Scientific life.**

---

## SOMMAIRE

**Articles:** L. Mošinskij (Toruń). Sur le développement des sonantes proto-slavés; I. A. Perelmuter (Léningrad). La formation de la catégorie du temps dans le système du verbe indo-européen; **Discussions:** J. Clauson (London). L'évaluation lexico-statistique de la théorie altaïque; A. K. Matvejev (Sverdlovsk). L'origine des couches principales de toponymie substrate au Nord russe; R. V. Pazoukhine (Léningrade). Sur la définition du code universel; A. A. Yuldašev (Moscou). Caractéristique des mots composés dans les langues turquises; **Matériaux et notices:** B. A. Uspenskij (Moscou). Les émendations de Nikon et la langue russe littéraire; K. M. Ljubimov (Moscou). À propos d'une groupe des combinaisons de mots dans les langues turquises; **Critique et bibliographie; Vie scientifique.**

Технический редактор *Н. И. Васильева*

---

Сдано в набор 27/VI 1969 г. Т-14001 Подписано к печати 19/IX 1969 г. Тираж 6300 экз.  
Зак. 2445 Формат бумаги 70×108<sup>3</sup>/<sub>16</sub> Усл. печ. л. 12,6 Бум. л. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Уч.-изд. л. 15,0

---

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10

57